

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

М.Н. АКимова (зав. отд. публицистики)

Н.М. АХПАШЕВА

Б.Л. АЮШЕЕВ

А.Г. БАЙБОРОДИН

Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ

Б.Я. БЕДЮРОВ

В.А. БЕРЯЗЕВ

Б.В. БУРМИСТРОВ

В.В. ДВОРЦОВ

Б.С. ДУГАРОВ

А.И. ИВАНТЕР

В.Н. КАЗАКОВ

А.В. КИРИЛИН

Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)

В.Н. КОСТИН

М.В. КУДИМОВА

С.Г. МИХАЙЛОВ (зав. отд. поэзии)

А.М. РОДИОНОВ

Э.И. РУСАКОВ

В.Н. СЕРОКЛИНОВ (зав. отд. прозы)

В.И. ТИТОВ (отв. секретарь)

М.А. ЧВАНОВ

Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА

В.Н. ЯРАНЦЕВ (зав. отд. критики)

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

11 ноябрь 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Валентина ХАНЗИНА. Безобразная. Рассказ.	3
Сергей КАТУКОВ. Два рассказа. Рассказы.	19
Галина БОБРОВА. Пенсия. Рассказ.	30
Владимир КОСТИН. Стрелец. Повесть.	42
Валерий ПЕТКОВ. Два рассказа. Рассказы.	70
Александр КОТЮСОВ. Бычье семя. Зоологическая быль.	78
Валентин ЛЕБЕДЕВ. Странные истории про странных старушек. Миниатюры.	89

ПОЭЗИЯ

Константин КОМАРОВ. Поэзия — последняя атака. Стихи.	12
Владимир СКИФ. Палица. Стихи.	35
Галым МУТАНОВ. Поминальный обед. Стихи.	65

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Алесь АДАМОВИЧ, Василь БЫКОВ. Диалог в письмах. <i>Окончание.</i>	138
---	-----

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Александр МЕЛЬНИК. Открытие Байкала.	153
--	-----

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Владимир ЯРАНЦЕВ. Литература Сибири или сибирская литература?	171
Елена ПРОСКУРИНА. Автобиографическая одиссея Гайто Газданова. ...	178
Дмитрий МАРЬИН. В. М. Шукшин: anamnesis morbi в письмах.	182

ЛИТЕРАТУРА НОВОСИБИРСКА

Елена БОГДАНОВА. Несбывшееся землетрясение. Стихи.	25
Григорий КРОНИХ. Дневник Булгарина. Пушкин. Главы из повести.	99

Книжная полка

Алексей КОРОВАШКО. Оренбургский сюжетный моток.	185
---	-----

<i>Коротко о книгах</i>	189
-------------------------------	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» В.А. Берязев.

БЕЗОБРАЗНАЯ

Р а с с к а з

Дорога блестела и бултыхалась, словно мокрые бока плывущей рыбины. Они плыли на глубоководье, чернота впереди все возрастала — густая, мягкая, она волной катилась навстречу. Его машина превратилась в морского гада с выпученными во тьму глазами, скользя бесшумно и сыто. Сам же он маленькой и пугливой рыбкой лежал в утробе чудовища. Было темно, безопасно. Эта игра в рыбу неожиданно затопила ему сердце; с улыбкой, почти прижав лицо к стеклу, он дремал и слушал нежный шепот, едва различимый говор внутри себя: ласково повторялось будто «да-да-да, мой хороший», и от родного дыхания тепло посередине лба.

Он не водил сам, не любил, не оказалось споровки. За рулем сидел пожилой и несловоохотливый Ваня. Взял его, устало взбешенный подобострастной болтовней предыдущего. Водитель внимательно молчал, пассажир на заднем сиденье грезил, покачиваясь. Они сонно катились по заброшенной горбатой дороге, ночь была черна; не опуская стекла, боясь разрушить движением гипнотические чары, он догадывался, что снаружи пахнет цветами и травами, что там сыро, свежо от дождя. Обреченное жужжание какого-то насекомого, широкий, в кепке, затылок Вани — только это слегка напоминало о реальности. Дорога погружала в мечты о прошлом, полные покоя. Возникло ощущение бездомности, прохладной оторванности от корней. Он превращался в неразумное, целомудренное существо иного мира, в бессловесный и прекрасный организм — амебу. Вспоминалось нечто, чего, возможно, никогда не было, что, наверное, также привиделось в одном из таких путешествий: он слышал, нет, чувствовал вдали звонкий раскатистый лай собак, видел, вернее, догадывался о живой изгороди, которую подстригали там, у чьей-то бабушки, чуял упругий, ностальгический аромат не то сирени, не то лаванды. Ему отрадны были эти чужие воспоминания.

Последнее время он страдал от бессонницы. Каждый вечер повторялся ритуал, которого он совершенно не замечал раньше, когда умел спать: в белой майке и тапочках он стоял у большого зеркала для бритья, медленно чистил зубы и умывался, смотрел в зловеще увеличившееся, серое, будто плесень, лицо, неуверенно шепча себе: «Сегодня, сегодня!» Потом выключал свет в ванной, угрюмо брел к постели, вползал в ее прохладные атласные объятия и некоторое время лежал навзничь, «полный желчи, полный скуки». Затем он начинал остервенело ворочаться, и никакой матрац не был в состоянии выдержать его злую муку и звериную тоску. Он читал толстые, скучные книги, практиковал «полное дыхание», уговаривал конечности стать

тяжелыми и теплыми, от всей души прощал всех и себя самого, благодарил бога за чудесно прожитый день, визуализировал и медитировал... — но сон не приходил, и он, со свинцовыми руками и ногами, оставался глядеть в потолок, белевший в темноте, прислушиваться к тихому реву автомобилей на загородном шоссе. К трем часам ночи он начинал выключаться, будто теряя сознание, и каждые двадцать минут выныривал из этого обморока с кошмарным чувством, словно его окунули в ледяную воду и тут же вытащили на мороз. В эти моменты перед ним будто разверзалась зубастая, щелкающая пасть. Озноб липкой мышью бежал по коже, в сухом горле стоял привкус крови, он в отчаянии зарывался в простыни и тихо скулил, пока не становилось светло. Знакомый посоветовал ему седого унылого психолога, который из-за собственных неразрешимых проблем с алкоголем считался весьма компетентным специалистом. *Мягкое* снотворное, прописанное стариком, валило с ног, как загнанного коня; он топором падал во тьму, а утром восставал из ада в ошеломляющей амнезии, человеком без прошлого, с ампутированной душой и выкорчеванной памятью, пустой, как банка, тупой, как табурет, плоский, как копыто. Желание отдохнуть стало абсолютom его жизни. Казалось, стоит только слегка прислониться к податливой стене, как он перевернется вместе с ней, окажется в горизонтальном положении и погрузится в беспробудную летаргию. Он мог слиться со всякой поверхностью: все рыхлое, мягкое, неподвижное манило его, все было готово принять его косное от усталости тело. Он был исключен из мира, словно на него наконец махнули рукой и выкинули на пыльную обочину жизни. Москва гудела и разговаривала, как просторное людное помещение вроде бассейна, каждая фраза доказывала, убеждала, многократно повторяясь эхом, но смысла не было нигде и ни в чем. Приходилось кричать через головы, вслушиваться в разговоры, чудом угадывая, что именно происходит. Все чаще он примеривался к мысли о том, что отдыхом для него может стать только смерть, забвение, полный покой. Поговорка «Помрем — выспимся!» звучала многообещающе, ласково. В голове жили вязкая смута с шероховатым ватным отупением. Он вел переговоры, вносил предложения, принимал решения, открывал и закрывал счета. Он бежал по беговой дорожке, застывал в асанах, кормил кота, покупал в сад резиновые шланги, молчал рядом с женой перед мерцающим экраном. Он отправлял себя в командировки и плыл на глубине немой, смиренной рыбой. Так он жил последние месяцы, и все вокруг было словно вырезано из бумаги, а сзади, за этой ширмой бытия, скрывался мягкий альков, куда он жаждал ворваться, упасть, уснуть и видеть сны.

В пути его печально, по-матерински укрывало пеленой неясных воспоминаний. Ему нравилось быть всего лишь пассажиром, которого несут быстрые, плавные воды — неведомо куда. Он морщился и зевал, когда Ванина голова поворачивалась, тихо говорила: «Приехали». Он досадовал на Ваню, на слишком короткий путь, не понимал, в каком городе, в какой стране находится. Дома, в Москве, ему все чаще казалось, что он действительно болен: стоило лечь в ненавистную постель, как под закрытыми веками из маленькой точки, застилая взор, вырастала бесформенная фигура — грубые алые края трепетали и заворачивались, мучая его. Он начинал беззвучно, сжав зубы, отгонять ее; трусливо она отпрядывала назад, но сразу назойливо возвращалась; становясь еще толще, ярче, живее, лезла во внутренности, затекала в голову, ослепляла застывающее сердце. Медленно, словно бы даже с наслаждением, он ужасался; неуклюжий страх ширился в груди, дыхание перехватывало, казалось, что он при смерти, хотелось, как в детстве, звать маму. Но страх внезапно улетучивался, и он видел себя — рыхлого, постылого, не спящего, с испариной на лбу. В обществе расцветающей пятнадцатилетней дочери и красивой, миниатюрной жены никто не замечал его. Он был незванным, докучливым гостем, который чересчур задержался, несет ерунду и не умеет развлечь. По утрам, абсолютно разбитый, с бродящим в крови смертельным ядом, с газетой в руке и поднесенной ко рту вилкой, он смотрел канал «Евроњьюс», пока жизнь утекала от него сквозь растущую, зияющую брешь. Его сердце твердело. Трудно было его взволновать, боль не была по-настоящему острой и радость не имела крыльев. Скоропостижно, один за дру-



гим, умерли родители — сначала мать, а вот теперь отец. Проклиная себя, он испытывал чувство досады, так как ненавидел что-либо организовывать, хотя профессионально занимался именно этим и в этом достиг успеха. Его тоска вышла на новый уровень глубины, и он словно нырнул за пределы мыслимых горестей, в оглохшее и слепое равнодушие. Не с чем было сравнить все это, и не было никаких слов для его одиночества, для его беды. Погруженный в фантазии, все еще надеясь никогда не добраться, он ехал в красивую ветхую усадьбу, где должны были собраться родственники. Он не хотел страдать и сожалеть, не хотел думать ни о чем, только тихо плыть, утонув в подушках салона.

В темноте, как фантом, возникла чья-то фигура. Он очнулся и понял, что за окном льет как из ведра, увидел вытянутую руку, искаженное ветром и ливнем лицо и раздосадованно попросил остановиться. Ваня невозмутимо проехал мимо, не услышав указаний. По стеклу с той стороны судорожно, лихорадочно бежали капли — он изучал их русла и думал о них внимательно, будто решал важную жизненную проблему. Мысли ни о чем приносили удовольствие, он радовался возникающим в голове взаимосвязям, любил сочинять аналогии, парить в потоке ассоциаций. Он корил себя за то, что в свое время не занялся наукой или литературой, не заперся в кабинете среди книг и записок, в уединенном доме с подступающим сзади лесом и расстилающимся впереди озером. Движение капель по стеклу напоминало брачную гонку сперматозоидов, стремящихся к яйцеклетке. Его ли это мысль... или где-то прочел...

Все же он решил остановиться, мрачно желая помочь, чтобы от него наконец отвязались. Ваня с достоинством попятился, и, мягко шурша, машина встала. На обочине кренилось от ветра существо в светлом болоньевом плаще.

— Что-то у вас случилось? — Ваня опустил стекло.

Существо неуверенно подошло, оказалось некрасивой съезжившейся девушкой.

— Здравствуйте, подвезете до Дерюгино? — она слегка картавила.

Тугой на ухо Ваня переспросил еще раз, а он, хоть и слышал, не вступал в беседу. Стало легче оттого, что девушка страшная — подвозить все равно придется, зато не нужно тратить силы на мутный флирт, комплименты и веселость. Дурнушка. Уродинка...

Она неловко затянула ноги, влезла в машину рядом с ним, не решившись сесть впереди, застеснялась темных пятен дождя на голубых джинсах. Увидев его лицо с мрачной улыбкой и догадавшись, что это хозяин, еще раз глупо спросила:

— Подвезете?

— Устраивайтесь, барышня, доедем, — вяло бросил он. С размаху захлопнула дверь. Ему не хотелось говорить: «Полегче!» Наверное, из райцентра девчонка... едет к тетке, к дядьке, к мамке... Решив больше ничего не спрашивать, он снова начал заваливаться, задремывать...

— А вы в Дерюгино? — неожиданно спросила она среди тишины.

— Я — да. А вы куда?

— Я тоже, я пешком шла, думала, добегу часа за три, до темноты, а уже поздно. И тут такой дождь! Вы из Москвы?

— Из Москвы. Зачем же пешком?

— Просто хотелось погулять. Я тоже из Москвы, — и она широко улыбнулась, — я родилась в Москве, сюда переехала в два года.

— Москвичка, стало быть...

Повисла пауза, в которой ощущалось, что ей не было дела до социальных статусов — то ли она не разбиралась в марках машин, то ли не догадывалась, что он богат, и не понимала, что Ваня — его водитель. Она смотрела с глуповатой улыбкой в открытые губы. Хиппи, что ли, ребенок цветов... Или блаженная... Это ощущение было новым и даже приятным. Приятно было быть никаким — ни бедным, ни богатым. Она и с водителем «шестерки» так же говорила бы... Ни особенного взгляда, ни движения рук, поправляющих волосы, ничего. А-а... да она же некрасивая совсем!



В полумраке волосы у нее были серые, мятые, торчали в разные стороны; ротик, маленький и очень пухлый, смотрел куда-то вбок; непонятные глаза, крупный нос — все было асимметрично, все разваливалось и сползло с ее узкого лица. Пикассо, думал он. Разъятие мира и собирание вновь. Он никогда не спал с некрасивыми девушками, у него не было времени этим заниматься. Где сейчас найти по-настоящему некрасивую? Красивые были обычным, рядовым явлением. Средние становились красивыми с помощью его средств, от жизненного комфорта они начинали сиять, как медные монеты, блестели волосами, зубами, кожей, и этот глупый полый блеск радовал его. Ему нравилось помогать им, он с интересом наблюдал преобразование симпатичной девушки в холеную женщину и чувствовал злорадное удовольствие от их одинаковости. Они мазали хорошо стриженные волосы специальными составами, покрывали кожу загаром, их отбеленные зубы сияли, как фосфор, ногти были отполированы, ноги побриты, грамотно подобранная косметика структурировала не очень гармоничные лица. Поразительно, насколько разнообразно причесанные, убранные и украшенные женщины походили одна на другую. Он не прислушивался к себе настолько, чтобы заметить некрасивую среди пестрого однообразия красивых и средних. Некрасивые требовали внимания и напряжения. Нужен был особый взгляд, чтобы видеть в них объект желания. По-настоящему некрасивых он никогда не встречал. В этом могло быть нечто интересное — в отношениях с некрасивыми, вдруг подумал он. Красавицы были предметами, специально настроенными для него говорящими дамами. Красота налагала на них повинность любить его деньги и отдаваться ему за возможность и далее оставаться красивыми. Приятность голоса, пластика тела, интересный дефект — все это могло стать отправной точкой будущей красоты, он выхватывал ее цепким взглядом — и, нет, по-настоящему некрасивых он никогда не встречал. Некрасивые не могли рассчитывать ни на его внимание, ни на его деньги. Глядя на красивых, он критически улыбался и оценивал затраты. Больше ничего. В женщинах, вернее, в своей способности глубоко чувствовать он давно разочаровался — и временами с подступающим страхом понимал это, а иногда полагал, что ему просто не повезло, и гнал, гнал все от себя...

Он внимательно посмотрел на девушку и попытался оценить степень ее некрасивости. Объективные показатели (в свете встречных фар выявились кривые мелкие зубки, кожа засветилась оспинками, глазки загорелись и закосили) говорили о настоящей уродливости. Он не испытывал отвращения, только возрастающее любопытство, словно старался удостовериться в том, что она действительно настолько дурна. Он вглядывался в темные глаза под выпуклыми веками, смотрел на кривоватый ротик, на плохие волосы; девушка под его взглядом была спокойна, как облитый светом камень на морском берегу. В ней было что-то беличье, мышье.

— По делам едете, барышня?

— По работе, — сказала она и улыбнулась.

— Так-так... На ночь глядя? Серьезная работа?

— Так я же говорю — я медленно шла. Я убираюсь по дому. Там умер один человек, в усадьбе. Послезавтра похороны. Он художник, может, вы знаете... Будут творческие люди. Надо готовиться. После поминок помочь все убрать. Сын позвонил из Москвы, попросил персонал. В деревне одни бабуси. А я как раз свободна... Мы в детстве у них в саду яблоки таскали. Сливы... — и снова улыбнулась с сожалением.

* * *

Спелая тень скользила по стене цвета жженого сахара. Он наблюдал ее медленное, мерное, как будто удары сердца, движение снизу вверх, от земли к небу. Тень поднималась бесшумно и точно, подобно секундной стрелке часов, подобно канатоходцу, балансирующему между двумя безднами. Было жарко. Внизу, во дворе безобразная девушка шла с тяжелой корзиной стираного белья. Плющ, распутив-



шийся на стене как волшебная роза, превратил свои невзрачные соцветия в пушистые мягкие клубки, полные шерстяного блаженства.

Он стоял за домом, на небольшом холме, опираясь на развалины кирпичной стены, когда-то возведенной отцом вокруг своей деревенской крепости. Давным-давно ребенок любил сидеть в траве, прислонившись к теплой кладке, пропитываемая живительным солнцем. Шмели гудели басом, вокруг расплывалось терракотовое марево.

Он наблюдал за девушкой с корзиной. Похороны были назначены на сегодня. Пожилые, печально-вдохновенные люди искусства бродили по дому, по саду, по полям. Вчера они целую ночь сидели у камина, пили привезенный им коньяк, обсуждали смерть отца и дальнейшие творческие планы. Утром отца доставили и положили, твердого, молчащего, в дальней гостиной; прозрачные занавеси тихонько колыхались от ветра. Он один пошел проститься и все не мог оторваться от полного, застывшего лица. К старости отец раздобыл, костюм и гроб были забавно-квадратными, нелепыми. Вслед за тенью, вслед за тенью она шла... Он любил этот дом, но почти не приезжал сюда. Горькое чувство потерянных детских лет, когда он не понимал, что его ждет. Бесконечно мечтал о героических глупостях. Его отец — счастливый человек... Девушка во дворе развешивала белье на веревках, вставала на цыпочки, встряхивала простыни, подставляла длинную палку с гвоздиком на конце, как когда-то его мать.

В машине он обменялся с ней несколькими фразами и забыл их, поглощенный ее уродливым лицом. После, в доме, он ловил себя на ожидании случайного столкновения с ней, идущей из комнаты в комнату то с бокалами, то с тряпкой. Постепенно настал полдень. Люди один за другим входили в комнату с отцом и выходили медленно, с выражением возвышенной скорби. Две-три женщины плакали. Он встал у большого зеркала, ничем не завешенного вопреки традиции, но смотреть на отца не мог и следил за отражениями людей, идущих по кругу. Она тоже пришла, минуту скромно стояла у гроба, через прямоугольник окна прямо на нее широким потоком светило солнце. Ее отражение было ясно как день, ее безобразие словно наполнилось оранжевым светом, так яркие и четкие стали уродливые черты. Каждую щербинку он рассматривал как под увеличительным стеклом, бледные волосы заиграли пепельным огнем, кривоватый ротик сел на лице как влитой, в выпуклых карих глазах танцевал темный винный огонь. Асимметричные детали на мгновение открылись ему слитыми друг с другом, и ее лицо распахнулось — как белоснежная статуя, с которой сорвали холщовое покрывало.

В тишине смерть встала совсем близко. Он видел девушку, смотрящую на его неживого отца, и смерть будто дышала ему в лицо.

Поздним вечером, после всего, он принес ей такой же, как и она сама, некрасивый, расхристанный букет. Она приняла его с доброй улыбкой, словно привыкла каждый день получать цветы. Ваня отвез их в районный город, в маленькое восточное кафе, где он быстро опьянел и долго удивлялся своему поступку — тому, что пригласил ее сюда. Пахло подгоревшим кофе, прохладными духами от горячих женских шей. В рыжем продолговатом абажуре таилась, покачиваясь, лампа, будто тучный червяк свил себе кокон внутри, и это было жутковато, уютно.

Отца больше не было. Он с трудом сделал глоток вина. Его не было. Но была она. Коленки в плотных колготках, пухлый ротик, блестящие карие глаза были рядом. Он мог легко прикоснуться, вобрать в себя все это, утешиться ее теплом, но он так не поступал. Верно было, сидя с ней рядом, перетекать из позы в позу, подносить ко рту бокал, монотонно плескаться в прибое разговора. Вернулись ночные переживания в машине, он ощутил фатальность и правильность всего происходящего, свое бессилие и радость от этого. Под звуки тягучей, сладострастной арабской музыки отступала его тоска. Затягивало в темный проем окна, где ему мерещились мелкие сыпучие звезды. Он бодрствовал, жизненная сила, как распластанная в небе птица, парила и отдыхала в нем. Это было и ново, и как будто уже давным-давно испытано, словно он привычно погурился в забытые объятия.



* * *

Сразу после похорон он забрал девушку в Москву. Всю дорогу он обнимал ее на заднем сиденье, за затылком Вани, хоть ничего в нем еще не было. Не было чувственной ярости, которую ему посчастливилось испытать несколько раз после женитьбы, не было нежного любования ее чертами. Единственное, что пока он ценил в этой женщине, было ее безобразное лицо. Никак нельзя было прекратить, ничем нельзя было украсить ее безобразие — стрижки, наряды и притирания не были в состоянии убрать с ее лица божественную дисгармонию, и он ликовал от этого.

Он поселил ее в просторной квартире, полной ковров и мягкой мебели, с неожиданно маленькой, будто пещерка, спальней. Их отношения скрепились молчанием, как печатью. Она не говорила ни о прошлом, ни о будущем. Он приезжал вечерами, с пакетом продуктов, целовал ее в щечку, звеня ключами и зажимая под мышкой бутылку вина. Они садились за стол и перекусывали. Иногда его ждали ужин, ванна. Он держал бокал и глядел ей в лицо, уже не воспринимая ее уродства, как близкие люди не слышат друг у друга картавости. Некрасивое лицо таило в себе ежедневные метаморфозы, *некрасота* была изменчива, и каждый день в ней обнаруживалась новая грань. Он засыпал в объятиях некрасивой женщины, и это нельзя было исправить. Он ловил состояния погоды, время суток, особый свет, когда ее лицо озарялось, таяло и, словно воск, оживало под его взглядом. Он смотрел и почти физически ощущал чистую линию ее уха, темный блеск карих глаз, русый завиток, колеблемый теплым дыханием. Руки ее прикасались к его рукам и были родными, но он пока не знал этого.

Он ласково освобождал ее тело от одежды — тело было горячим, женственным, мягким. Все с ней происходило медленно, все было пронизано покоем. Не было безумной страсти, не было ни ревности, ни гнева. Не было подозрений, ссор, упреков, не было боязни потерять друг друга. Ничего не было. И все же что-то было. Что-то было. Какое-то преддверие чувства, светлый пустой холл, в котором вот-вот должны были распахнуться высокие двери, и там, посреди залы, плавающей в свете хрустальных люстр, грозно возвышался драгоценный трон, на котором, сквозь собственное сияние, слепящее глаза, проступала недостижимая и желанная она.

Она всегда обнимала его сзади, как ребенка, и медленно проводила гибкой ладонью по спине. Перед тем как уснуть, она целовала его между лопатками; он не спал, не мог спать, отворачивался от нее и, словно бы нехотя, все же ждал этого поцелуя.

* * *

Он вдруг начал понемногу радоваться жизни. После одного из ее поцелуев на ночь он вдруг покатился в сон, как с крутой горы, не в силах остановиться. Он успел изумиться и упал с края пропасти, прямо в молочный простор. Всю ночь большие пушистые крылья со всех сторон обнимали его. Вокруг шептали, баюкали голоса. Он спал настолько крепко и глубоко, насколько мог. Утром он очнулся как после тяжелой болезни, его руки подрагивали от счастья. В комнате было солнечно. Безобразная девушка, склонив лицо, гладила белье, утюг скользил как по маслу и тихо фырчал. Безмятежность обняла его; стало понятно, что впереди большие перемены, что жизнь уже никогда не будет прежней.

Однажды в зимний застылый вечер, когда он обнимал ее у окна, как прежде радуясь ее инаковости, она произнесла: «А я беременна. Но это не проблема, наверное». Все пространство с удивлением посмотрело на него, жизнь, как ладонь, приникла к голове. Он увидел себя ее глазами — со взъерошенными ее рукой волосами, в мятой майке, с ребячливым видом, немного огорченного, и на фоне этого огорчения на лице расцветала улыбка, уголки рта неудержимо ехали вверх. Он как будто получил неожиданный подарок — это чувство обескуражило его, он потерялся в нем, но радость и удовольствие, которые, казалось, по ошибке забрели не в те двери,



не уходили. Он сказал: «Давай немного повременим», — обнял ее крепко, как родного ребенка, и его будущий сын нарисовался ему с четкостью воспоминания. У сына было его лицо, осененное прелестной безобразностью матери.

По ночам он сам начал обнимать ее, точно так же, как раньше она его, а днем от всякого забавного момента хохотал, как юная девушка. Быстро и естественно распалась его семья, они отпустили его, едва узнавая в лицо. Прошлое глыбой упало с его плеч, и он жил с ощущением неуклонно растущего под руками живота своей возлюбленной; живот круглел, как футбольный мяч, на нем можно было кончиками пальцев выбивать нежный ритм. Всю беременность он проникался спокойствием и целостностью жизни. Все было хорошо, очень хорошо, необыкновенно хорошо. Это было впервые. Он женился на безобразной девушке, будто в первый раз, будто у него никогда не было семьи, дочери.

Он заметил в себе странную женственную ранимость, которая день ото дня созревала. Когда-то он читал о ритуале кувады, до сих пор существующем в некоторых первобытных племенах. Это была своего рода мужская беременность и мужские роды. Тонконогая чернокожая женщина с трудом носила на себе огромный живот, ее хрупкое тело было измождено и выпито будущим наследником. Наступал священный кровавый день, воин и муж с утра готовился к приближению схваток, тревожился, сначала словно играя, заставляя себя, но постепенно проникался все сильнее и сильнее и, чувствуя приближение раздирающей боли, сдавленный наполому эпилептическим танцем, пригибался к земле под высохшим деревом, хватал себя за живот, извивался в судорогах, как старая ведьма-шаманка. К вечеру он должен был разрешиться от бремени. Юные, как лани и древние, как ящерицы, женщины хлопотали вокруг высокого костра. Африканский закат польхал алым флагом, намазывался пластами на линию горизонта. В небе бушевала гроза. Языки пламени слизывали густой сок темноты, по земле медленно текла бурая кровь его любимой. Он помогал ей, измазывая свой рот песком и глиной, рисуя грязные разводы на заросшем щетиной лице. Сажа, песок, известняк и древесная труха пачкали руки, он жадно поедал эту смесь, неистово набивал себя удивительным обезболивающим снадобьем, дающим надежду на счастливое разрешение от бремени. Падая на спину, раскидывая ноги, он открывал соленый рот в последнем крике, когда из нее рывками выдергивалась новая, свежая жизнь.

Беспокойство смешивалось с чувством отрады от всего, что происходило. Они по чуть-чуть выпивали почти всю ее беременность и продолжали заниматься любовью. Они лежали вплотную и смотрели друг другу в лицо. Их будущий мальчик будто участвовал в этом действе вместе с ними — они ласкали и его, лаская друг друга. Ее живот готовился лопнуть как спелый плод, и маленький, ласковый котенок, что собирался выпрыгнуть из него пуховым клубком, был пока твердой косточкой внутри этого плода. Он дал ей прозвище Кокосик и в шутку говорил, что ее горячее пузико во время беременности все зарастет кокосовой шерстью.

Ее картавая речь стала ленивой, в ней остались одни глаголы: «знаю», «хочу», «вижу», «дай», — словно она вновь вернулась в лоно детского языка. Ему были отрадны ее просьбы, он счастливо, покорно шел исполнять капризы, на которые она имела полное право. Раньше она всегда стеснялась просить его о чем-то и делала это с неловкостью. Сейчас же не было ничего естественнее и необходимого, чем соленые огурцы, соленые арбузы, соленые орехи. Она хотела смотреть фильмы с Катрин Денев, и он, с опасениями и беспокойством, но все-таки не в силах сказать слова поперек, включал замысловатый шедевр «Дневная красавица», и эта картина почему-то сделалась ему неприятна, а ее автор стал извращенцем, неспособным, как он, почувствовать простую радость и чистоту мира. Он теперь обладал гениальным даром познания истины, истина приближалась сильно и быстро, она зияла пустой темной теплотой в груди. Ему казалось, он знал, что такое жизнь, и начал понимать, что такое любовь.

Смеху, нежности и разнообразным дурачествам не было предела. Он давал ей прозвища — Горошек, Пузач, и сам удивлялся ласковости своего языка и своих мыс-



лей. Просыпаясь, он прислушивался к потайному шевелению внутри своего живота; внезапно незнакомыми стали руки, необычно было прикосновение к своим собственным, теплым, покрытым волосами, ногам. Он растекался по розовой постели в объятиях ее тугого живота, живот стал его наваждением, и в утренней дреме он не мог определить, кому именно он принадлежит — ему, его возлюбленной или он *их*, общий, тугой, важный и достопочтенный живот. Их дитя шевелилось внутри подобно нежной бабочке, подобно игривому шелковичному червяку. Оно улыбалось, их дитя, оно загадывало загадки.

Долго, чудесно долго они ждали того, кого нет, и это ожидание было исполнено тревоги и покоя. Странная тревога о том, что он не придет — ну куда же ему было деваться... «Э-эй!» — тихо шептали ему. «Э-э-эй, маленький мой!» — как кошка, звала чудесно преобразившаяся мать его ребенка, теперь похожая на Мадонну Рафаэля. Он написал бы с нее новую Мадонну, будь он художником.

* * *

В сентябре они приехали в одну из лучших клиник для рожениц. Белое здание стояло у моря; она вперевалку, как толстая кошечка, пробиралась по местной оранжерее, гладила руками цветы и пачкалась желтой пылью. Ее дурнота сейчас была словно редкий сорт орхидей, словно синяя роза. Она напоминала ему муравьеда, бобра, росомаху; он ходил за ней как паж, как пес, ловя каждый поворот головы, каждый вдох. Улыбчивые медсестры кивали друг другу, не понимая, почему у такого человека такая жена. Он всей душой надеялся на огромного, могучего, как русский богатырь, доктора с волосатыми руками и заглядывал ему в глаза, прося пощады. Беременность протекала очень гладко, не было никаких причин для беспокойства, но его беспокойство все равно походило на манию. Она же, казалось, забыла о собственном положении, безмятежно гуляла вдоль кромки моря, смеясь и успокаивая его, будто это он сам готовился разродиться.

С каждым днем тревога все возрастала, сроки были известны, и его заверяли, что все хорошо. Он считал дни с ужасом, в сладкой тоске. По ночам он видел сны. Казалось, их за время бессонницы накопился целый архив. Ковбои и шпионы, мюзиклы и оперетты, трагедии и фарсы. Он увидел давно забытые лица. Он летел над прекрасными ландшафтами, слушал загадочные, потусторонние звуки, он лежал и млеял под своими снами, будто под пуховым одеялом в холодную зимнюю ночь.

Накануне ему снились ветер, лодка. Бу-бух, бу-бух, — волна плескала о борт, качалась лодочка, качалась река. Потом он долго бежал по снежному насту — скрип-скрип-скрип — за черным псом, по бескрайней равнине, вперед и вперед, и его ноги оставляли глубокие следы в свежем снегу. Он выбился из сил, упал и проснулся.

В операционной что-то делали слишком долго. Он мерил шагами коридор со стенами оранжево-лимонного цвета, спускался и поднимался по лестнице, выходил на цветущие балконы, маялся в комнате отдыха. Время изводило его, не уступая ни доли секунды. Иногда выходили медсестры и на его отчаянные вопросы отвечали, что все идет по плану. Он ждал почти целые сутки, в конце которых, сидя на диване и проклиная его за мягкость и удобство, начал засыпать как дитя, заваливаясь в уютный угол.

* * *

Богатырь-доктор мягко потрепал его плечо, поманил за собой. Путаясь в кем-то заброшенном пледе, он вскочил, протер глаза, поспешил вслед за огромной спиной. Словно в тумане, он видел ее слабую улыбку, тонкие руки поверх одеяла. Ему вручили удивительно маленький, словно бы тихо мяукающий сверток, и он прижал к груди своего котенка, не веря в то, что он живой. Он смотрел в морщинистое, красное, как свекла, личико, видел на нем крошечные губки и запухшие глазенки с белесыми шелковыми ресницами. Руки подхватили и унесли, воркуя, его ребенка, отцу позво-

лили поцеловать счастливую мать в прохладный и сухой лоб; под халатиком она была непривычно худой, он чувствовал каждую косточку, каждый сустав.

Бледная и спокойная, будто лилия, она лежала на постели и смотрела на него. У нее словно бы вовсе не было лица. Ее руки были как невесомые паучьи лапки, и ему неуместно вспомнился рассказ «Живые мощи». Из окна доносился запах моря, и водорослями пах чай, заваренный специально для нее. Запах моря и чая поднимался над ней, как облачко. Она шептала ему о том, что, наверное, смерть — это просто очень сильная душевная боль, боль от удара. Сразу после смерти тебя принимает безграничный океан покоя, в котором ты останешься навсегда. Это прекрасно. И немного печально.

В мае Ваня привез их с сыном в усадьбу. Стояли солнечные дни. Пахло приближающимся летом. Сын с удовольствием ползал по старому паркету, теребил бахрому на скатертях, таскал подмышкой древнего и злого кота, который шмыгал по двору. Сын еще не знал, как некрасив, не знал, что ждет его впереди.

Он стоял во дворе и смотрел вверх, на последний кусок кирпичной стены за домом. Сын наигрался и уснул в гостиной. Она развешивала белье над тоненькими кустами смородины. Тень плыла по отвесной стене, как ломоть солнечной дыни по темной реке. Безобразная девушка шла, словно канатоходная нимфа, и ее красота была безусловной, неявной. Не было уже ломких рук, не было серого цвета лица, не было маленького пухлого рта, а было только совершенство имени и тени, маленькие ладони и маленькие ступни; длинный белый канат, который на самом деле был всего лишь бельевой веревкой, резал поверхность стены на две неравные части, и безобразная балерина шествовала по нему, не глядя, готовая удариться о брусчатку на площади и разбиться в пыли, — о боже, как рыночный народ обожал ее, как он любил ее, как жаждал, чтобы она оступилась!

Он стоял внизу, глядя вверх, на живую изгородь, и видел медленно шествующую тень женщины; она будто спускалась по лестнице, прислоненной к стене; головки цветов пушисто колыхались на ветру, который был тоже медленным и теплым; в цветах спали мягкие шмели, довольно урча; и тень все шла, шла, а он все смотрел и смотрел...



Константин КОМАРОВ

ПОЭЗИЯ — ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА

* * *

Подковырнуть снежок слегка
носком и на скамью усестся,
зима начальная сладка,
как сигарета после секса.

Снег, тонкий-тонкий, как капрон,
асфальта покрывает дикость.
И веришь: победит добро,
как говорил об этом Диккенс.

Почувствуй: время расплзлось
и не зудит теперь под кожей.
Всё растворил — и боль, и злость —
сей снег, на счастье так похожий.

Взгляни, как нежно этот снег
облепливает твой ботинок.
А ты ведь просто человек.
Ты — человек, а он — бытиен.

Ты глохнешь от трамвайных визгов,
ты пьёшь чай и ешь варенья...
А тут — смотри! — всё в снежных искрах,
пространство поглощает время.

Завороженный и веселый,
сидишь, свободно, без нажима
в себя вдыхая невесомость
кружащих в воздухе снежинок.

Сидишь ты, молодой и дерзкий,
с блистанием в глазах лихим,
и понимаешь: снег, как детство,
безвременен и — как стихи.

Нащупаешь в кармане пачку,
 достанешь и сорвёшь фольгу,
 покуришь глубоко и смачно
 и поваляешься в снегу.

И будешь прыгать, как апачи,
 и чушь веселую замелешь.
 И вновь закуришь... И заплачешь...
 Хоть и считал, что не умеешь.

* * *

Марине Палей

Разводящий разводит круги по воде,
 разводящий рифмует «везде» и «нигде»,
 разводящий не я, разводящий другой,
 он работает правой и левой ногой.

Мы сидим в одиночной. Одни. Взаперти.
 От речей подкидных никуда не уйти —
 ни в луга, ни в поля, ни дурдом разнести,
 и никак разводящего не развести.

И тогда остаётся бежать до лотка,
 где последнее слово идёт с молотка,
 и назад возвращаться уже налегке —
 сонным телом по рыжей осенней реке.

И, буквально, на буквы разбив буквари,
 молча друга просить — говори, говори,
 и надеяться только словить невзначай
 из уснувших глубин — отвечай, отвечай...

* * *

Так любят начинать со слова «так»
 стихи о безысходности, однако
 из всех иных панических атак
 поэзия — последняя атака.

И позволяя миру угнетать
 себя, ты избавляешься от ада.
 Но всё не так, не так, не так, не так —
 как будто бы ты знаешь так, как надо.

* * *

Мир залит жидким креозотом,
 и чёрн, как чёрт, и бел, как лист,
 разрезав жизнь по эпизодам,
 ложится спать слепой артист.

То в полынью, а то в воронку
 шальная падает звезда,
 а я от времени вдогонку
 бегу, надеясь опоздать



туда, где старт целует финиш,
и рефери усталый врёт,
где выстрел ухаёт, как филин,
но пули замерзают влёт —

уже без скидок на одышку
души, ломящейся в гортань, —
туда, где шьют кафтан на тришку
швеи заречья потудань.

Трубят обрубленные речи
тех, чей отсрочил я визит,
и лихо от меня навстречу
пространство пьяное сквозит.

Нет ни любви уже, ни веры,
надежду побеждает страх,
и плаваются секундомеры
у замерителей в руках.

.....

На кухне сигарета. Спички.
Накрошен тараканам мел.
Я отдышусь. Попью водички.
Я не успел.
И уцелел.

* * *

В моей руке лежит твоя рука,
и поезда срываются со станций,
а в небе проплывают облака,
спокойные и мудрые, как старцы.

Такие вот картинки невпапад
врезаются в мою глухую дрёму,
стихами Пастернака плачет Сад,
домысленный как комментарий к Дому.

Идиллия не умирает в фарс,
но остаётся светлой и укромной,
пока я наконец не крикну фас
голодным псам печали неуёмной,

когда монетка, падая орлом,
вновь выйдет мне незримою решёткой,
и голос мой сорвётся на излом
не сохнувшей, но пересохшей глоткой,

и пальчики свои ты разожмёшь,
отправившись к хорошим и знакомым,
и нервной окончательности дрожь
повиснет и над Садам, и над Домом.

И подлинная грянет неудача,
что значит, как ни странно, — всё не зря.

Не сожалея, не зовя, не плача,
 петли не мыля, бритвы не остря,

я стану спать сном крепким и пластидным
 без сновидений лакомо-пустых.
 Я умиротворён и мне не стыдно,
 что я не буду больше видеть их.

* * *

... божишься бросить, начинаешь заново
 и ничего не понимаешь сам,
 читаешь наизусть стихи Губанова
 бальзаковского возраста мадам,

буравишь потолки, глотаешь мультики,
 занюхиваешь водку рукавом
 и на бумагу льёшь потоки мутные
 такого, чего нет ни у кого,

не можешь объяснить, молчишь безудержно
 и вдавливаешь девочек в матрас,
 да извергаешь помощней Везувия
 с утра проклятья миру, матерясь,

зависнув меж людьми и поэтами,
 не можешь ни подняться, ни упасть,
 и точно знаешь, что хотел не этого,
 но властвуешь и не меняешь масть...

* * *

Щека к щеке, к слезе — слеза,
 и как-нибудь перезимуем,
 пока всё те же адреса
 у наших гиблых поцелуев:

мои тебе и мне — твои,
 дорогу не забыли губы,
 мы мирозданию не любы,
 так что скрывайся и таи

все наши нервные дефисы,
 враньё ворон, равнин рваньё
 и что в душе блуждают лисы,
 хвостом сметая бытиё.

Мы отогреемся едва ли,
 но там, куда тепло несём,
 узнают, как мы зимовали,
 и всем расскажут обо всём.

И мальчик с девочкой, быть может,
 покинут свой фанерный храм,
 чтобы о них узнали тоже
 по смёрзшимся в стихи словам.



* * *

Горит звезда. В окно струится ночь —
нет лучше для стиха инварианта.
Но, фабулу пытаюсь превозмочь,
клубок из рук роняет Ариадна.

Пульс нитевиден. Голова болит.
Со всех сторон рассеяна Расея,
и звуков тупиковый лабиринт
теснится в горле пьяного Тесея.

Осиротел лирический плацдарм,
но боль в виске пульсирует не к месту —
всё это нужно, чтоб была звезда —
«Послушайте!..» И далее по тексту.

* * *

На столе стоит холодный кофе.
Я уже давно не Холден Колфилд.

Да и дело тут не в кофеине,
Просто небо, как фильма Феллини.

Просто порастратил всю отвагу,
Просто стих уже не жжёт бумагу.

Просто ни братишки, ни сестренки,
Просто вековечны шестеренки,

Что в часах друг другу зубья точат,
Мне уже не досаждая, впрочем.

Рвётся жизнь, как будто киноплёнка,
потому что рвётся там, где тонко.

Понемногу затихает треньё,
Зрелость уменьшает силу зренья.

Горло сипнет и поёт неверно,
Так все и кончается, наверно.

Это арифметика простая,
Я спокоен, сам в себя врастаю.

Всё, с чем к богу я приду с повинной
делится на восемь с половиной.

* * *

А рыбу — ещё плывущую — уже покрывает кляр.
Звероподобные дети маслят глаза об телик.
Курит на клетке лестничной кашляющий школяр,
а за спиной его скачут по стенам тени.

Прошлое хищно хватает кусок-другой
 жизни моей, взбаламученной и школярской.
 Пошло шипит асфальт под моей ногой,
 воеет протяжно в наушниках Эдмунд Шклярский.

До пункта В не дойти и не вернуться в А.
 Пой, прощельга, смейся, скандаль, юродствуй!
 Это слова, только одни слова —
 жалкая смерть длиною в абзацный отступ.

Ну а за ней тихий калека-бог
 прошепелявит: «Что же ты так, пацан-то...
 Там в пункте В плачет твоя любовь,
 стыдно ей на тебя, горестно и досадно.

Ты возвращайся туда, где слепой торшер
 кланяется твоей вечно измятой койке,
 я понимаю, что горько в твоей душе,
 и потому на столе бессменна бутылка горькой.

Но возвращайся...» — бросил он и исчез.
 По возвращении — только раствор рассвета
 шторы пропитывал, под одеяло лез.

Жизнь кончалась, но начиналось лето.

* * *

А. Котельникову

Привет. Живи. Пока.
 Люби. Спокойной ночи.
 Как коротка строка,
 но жизнь ещё короче.

А смерть ещё длинней.
 Отдавши зуб за око,
 я вряд ли стану злей
 от твоего упрёка.

Мне чужды пыл творца
 и ревность графомана,
 я всё прочел с конца
 и вымер слишком рано.

Я слишком поселков
 для полиса такого.
 На память узелков
 завяжешь — и готово.

Мне мерзостно смотреть,
 как мыши глину месят,
 но если хоть на треть
 ты понял этот меседж,

то, значит, всё путем,
 и я рублю осину.

А главное — потом.
 О главном — не под силу.

* * *

Бессоница, Гомер, тугие паруса...

В конце концов всё попадает в списки:
и шмель живой, и мёртвая оса,
вся водка, анекдоты да ириски.

А что же остается? Ничего
за вычетом протяжных отголосков,
на чернозёмной почве речевой
взрастающих лениво и неброско.

Слова просты и нет у них фамилий,
как брёвнышки харонова плота,
но сквозь густой туман полифонии
я вижу, как хрустальна немота —

сквозная и внесписочная тоже,
красноречивей смерти говоря,
она меня когда-то подытожит,
другие звуки заново творя.

Я окажусь в последнем списке списков —
среди джедаев, сов и кораблей.
Ах, ласточка, как ты летаешь низко! —
Приклей меня к молчанию, приклей!



Сергей КАТУКОВ

ДВА РАССКАЗА

МАСТЕР ИСТОРИИ ОБЛАКОВ

Это случилось в купе поезда Балашов — Москва.

Был душный июнь, образывавший в небе нескончаемые пышные формы облаков. Ветер вздувал по утрам их пенистую материю, и к полудню вся небесная акватория устилалась летающими островами и материками нежно-кремового и синева-то-льдиного цвета. Облака вытягивались пористыми полосами вдоль невидимых линий ветряных потоков.

За окном купе в такт постукиванию колес мерно чередовались, словно между кадрами, отсчитываемыми столбами, виды полей и лесов. В окно врвался ветер, хлопая занавеской и сыпля проносимыми за вагонами звуками, которые застревали в коробке купе.

В купе вместе со мной оказался только один человек.

Весь наш вагон пустовал. Изредка по нему слонялись несколько пассажиров, лениво проходил проводник или проезжала с пыльной тележкой-клеткой продавщица воды, соков, мороженого и пива. Бутылки с жидкостями печально гремели в своей клетке, создавая по-шнитковски сюрреалистический диссонанс в своеобразной гармонии железнодорожного нескончаемого гула. Мы неслись сквозь ярко освещенный космос пейзажа, так же печально приглушенно гремя в своей клетке, как эти стеклянные бутылки в решетчатой тюрьме.

Двери почти во все купе были либо совсем раздвинуты, либо открыты наполовину, словно пустующие вольеры, покинутые своими мирными обитателями.

Не зная, чем заняться, я пододвинулся к окну и взглянул вверх, где в очередной раз появилось роскошное медлительное облако, которое поезд уверенно обгонял.

— Какое красивое облако, — сказал я.

Мой попутчик ничего не ответил, но, напротив, как-то тревожно и серьезно посмотрел на меня, а в движениях его проявилась собранность. Он взглянул на облако и, удостоверившись, что оно действительно было очень красивым, вдруг закрыл дверь купе. После щелчка отрезанный дверью гул несущегося поезда внезапно исчез, и в купе стало непривычно тихо.

— Да, очень красивое облако, — наконец ответил мужчина. Он заерзал плечами, как будто вспомнил что-то приятное, и с нежностью в голосе продолжил: — Все облака неслучайны. Неслучайна их форма и время появления. Конечно, всегда существуют вариации, но в целом они постоянны.



— В самом деле? — удивился я, смущенный тем, что попутчик закрыл дверь, не спросив меня, и неожиданно поддержал с энтузиазмом пустяковую тему.

— Вы думаете, что я неправ?

— Не знаю.

— Но вы ведь тоже неслучайно об этом спросили...

— Да нет, просто так. — Облако было красивым, форма его напоминало что-то большое, вытянувшееся, с надежными, устойчивыми пропорциями, но теперь поезд медленно менял свое положение по отношению к нему, и ветер неуловимо правил его детали. — Я просто так об этом сказал, даже не задумавшись... — меня совсем смутила необходимость объяснять такую мелочь случайному попутчику.

Едва завязавшийся разговор готов был иссякнуть, но собеседник настойчиво посмотрел на меня и, весело прищурившись на какое-то мгновение, полез к себе в рюкзак. Он достал оттуда большую книгу альбомного формата с толстыми картонными листами. Это был альбом фотографий.

— Иногда — или даже очень часто, — снова заговорил мой собеседник, с интонацией, будто после прерванной вздохом паузы, такой, которая обычно возникает после глотка, — люди замечают что-то красивое или видят очень долго эту самую красоту, но почему-то отводят от нее глаза и продолжают снова жить в своем скучном и мелочном сером мире. А ведь ничто не мешает им изменить свою жизнь в лучшую сторону в любое время. — Говоря это, он продолжал что-то искать в своем рюкзаке, а я рассматривал матерчатую обложку альбома. Он был покрыт темно-синей тканью, которая не истерлась за время использования. Особенно хорошо было видно, что книгой часто пользовались, по краям обложки — там ткань потемнела, но нити нигде не перетерлись, а лишь примялись.

Наконец мой попутчик достал из рюкзака то, что искал. Это оказалась толстая лекционная тетрадь, покрытая темной клеенчатой обложкой. Мужчина удовлетворенно выдохнул и посветлевшим взором оглядел меня и видневшееся за окном облако.

— Вот здесь, — он открыл альбом, — разные фотографии. Это облака. Очень разные. Разные формы, цвет... сделанные в разное время. Я собираю их уже несколько лет. Знаете, никто за столько лет ни разу мне не сказал, что облака — такие красивые. Только вы.

Я медленно прислонился к обитой приятным мягким материалом стенке купе и с любопытством человека, которому нечем заняться в ближайшее время, кроме предлагаемого просмотра фотографий, заглянул в альбом.

— Меня зовут Костя, — сказал попутчик будто бы между делом, аккуратно и неспешно переворачивая листы с фотографиями.

— Очень приятно, — ответил я, подражая его замедлившемуся темпу речи, — а меня — Гриша.

— Нормально, Григорий? — Костя поднял на меня глаза и с хитрым любопытством заглянул в мои зрачки.

— Отлично, Константин! — мы засмеялись неожиданно возникшему резонансу во взаимопонимании.

Фотографий было много. И каждая из них изображала облако.

«Хорошая оптика», — завистливо подумал я.

Облака были прекрасно детализированы, с тонкой и точной передачей цветов и контраста. Клубящиеся горы, небесные сады, вздымающиеся к солнцу города, летающие гигантские звери, абстрактные фигуры, затмевающие своей тенью целые поселения, медленно курсирующие галактики, дрейфующие вселенные — все это целенаправленно несло в каком-то направлении, словно проходящие перед глазами во сне нескончаемые страницы неведомой книги, написанной незнакомыми буквами.

«Это просто бесконечный реестр форм, — подумал я. — Но невозможно же сфотографировать все облака, проносящиеся над всей землей!»

— Но ведь невозможно сфотографировать все облака в мире, — повторил я вслух.



— Конечно, но все и не нужно фотографировать. Несмотря на кажущееся несметное многообразие, число форм не так уж велико: всего несколько тысяч.

— *Всего?*

— И все они повторяются. Правда, есть множество различных циклов повторений. И достаточно большое число модификаций. Но при необходимой тренировке глаз сумеет привести все варианты изменений к изначальному инвариантному образцу.

— Вы сами все это... вычислили? — спросил я после некоторой запинки, стараясь подобрать нужное слово и все больше увязая в недоверии ко все усложняющейся ситуации.

Мой собеседник устало выдохнул. Лицо его поскучнело и приобрело слегка страдальческий вид.

— Помните то облако, которое вы увидели в окне? — К этому времени облако совсем уже изменило свой вид и еле виднелось за хвостом поезда. — А теперь посмотрите на эту фотографию...

На фото располагалось большое вытянутое облако, немного похожее на увиденное мной.

— Эти облака — братья-близнецы, у которых один общий прообраз. Это, по моей классификации, Кит. Кит... или, если хотите, Левиафан — это четко оформленное начало, готовность принять или создать новый мир. До Кита существуют только Материя и Бесконечность. Они почти совсем бесформенны и инертны и долгое время неизменны. Есть еще большое множество таких форм — Птица, Океан, Пустыня, Вавилонская башня — и много-много чего еще, каждая из них обозначает отдельную стадию формирования материи. И со временем смена форм повторяется, соответствуя природе цикличности. Внутри одного большого цикла — множество меньших и совсем маленьких. И все они сосуществуют одновременно. Образно говоря, их можно представить в виде тысячи расходящихся кругов на воде внутри одного большого круга.

— Как интересно... — сказал я. — Но что обозначает вся эта круговерть облаков?

— Трудно сказать... Можно делать множество предположений. Но что обозначает наша жизнь на планете, например? Может, это также одна из форм материи. Есть неорганическая, а есть органическая и разумная формы жизни. Но кто знает, что находится за пределами этих известных нам видов бытия? Так и облака — они повторяют неизвестный нам смысл последовательностью своих форм.

В это время за дверью купе в проходе грустно загремела коляска продавщицы воды и других полезных жидкостей.

Костя открыл дверь и спросил у продавщицы:

— У вас есть «Балтика»?..

Через четверть часа мы с Костей уже были на «ты» и, стоя в проходе вагона возле окна, всю обсуждали метафизику и диалектику облачных метаморфоз.

— Сложно сказать, — размахивая руками, в одной из которых тяжелела бутылка пива, горячился Костя, — есть ли среди облаков обратные взаимопереходы форм. Иногда циклы прерываются, иногда протекают не в прямой, а в обратной последовательности; иногда циклы свернутые; иногда внутри одного помещается несколько меньших. Это еще очень плохо изучено.

— Но ведь кто-то это изучает?

— Есть, есть такие люди на Земле, которые занимаются изучением облаков. И я — один из них, — мой визави сделал театральную паузу, в которой поместилось представление уже достаточно опьяневшего человека о том, что сейчас к нему должно быть приковано самое пристальное внимание, потому что за этой фразой должна последовать другая, еще более важная. — Я — магистр истории облаков!

— Ты?!

Костя повернулся в профиль и хитрым движением руки надел на голову берет.

— Да, я. Я — мастер толкования облаков!

Я медленно и уважительно зааплодировал, утвердительно кивая головой в такт хлопкам.

Тут к нам снова незаметно подъехала продавщица с тележкой, и мы скупили весь имевшийся у нее запас пива.

Была глубокая ночь, когда я проснулся — видимо, от толчка поезда. Поезд стоял, и мой переход от сна к восприятию действительности был легким и почти незаметным движением сознания. За окном в отчетливой тишине вырезались совершенно определенные и удивительно различные редкие звуки птичьего пения. Лунный свет, изгибаясь между листвою, проникал в купе, принося с собой отражения листвы и наклеивая их на стенки.

Я слегка потянулся в тяжелой истоме, так и не почувствовав перехода в реальность. Мне все еще казалось, что я — единое целое со всеми окружавшими меня частями: вещи из проступавшего внешнего мира все еще казались моими собственными продолжениями. Я чувствовал, как замерла верхняя полка в ожидании движения; как штора, одиноко уставившись в небеса, подрагивала от ночной прохлады; и даже где-то там, вдалеке, дорога, которой не было видно и которой наверняка не существовало, казалась мне продолжением моего медленного дыхания, исходящего от нагретой спины локомотива к далекому востоку, где спали Уральские горы.

Я был большим ночным облаком, затаившимся над широкой темной долиной, заполненной несметным количеством мельчайших деталей мира.

На соседнем месте никого не было.

Видимо, Костя уже сошел на своей станции или просто вышел подышать. Я снова закрыл глаза и уснул.

Больше я Костю не видел.

Доказательством нашей странной встречи осталась только тетрадь, которую мой попутчик забыл на столике... или специально оставил мне. В ней фиолетовыми чернилами было исписано пять страниц буквами неизвестного языка.

Я долго думал над ними, стараясь понять, был ли это в действительности существовавший язык или искусственно придуманный.

Я никогда не узнаю, о чем написано в этой тетради, так же как не узнаю всей последовательности облаков полного цикла, включавшего в себя, по словам Кости, пять тысяч форм.

Неизвестно, была ли метафизика облаков тоже придумана Костей или существовала с давних времен.

Все, что я могу теперь делать — это смотреть на прекрасные клубящиеся или застывшие облака и фотографировать их. Возможно, когда-нибудь я смогу разгадать все их пять тысяч форм.

КАК В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА

«Ништяк, — думаю я и ощущаю сухой, спертый запах кипятка. — Как в старые добрые времена. А кто первым придумал говорить *ништяк*?.. Леха-Пятачок. Все детство он был маленьким, худым, каким-то недокормленным, с тонким пищущим голосочком, в плюшевых шортиках, глазками хлоп-хлоп, с носом, курносым курком, выглядевшим как выгнутый до отказа большой палец — точно Пятачок. Это я ему придумал прозвище».

— Ништяк, — говорит Пятачок и затягивается «бондом».

Первый раз, когда переплывали Дон, было страшно.

А потом — ничего так. Переплывали на другой берег сигареты и курили там.



В прибрежных зарослях мягкие, словно пакетики с молоком, лягушки, переминаясь, медленно, как рыбаки в сапогах, раскорячась, уходили под воду.

На перекат выкладывали спасенное с нашей стороны имущество: нераспакованные пачки в тонкой, как слизь, пленке, смятый коробок спичек, подхвативший на боку мокрую заразу и высунувший квадратного сечения палочки с поплывшей и похожей на горчицу серой. Клетчатая рубашка, в которую был завернут боеприпас, тоже намочила и, тяжелая, казалась еще более красной, чем обычно.

Потом присаживались греться после холода проточной воды на гладких, с мягкими выщербинами, меловых камнях, на которых марлевыми сетками присохла тина. Чистик вставал первым, жирненький, гладкий, как холодец, ощущая тепло, исходившее от стоячего воздуха, запутавшегося в остроконечной шершавой осоке.

Пятачок тоскливо смотрел на меня, сморщив облезлый нос, на котором молоденькая шкурка, как на картошке, уже облупилась, а под ней розовела, словно моль, новая кожа.

Чистик забирал приготовленные сигареты, и я, выжимая потеплевшую воду из рубашки, хлюпал по иллистому прибрежью за ним. Пятачок брел где-то позади, копошась и вскрикивая от острых твердых черенков обломанного камыша. Потом бежал за нами, пока мы не скрылись среди ив, по чьим длинным, сухим, с налетом, листьям стекали белые, пенистые, как харчок, плевки ивовых «слез».

«Почему кипяток — крутой... — думаю я и осторожно, чтобы не свариться самому, переливаю его из ведра в таз. Пар, оттолкнувшись от поверхности воды, облепляет меня тугой, надсадной сухостью, от которой, кажется, съеживаются легкие. — Почему — *круто сваренный* чай? Вот яйца, понятно, были сырыми, а стали твердыми, *скрутившись*, пока варились. Вода тоже, значит, пока варится — закипает, *крутится*, от этого и становится *крутым* кипятком».

— Ты че — крутой, да?.. Крутой?! — толкает меня Фима больно в грудь костяшками кулака. — Крутой, да?..

Я пошатываюсь от толчков его руки. Он бьет пока одной. Слово она у него связана со словом *крутой*. Пока он толкает только ей — и повторяет одно и то же. Потом вдруг бьет сильнее, уже другой, и я срываюсь от внезапной боли этого не попавшего в ритм толчка и бью, бью, бью Фиму по голове, завернутой в плотную, остроконечную, как буденовка, шапочку! Фима меньше меня, голова его кланяется от ударов то в одну, то в другую сторону, мне его жалко, но я бью, уже без интереса, пока под крик одноклассников не протискивается сквозь толпу школьный директор и, покрасневший, не разнимает нас.

Потом вторая попытка. Уже зимой. Урок физкультуры на свежем воздухе.

Фима стоит в стороне и ухмыляется. Теперь уже высокий, скуластый, худой Толик — друг Фимы. Вокруг нас толпа, отходить некуда. Я надеваю большие рыболовные отцовские рукавицы, мягкие внутри, как вата, и брезентовые, как наждак, снаружи. Толик только смеется. И я бью ему прямо по глазам, как боксер, нокаутирую эти нахальные и ничего не ожидавшие скулы.

Ничего страшного. Никакой трагедии. Всего лишь третий класс. Толик полмесяца прячет опухшие глаза.

Окунаю, наклонившись, голову в таз. Горячий, чувственный ток проходит по корням волос, расслабляет. Кровь приливает к голове, согреваясь и играя, словно аквариумная рыбка в солнечных лучах. Память разгоняется... как субатомные частицы в ускорителе. Становится жарко, пот росинками выступает на лице и смывается плоскими и закрученными струями, стекающими с волос.

Было жарко, когда однажды Рома разбил мне губу и оставил сильный синяк на щеке. Он был сосед, и мы дружили. По-дружески и подрались.

Жили рядом. В доме, где не было горячей воды. Титаны тогда еще не ставили, воду грели в ведрах и больших баках на газовой плите.

В одну и ту же реку нельзя войти дважды, а в одну и ту же воду — можно. Вода всегда одна и та же. И кипяток пахнет так же, как двадцать лет назад, и тот же жар охватывает голову, и поза согнутого перед водой тела точно такая же: символ преклонения перед ней, знак приношения собственной головы — ради желания очиститься, обновиться, пустить струение волос по распускающимся вширь невидимым течениям... Отбери у городского человека горячую воду — на неделю, как обещают — и нет его, городского человека, есть древний грек, бродящий, завернутый в хитон, как пораненная ладонь — в обрывок бинта; и кровоточит он собственной голизной, страхом своей обнаженности перед бытием, как Пятачок своими голыми пятками — перед острой травой и подводными камнями...

И Гераклит присаживается на большой валун возле реки, придерживая одной рукой хитон, чтобы сохранить себя как часть цивилизации, а другой — зачерпывая поток; он подносит ладонь ко рту и, вытягивая шею, глотает скользящую по руке струйку. Потом смотрит, потирая влажными пальцами лоб, на другой берег, где, словно в тумане, проходят Пятачок и Чистик, потом остальные, повзрослевшие: один стал боксером, другой — «краповым беретом»; Фима — математик и программист, Толик — продавец овощей с лотка; Рома, сгинувший от алкоголизма. И неважно, что они его не видят, что он недостижимо далек от них: путь вверх и путь вниз равны друг другу, а значит, нет его, этого пути; движение — лишь видимость, все равно друг другу, так же как капли воды не знают различия между собой.



Елена БОГДАНОВА

НЕСБЫВШЕЕСЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

СЕВЕР

Я по карте выверял маршруты
Северных нехоженных краев,
Где эвенки, ненцы, алеуты
Засыпают под олений рев.

Этот рев некормленных оленей
Возвещает пустоте ветров
Гибель нерожденных поколений,
Торжество безмолвных холодов.

Северным сияньем ослепленный,
Оглушенный вечной тишиной,
Край земли никем не побежденный,
Навсегда незрячий и немой.

ПРИВЕТ СЛОНАМ!

Слоны — животные полезные.
М. Булгаков, «Собачье сердце»

Полезные животные слоны
Идут на водопой нестройным стадом.
Дорогою обходят валуны
И лакомятся диким виноградом.

Я — бесполезна, я — увы! — не слон,
Бесцельно я шагаю по бордюру.
На голове оранжевый кепон,
В плаще — повестка из прокуратуры.

Аллеи света тихого полны,
И поздняя весна необычайна...
Шлю вам привет, товарищи слоны!
Не лопните от важности случайно.

ОХОТА НА ЛИС

... И мы охотились на лис,
И шелестела крона дуба,
И лета раннего каприз
Вдруг захлестнул нас ливнем грубым;

И был неотвратимый блеск,
И был неудержимый рокот...
Через ветвей надрывный треск
Я слышала призывный шепот.

И ласки сыпались «на бис» —
Несносны, нестерпимы, жарки...
Мы не охотились на лис,
Мы пили водку в тихом парке.

АКТЕР

Я — актер комедии абсурда.
Я — любитель «Хенесси» и граппы.
Я играю фокусника-курда
С кроликом в глубинах черной шляпы.

Фокусник (причудой режиссера)
Слеп, как филин. Правда же, комично?!
Путает он вешалку с тапером,
Кролика — с шарлоткою клубничной.

А моя супруга в главной роли —
Пышной полуголой одалиски.
Злые охраняют ее тролли,
Наши третьесортные актриски.

Вечер душен, музыка бравурна...
Темный грим стекает мне за ворот...
Встал тапер зачем-то на котурны
И поет: «Прощай, любимый город!»

Чадом изнурительного фарса
Я отравлен — как избытком граппы...
Люди, птицы, кролики и барсы!
Я — не курд!.. Я пленник гнусной шляпы!

СТАРЫЙ ЯКУДЗА

Искусству обнажения меча
Он обучал назойливых клеветов.
(Все в черном — три напыщенных грача —
Они привыкли к «пушкам» и кастетам.)

По жесткой полувысохшей траве
Они ползли, в руках сжимая ножны,
Прислушиваясь к выпи и сове,
Шагам внимая тихим, осторожным.

Чтобы не выдал нежный лунный блик
Стальной клинок сиянием нескромным,
Выхватывали меч в последний миг —
В прыжке разящем, резком, вероломном.

Еще учил подвешивать клинок,
Всего на восемь пальцев обнаженный,
На поясе, на шелковый шнурок,
И двигаться во тьме неосвещенной.

...Проникшись к старику, ученики
Устроили обед большой и пышный.
Он за столом не скрыл своей тоски
И вдруг исчез — стремительно, неслышно...

Уже потом, во власти палача,
В сыром подвале осознали трое:
Учил он обнажению меча,
А не искусству доблестного боя.

ДЕВИЦА САРА

Я милый плюшевый щенок.
Я — обитатель будуара.
Сюда меня забросил рок
Рукой моей хозяйки Сары.

Курсистка с черною косой
И с нежным и стыдливым взором
Содержит в спальне голубой
Меня, прелестного Трезора,

Том Пушкина и том Рильке,
Семнадцать кружевных сорочек,
Святую деву в образке
И в вазе лилии цветочек.

Цветы приносит ей банкир,
Унылый, толстый и развратный.
Твердит он ей: «Вы мой кумир!»,
Лобзая перси в час закатный.

Во вторник лавочник Наум
Приходит строго в полседьмого.
Но не придет ему на ум
Дарить цветы — лишь деньги снова.

Но самый мерзкий из господ —
Хромой стареющий полковник.
Он хрипло Вагнера поет,
Меня швырнув на подоконник.



А что возвышенный студент,
Моей хозяйки нареченный?
Он ей пирожное в презент
Несет, смятенный и влюбленный.

Краснеет, чуть коснувшись рук
Девицы, или шелка пледа,
И самой сложной из наук
Труднее для него беседа.

Я рассказать ему не мог
О сладких тайнах будуара.
Я — только плюшевый щенок,
Трезор моей хозяйки Сары.

ГИППОПОТАМ

*Бегемот разинул рот,
Булки просит бегемот.*

С. Маршак

Я — огромный, толстый, безобразный.
В зоопарке я такой один.
И бассейн — пусть маленький и грязный —
Только мой! И я здесь господин.

Мне не нужно ваших сдобных булок —
Как же безнадежно вы глупы!
Ропот утомителен и гулок
Вашей принаряженной толпы.

Не любил и раньше вас, признаюсь:
Лодок потопил пятнадцать штук!
И сейчас мой нежный слух терзает
Ваших туфель бесконечный стук.

Нет, скорей всего, небесконечный!
В светлый день свершится приговор,
И смотритель, пьяный и беспечный,
Не замкнет как следует запор...

Праздным господам и праздным дамам
Дам совет (учтите наперед!)
Называть меня гиппопотамом,
А не фамильярным «бегемот».

БЕЗ РАЗБЕГА

Ведь даже рыбы иногда летают?!
У нас — все шансы, даже без разбега,
Скользнув по глади желтого паркета,
Подняться в воздух стрекозиной вспышкой —
Нет, не из пушки, не из арбалета —
Из тоненькой мальчишеской рогатки;
И волосы, исхлестанные ветром,
Согреть в ладонях жарких и беспечных,
Как крылышки прозрачной стрекозы.

И если люди иногда летают,
Кому-то это нужно, ты же знаешь?..
Так голоден лазурный небосвод!..

НЕСБЫВШЕЕСЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Как я ждала землетрясения!
А весь наш пыльный городок
Внимал со страхом сообщеньям
Сейсмологических тревог.

И нам, отпущенным с уроков,
Тогда внушили — строго так! —
В течение оглашенных сроков,
Сухой обед собрав в рюкзак,

Найти открытые местечки:
Горсад, пустырь иль стадион.
И ставили старухи свечи,
Предчувствуя Армагеддон.

А всполошенные мещанки,
Сложив банкноты в кошельки,
Достали золото из банки,
Унизав им по две руки.

Лишь я, разглядывая ветер
В апрельских луж рябой воде,
Ждала сильнее всего не свете
Толчков земли...
Но где же, где?..



ПЕНСИЯ

Р а с с к а з

Его худые морщинистые руки, покрытые куцым мхом седых волос, все время дрожали. Старик этого очень стеснялся. Когда ему чудилось, что кто-то смотрит, он начинал теревить одной рукой кончики пальцев другой, чтобы скрыть это подлое дрожание. Казалось, что дрожь в руках выдавала окружающим всю его подноготную, все мелкие и неприглядные страхи.

У него был закадычный приятель, сосед по даче. Они частенько созванивались, обсуждая помидорную рассаду, тарифы на электричество и горячую воду и нынешнюю политическую обстановку в стране. Этот приятель недавно умер, но старик иногда забывал об этом и набирал знакомый номер. Там в очередной раз сообщали, что его друга больше нет, и он расстраивался так, будто слышал это в первый раз. Телефонная трубка выпадала из его обессиленных рук и громко шелкала по рычажку. В такие минуты он долго сидел рядом с телефоном и плакал.

Жил он один и заботился о себе сам. Привык. Делал зарядку, беспокоился о своем внешнем виде и питании, без конца мотался на другой конец города за деревенской сметаной или свежей рыбой. Но память была уже не та, он подолгу вспоминал, что делал вчера и что собирался сделать сегодня, стараясь проговаривать про себя то, что сейчас делает — так оно лучше запоминалось. В такие моменты ему казалось, что время замедляет свое течение, и этот необъятный мир сжимается до размеров того, на что он смотрит. Как будто есть только он и его настоящее.

Закончив штопать старые черные носки или перчатки, старик аккуратно втыкал иголку с забытой в ней ниткой в мягкую подушечку, укладывая катушку с нитками и наперсток в коробочку. Коробочку он ставил в сервант и громоздил сверху ножницы, которые были слишком велики и в коробку не влезали. Закрепив шитье узелками, он складывал носки в шкаф, а перчатки — на тумбочку в прихожей. Немного побродив из комнаты в комнату, он вспоминал, что надо бы зашить еще старые брюки. Он порвал их, когда зацепился за угол двери мужского сортира, пытаясь побыстрее вырваться из этого вонючего музея с застывшими у окна курильщиками. Он снова доставал из серванта швейные принадлежности и садился на край дивана, поближе к окну. Ножницы он бережно пристраивал справа от себя, коробочку — слева, а брюки раскладывал на коленях, аккуратно разворачивая ткань, чтобы не смять отглаженные стрелки. Взяв подушку с иголками, старик шурился, выискивая ту, что со свободным ушком.

Свою давно умершую жену старик вспоминал нечасто. Ее фотография в дешевой деревянной рамке висела на стене вместе с другими черно-белыми ровными прямоугольниками фотобумаги — обрывками его жизни. На той фотографии жене было не больше сорока лет — молодая еще, красивая. Но взгляд старика скользил по



этой фотографии, не останавливаясь. Примелькалась за столько лет. Редко, ночью, когда старику не спалось, он подолгу смотрел на эту красивую женщину, даже не осознавая, что это его жена. Иногда в лунном свете лицо с узкими скулами, обрамленное темными волосами, приобретало какую-то неземную загадочность. Казалось, что она смотрит в окно — живая, задумчивая, прекрасная. Волшебная. Разве у него могла быть такая жена?..

Дни тянулись невероятно долго. Не зная, чем заполнить бесконечность своей жизни, он сидел дома и смотрел телевизор или просто смотрел в окно. Нередко его одолевало отчаянье от осознания скорой кончины, а иногда становилось жутко и от самой жизни.

Был старик и на войне, да только ничем особым не выделился и геройских звезд не заработал. Наверное, потому, что ненавидел войну. От первого до последнего дня он проклинал и немцев, и русских, и весь белый свет.

Несколько раз он бывал на детских утренниках в честь Дня Победы. Когда его просили рассказать что-нибудь о войне, он смотрел в эти чистые глаза, на эти румяные щечки и начинал что-нибудь «вспоминать». Обычно это было что-нибудь из Твардовского или Быкова. Ребята слушали с удовольствием, и только у учителей вытягивались лица. «Ну и пусть, — думал он. — Не дай им бог когда-нибудь узнать, что там было на самом деле».

Военные кинофильмы, наполнявшие экраны телевизоров ежегодно девятого мая, старик смотреть не любил. Бутафорская кровь и взрывы навевали на него ужас, хотя обычные боевики, особенно отечественные, про бандитов, он смотрел с удовольствием. Майские празднества вызывали у него отвращение — ему-то как раз хотелось все забыть. «Интересно, — думал он, — когда эти гордые потомки где-нибудь на Смоленщине собирают грибочки, им в голову не приходит, что эти грибочки из чьего-то глазика выросли?.. Нет ведь, по трупам ходят, цветочки нюхают, о вечном рассуждают...»

На пенсию его выперли, когда ему едва стукнуло шестьдесят. И слава богу! Он был благодарен от всей души этому сорокалетнему прохвосту, который занял его место и вежливо, между делом, вспоминая его заслуги, указал ему на дверь. Старик наконец-то был избавлен от ежечасного осведомления всех сердобольных наседок на работе о самочувствии и от предложений присесть, не волноваться и побереечь себя. Беречь — для чего? Чтобы прилично выглядеть в гробу?.. К черту, к черту!

Он думал, что пора привыкать к тому, что смерть — это не такая уж далекая перспектива. По сути, он уже окружен ею и готов сдаться. Не надо ходить вокруг да около или терпеливо ждать. Однажды он понял, например, что газовая плита — это смерть на блюдечке, с пылу, с жару. После этого он стал бояться плиты, среди ночи вскакивал, проверял, выключен ли газ.

Смерть выглядывала из-за каждого угла, дышала в ухо, постукивала кончиком косы по затылку, проявляясь везде и во всем. Например, в квартире слева слышно, как один бьет другому морду. Потому что пьян. А ведь в любой квартире есть ножи — и не до них ли доведет эта драка... А в квартире справа женщина надрывно орет на ребенка. Матом. И когда-нибудь этот ребенок будет тоже орать на нее; возможно, из него вырастет вор или убийца. Убийца своей матери. Это было бы закономерно. Старик не верил в справедливость, в следование высокой цели, в поиск великой идеи. Закономерность — вот та колея, по которой катится колесо жизни.

Вера во что-то хорошее с недавних пор казалась ему наивной глупостью. Эта вера была с ним в течение почти всей жизни, пока ее не обрушили ему на голову. И он оглох, уже не желая ничего слышать. А все вокруг торопились рассказать ему что-то гадкое и позорное о той жизни, в которой он был счастлив. Как же они противно суетились, разрушая его гордость и надежду...

Новый мир спешно выбросил его на помойку. Утром он глядел в окно на пробегающих мимо людей, которых гнала жизнь, и чувствовал, что этой новой жизни нет до него, старика, никакого дела. Молодежь он давно не любил, а нынешних девиц и вовсе терпеть не мог. Их яркие и не очень приличные наряды, острые носки туфель вызывали у него раздражение. Нахмурившись, он косился из-под редких седых бровей на голые животы, которые считал проявлением исконной бабьей дурости. Пар-



ней же, молодых и здоровых, он ужасно боялся и обходил стороной. Когда он слышал за спиной их низкие уверенные голоса, на него накатывала паника. Ему чудилось, что его согбенная под грузом лет и ошибок фигура призывает их: «Пни меня!» Он был уверен, что именно среди таких вот здоровяков рано или поздно найдется тот человек, который убьет его — тут же, на улице, без всякого стеснения, одним ударом прервав длинную жизнь.

В бога старик не верил. Когда он проходил мимо православных храмов, вокруг которых было полно нищих старух и голубей, ему думалось, что когда-нибудь и для него молитва и запах воска станут успокоением и радостью, — но ничего не получалось. Только когда он смотрел старые фильмы о веселых и смелых строителях коммунизма, он ненадолго обретал покой в сердце, и радостными были его воспоминания.

Один раз старик заснул в автобусе и проехал нужную остановку. Когда он открыл глаза, вид из окна показался продолжением сна — автобус катил по какой-то незнакомой улице. Просить о помощи у кондуктора или стоявших рядом пассажиров он постеснялся — подумают еще, что он, старый дурень, заблудился, как пятилетний мальчишка, в родном городе. В полной растерянности он наблюдал, как другие пассажиры спокойно и буднично заходят в автобус или выходят, уверенно направляясь куда-то. Старик, сощурившись, вглядывался в лица, в надежде встретить знакомого или, может быть, увидеть на лице случайного пассажира неуверенность и страх, что он сам сейчас испытывал. Так он и ехал неизвестно куда, чувствуя себя слабоумным и никому не нужным, и паника в его душе нарастала с каждой остановкой.

Когда старик доехал до конечной остановки, уже стемнело, потому сослепу он не разобрал, куда нужно идти, чтобы отправиться обратно, хотя остановка была прямо перед его носом, через дорогу. Он уже чуть не плакал от страха, что не вернется домой, когда это заметил.

После всего, сидя на кухне и пытаясь согреться горячим чаем, он снова и снова проживал это путешествие, и с каждым разом оно становилось все страшнее и страшнее. Липкая тревога проглотила его целиком, а возвращение домой уже казалось чудом.

В ту ночь ему приснился Черный человек. Это был не человек вовсе, а что-то дьявольское — такую жуть он навевал одной своей тенью. Спасаясь от этой неясной тени, старик видел себя бегущим через мосты, дворы, мимо каких-то людей. Было темно вокруг, и за каждым углом ждал его Черный человек, несущий смерть...

После той ночи он больше не выходил из дома после захода солнца.

Его единственная дочь жила где-то в Италии, часто звонила и присылала письма и фотографии улыбающихся людей и красочной природы. Первое время после ее отъезда он все ждал, что она вернется, радовался письмам и звонкам и скучал по ней, о чем сухо и вскользь упоминал в своих письмах. Через какое-то время он перестал писать и надеяться, дочери объяснив, что ему хватает телефонного общения («Как дела?.. Как здоровье?.. И у меня все хорошо... Ну ладно, я побегала...») и что он забывает писать. О возвращении она не заговаривала, а он не спрашивал. В какой-то момент напоминаниями о себе она стала вызывать тихое раздражение. Письма он прочитывал по диагонали, фотографии складывал на полку, а подарки никогда никому не показывал. Он уже не знал, хочет ли ее возвращения. Одиночество стало привычным и комфортным, как домашние тапочки.

Недавно дочь прислала фотографию своей новорожденной дочери — его внучки, стало быть. Увидев на фото сморщенное розовое личико в обрамлении чего-то белого в цветочек, старик, как ни уговаривал себя, так и не смог испытать прилива нежных чувств. Он все смотрел и не верил, что это — его родная кровь. Наверное, он просто забыл, что такое дети. А ведь у его дочери когда-то была точь-в-точь такая же крохотная розовая мордочка в окружении белого в цветочек. Но как ни старался, он не смог вспомнить, что почувствовал в тот момент, когда в первый раз взял на руки своего ребенка. Забыл, как младенцы пахнут, пускают слюни, как они смотрят на тебя... Задумавшись, он отложил ту фотографию в сторону, да так и потерял где-то.

Однажды в магазине он попросил продавщицу посоветовать ему хорошие яблоки. Та ткнула пальцем в кучку яблок с блестящими красными боками и сказала:



— Эти — сладкие.

Он сначала кивнул, и она уже начала набирать ему полкило этих яблок, но он вспомнил, что еще с утра хотел зеленых яблок, с легкой кислинкой и крепкой шкуркой, и даже икнул от переполнившего его чувства вины. Он замахал на продавщицу рукой, испуганно дергая головой из стороны в сторону, и когда она, набрав яблок, уверенно хлопнула пакет на весы, старик увидел разочарование на ее лице. Он начал оправдываться, утопая в страхе, что его не понимают, чувствуя себя олухом и захлебываясь словами. Тем временем за его спиной уже образовалась очередь, и продавщица стала поторапливать, оборвав поток извинений, от этого он вконец запутался и замолчал, но место стоявшим позади не освободил. Тогда очередь заворчала, запенилась, и его оглушило недовольство этих молодых и сытых людей, полных жизни. Он убежал из магазина, забыв там свои покупки. Придя домой, старик долго стоял одетый в темном, захламенном коридоре, не решаясь ни раздеться, ни вернуться обратно. Было жалко потраченных денег, но к тем людям возвращаться не хотелось.

Он все-таки заставил себя выйти из дома и медленно побрел по улице, уговаривая себя успокоиться, не замечая подступивших сумерек и того, что вдруг оказался один на темной улице. Громкие шаги за спиной прервали его размышления, и он вдруг понял, что все происходит в точности так, как было в том сне. Не смея обернуться, старик зашагал быстрее; в его груди заледенело от предчувствия беды. Не сбавляя шаг, он осторожно бросил взгляд через плечо — и сердце его подскочило к кадыку: к нему с невероятной скоростью приближался черный силуэт, этот демон из ада явно чувствовал, что старик вот-вот споткнется, упадет, и вот тогда... Он не смог придумать, что будет тогда, ему оставалось лишь, задыхаясь, шептать себе: «Только бы не упасть, только бы не упасть!» Страх придал ему сил, он уже почти бежал, но вдруг поскользнулся, запутался в ногах и рухнул на бок. Черный человек был совсем близко, его тяжелые и уверенные шаги оглушали. Человек — или демон! — подошел вплотную и остановился. Старик весь скрючился и в ожидании удара почти перестал дышать.

— Эй, дедуля, тебе помочь? — спросил Черный человек.

Громовые раскаты голоса лишили старика рассудка. Он заверещал:

— Не надо, не надо! — вскочил и побежал прочь, оскальзываясь и продолжая кричать: — Не надо!

Человек постоял в нерешительности, потом покачал головой и крикнул вдогонку убегающему:

— Тебе лечиться надо, дед, — вздохнул и завернул во дворы. Через минуту ухнула дверь подъезда, и все затихло.

Пробежав полквартиры и чуть не задохнувшись, старик остановился и оглянулся. Черного человека уже не было. Только сейчас до него дошел смысл фразы, сказанной незнакомцем, — его вовсе не хотели убивать, ему хотели помочь. Это было удивительно, даже невероятно. Поверить в добрые намерения совершенно незнакомого человека ему было трудно, но тут старик вспомнил еще кое-что: когда он, ополумев, вскочил, то успел разглядеть своего преследователя — куртка на нем была темно-зеленого цвета. Черный человек оказался вовсе не черным.

Неспешно падал мелкий снежок. Сгорая в свете фонарей, снежинки падали на землю уже каплями, делая глубокими и без того большие лужи на обочине. Проезжали машины, выхватывая из темноты одиноко стоящую фигуру, слепя старику глаза. Мимо прошла знакомая продавщица из магазина, где он всегда покупал молоко по двадцать рублей пятьдесят копеек и масло по двадцать семь рублей семьдесят пять копеек. Продавщица поздоровалась, сверкнув золотым зубом. Старик промычал в ответ что-то неразборчивое и наконец-то оглядел себя: пальто расстегнуто, шапка набекрень, шарф цепляется одним концом за сухую морщинистую шею, другим окунается в лужу. В той же луже плавала перчатка. Одна. Вторая высовывалась из кармана пальто. Свою палку он оставил в том месте, где упал. «Ну и ладно», — махнул он рукой, поправил шарф и шапку и нагнулся за перчаткой. В этот момент кто-то толкнул его в зад. Этот кто-то, молодой парень под два метра ростом, тут же буркнул: «Извините...» — и зашагал дальше. Решив больше не испытывать судьбу,

старик спешно засеменял домой. Без палки было непривычно, но он скорее умер бы на месте, чем вернулся бы за ней. В ту ночь он спал спокойно...

Как-то раз он сидел на остановке и думал о дочери — о том, как она росла, какие надежды с ней связывали он и его жена. Почему же все вот так получилось, что с ними произошло?.. Он не смог вспомнить.

Вместе с ним на остановке сидел какой-то мужчина среднего возраста с маленькой девочкой. Девочка пицчала: «Папа, папа, купи-и-и!..» Видимо, она начала канючить уже давно, забыв, чего ей так и не купил папа. Это было понятно по растерянности в ее глазах, когда она переводила дыхание. Однако обида еще где-то тлела, потому девочка раздраженно шлепала отца по рукам и пинала его ноги. Тот вяло отмахивался и смотрел в другую сторону. Прохожие косились на папу с дочкой, но не было среди них того, кто смог бы успокоить девочку и смыть с ее личика слезы, а с отцовского лица — оупение и пот.

Старик тоже смотрел на эту пару. Сцена была знакомой — и визгливый плач, и осуждающие взгляды, и эта равнодушная пустота в глазах мужчины. «Эта малявка ведь тоже уедет от него, — думал старик. — Бросит отца, будет жить своей жизнью, общаться со сверстниками, и вот это “папа, купи!” так и останется единственным, что их когда-то связывало». Старику вдруг до смерти захотелось, чтобы этот отец, уже не он сам, все-таки *купил*... Чтобы девочка замолчала, оттаяла, улыбнулась и засмеялась.

Старик подошел к мужчине, весь дрожа от праведности и правильности своего поступка, и протянул ему сто рублей. Мужчина раздраженно дернул плечом и отвернулся. Тогда старик твердо и с настойчивостью в голосе сказал:

— Возьмите, пожалуйста! У меня дочь в Италии. Она мне присылает деньги. — (Зачем он врал?) — Она недавно туда уехала... Года четыре назад. А я остался тут... Возьмите, пожалуйста. Мне хватает, мне много не надо... Возьмите. Я дочь не видел уже четыре года, а до этого нам с ней и поговорить было некогда — то у меня дела, то у нее учеба... А мне все некогда было... Дети быстро растут. У меня уже внучка родилась, а я даже на руки ее взять не могу... — старик вздохнул. Его уже слушала вся остановка, но он этого не замечал; глаза слезились, он уже почти не видел перед собой ни папу, ни дочку — все расплывалось, девочка оказалась маленьким радужным пятном, а мужчина — вытянутым серым. — Возьмите, пожалуйста, я... У меня еще есть... если надо.

Весь вечер после этого он маялся — ждал, что дочь позвонит. Сам позвонить не мог — не знал номер телефона: никогда не спрашивал, потому что звонить было слишком дорого. Он думал о том, что должен сказать дочери, что любит ее... и всегда любил. Еще он хотел попросить прощения, чтобы дочь на него не обижалась, ведь он любил ее... как умел, редко понимая, надеясь, что жена сама все решит по-женски, а он тут просто для мебели и для посиделок с ребенком, пока жена занята...

Назавтра он умер. Его обнаружили через девять дней; он лежал посреди коридора, рядом валялась пустая кружка. Чай вытек и присох к полу грязно-коричневым пятном.

Дочь приехала на похороны одна; она помянула отца, посидев у соседки, и скоро продала квартиру. Дела у нее шли не так хорошо, как она всем рассказывала, и эти деньги были как нельзя кстати.



Владимир СКИФ

ПАЛИЦА

* * *

Сегодня долгий, беспросветный день
Крошил снежок из облачного sklepa.
И постепенно вынимала тень
Любую малость светлую из неба.

Нет, не убрать тревоги из меня
И не исторгнуть ни вытья, ни крика.
Скончалось небо на исходе дня,
И день из ночи не поднимет лика.

И ты не удостоила меня
Сердечным взглядом, ветреной улыбкой.
Я тоже рухнул на исходе дня
Между тобой и золотою рыбкой.

А если так, то что было вчера?
Мы в жизнь спешили по январской стыни,
Нам показалось — с самого утра
Сошла на землю вечная пустыня.

И вот она уже разбила день
И ввергла нас в воронку расставанья.
Нас пожирала медленная тень...
Спасём ли мы земное бытованье?

Спасёмся ли, отнимем ли опять
Себя у ночи и у безобразья —
Молчать внутри себя и погибать
На тёмных берегах однообразья?

Из цикла «Письма современникам»

* * *

*Аркадию Елфимову,
 историку, писателю, фотохудожнику,
 председателю Благотворительного фонда
 «Возрождение Тобольска»*

Ах, Аркадий Григорьевич!
 Свет неизбывный
 Возникает, когда с тобой рядом стою.
 Русский книжный король,
 Фотомученик дивный,
 Ты в Тобольске несёшь службу-верность свою.

По стране, как по льду,
 И опасно и скользко
 В наше время идти и Россию искать...
 Но уже началось Возрождение Тобольска,
 Значит мы возродим нашу землю опять.

А пока она мрёт в нищете и в тенётах.
 Мать-землица упала в беспамятство дней.
 Уже мало над ней даже птиц перелётных,
 Сенокосного шума, гривастых коней.

Что ж так сердце болит
 Среди вотчин любимых,
 Среди рухнувших сёл и убитых полей?
 ... Помним дедов и прадедов неистребимых...
 Что нам делать с тобой?
 Чарку горя налей!

Выпьем и, — может быть, — поубавим печали.
 Ведь ещё сохранился Великий Байкал!
 В воспалённой Отчизне не все одичали,
 Есть творцы и герои — их Бог обласкал.

Ты стоишь не один среди крови и дыма...
 Мы с тобой — сыновья Всевеликой Руси.
 Поднимай же, как щит,
 Объектив свой, Елфимов,
 И Державную Память и Правду спаси!

* * *

*Юрию Перминову, поэту,
 главному редактору альманаха
 «Тобольск и вся Сибирь»*

— Вот тебе хляби, а вот — острый скальник, —
 Скажет судьба, — хочешь вой, хочешь пой.
 ... Как бы то ни было, мы отыскали,
 Юра, как братья, друг друга с тобой.

Можно вдвоём нам идти по пустыне,
 Можно по снежному полю брести.



Только бы близкие люди простили
Наши метанья и наши пути.

В наших сердцах мы заставы воздвигли,
Носим заботы о ближнем своём...
Знаю: мы цели ещё не достигли,
Но мы заветные рифмы поём.

Мы обнимаем Святую Россию,
Будто бы чадо родное своё.
Нам бы все беды России осилить,
Нам бы целёхонькой видеть её.

— Вот вам терновник, а вот — подорожник, —
Скажет судьба, — распинать и лечить.
Встанем в терновых венцах.
Да поможет
Это — заблудших — любви научить.

* * *

*Светлане Сырневой,
русскому поэту,
автору книги «Белая дудка»*

Утром рано сыграли побудку
Снегири у меня во дворе
В поднебесную белую дудку
На сибирской байкальской заре.

Я проснулся и вышел к Байкалу,
Он стамесками скалы тесал,
Осыпая стеклярусом алым
Полпланеты, и не замерзал.

Льдистый берег скрипел под ногами,
Как земная усталая ось,
Где и вправду подпрыгивал камень,
Утром землю пробивший насквозь.

Я вернулся на дачу. Не шутка
Ощущать колебанья земли.
На столе пела «Белая дудка» —
И из книги мелодии шли.

Наш Байкал замерзает на святки...
Я подумал: а знает Байкал,
Где находится древняя Вятка?
И наполнил «Шампанским» бокал.

Выпил за снегорей, за побудку,
За байкальский бессмертный рассвет
И, конечно, за «Белую дудку»,
Что прислала мне — русский поэт!

Снегири среди белого света
Не убавили яркий накал.
Я сказал: вот и Сырнева Света
Увидала наш зимний Байкал.



С ним первая встреча была не короткой,
А долгой, глубокою, как водоём.
Гремел Поликарпыч, с которым за водкой
Когда-то сидели мы в доме моём.

Та радость общения неизгладима,
Геннадий Михалыч — как будто прозрел.
Тогда Кузнецов не прошествовал мимо,
А лет через двадцать от жизни сгорел.

Ушёл Кузнецов — так взрываются скалы,
Он — на Троекуровском кладбище — лёг.
Ну, что ж ты за ним устремился, Михалыч,
В тебе ещё жил — упоительный слог.

К тебе свои души поэты стремили,
Ждала чередя передач на TV
О русской поэзии, как мы любили,
Лежать «на полке» — голова к голове.

До бронзовой звонкости париться в бане
И спорить о странных путях бытия.
За всех и за всё в тебе билось страданье,
Об это страданье обжётся и я.

Тебя ожидали друзья и подмостки,
Твои выступления и «Дом Кузнеца»,
Но чёрные мемориальные доски
Уже не отпустят тебя до конца.

ПАЛИЦА

Время зыбкое в небе провалится,
И оттуда, из тёмных высот,
Древнерусская вылетит палица
И гулять по России пойдёт.

Уж она-то пойдёт, позабавится,
Потревожит Великий Устюг,
И в Москву воровскую направится,
Приголубит воров и бандюг.

Пусть побитые — Богу пожалятся,
Если кто-то из них оживёт...
Бог простит,

может быть,

ну а палица

Самых подлых искать поплывёт.

Всех приветит и всем им отвалится
По заслугам.
И дай-то Господь,
Чтоб железная русская палица
Прилетала народ прополоть.



СНЕГИРИ

Плеснула вьюга по соседству
С моим окошком и в окно
Я вдруг своё увидел детство,
Как в неожиданном кино.

Вот дом родной, тайга густая,
Неосвещённая внутри,
Но там на ветках расцветают,
Как будто маки, снегири.

Они летят в морозном утре
В заиндевелый белый двор,
Где до земли развесил кудри
Густого инея — забор.

А солнце падает на крыши,
И еле виден бокогрей.
Я на крыльцо из дома вышел,
Чтоб встретить алых снегирей.

А снегири в снегу искрились
И, развесёлые с утра,
Как будто пламя, завихрились
Среди морозного двора.

Клубилась пламенная стая
Костром, аж вспыхнула сосна.
И снег от пламени растаял,
И с неба рухнула весна.

ПАМЯТИ РОСТИСЛАВА ФИЛИППОВА

*Подожди меня, мама. Я покину свой дом,
я приеду, я скоро, мы все вместе пойдём.*

Ростислав Филиппов

Дал ему Бог испытанье —
Славой и болью последней...
Нам он, сказав — до свиданья! —
В Божьи ушёл поселенья.

... Тучи зависли над Славой
И неподвижности путы,
Но не казался он слабым
Даже в такие минуты.

Слабость, в которой есть сила,
Очень немногим даётся.
Славу она возносила
К райским цветам
и колодцам.

В жизни он был неуёмным,
Лучшей не требовал доли.
Как на крылах неподъёмных
Смог он подняться из боли?

Но, уходя по спирали,
Он отрывался от суши,
В небе к нему простирали
Радость нетленные души.

Шёлковый путь его встретил
Где-то у Млечности самой,
Чтобы летучий, как ветер,
Слава увиделся с мамой.



Владимир КОСТИН

СТРЕЛЕЦ

Повесть

1.

Тогда родной город дяди Миши был маленьким, в тридцать с мелочью тысяч жителей. Зато и тогда уже он был старинным. У него имелась своя уездная история, и вокруг него располагалась сплошная история. Здесь народолюбивые ссыльные создали прославленный Музей, куда в пяти поколениях сносились и свозились различные незаурядные древности, и скифские, и гуннские, и тюркские. Здесь в Спасском храме иронически венчался чугунными кольцами вождь мирового пролетариата, отбывавший неподалеку свою бархатную ссылку. В связи с этим скромный, какой-то наивный храм стал воистину вдвойне Спасским, поскольку большевики, натолкнувшись на такое обстоятельство, не решились его закрывать, один из тысяч, а только разорили его лаконичную колокольню и поочередно гнобили и гробили его настоятелей.

Но, конечно, мемориально-охранной доске на его изначально лазоревых, а потом желтковых стенах места не нашлось, по ее очевидной соблазнительности.

Город присел за правым берегом Енисея. В самом центре несколько советских трех- и четырехэтажек, административных и жилых, для лучших людей; десятка три типичных двухэтажных купеческих особняков (низ — кирпичный, верх — деревянный), разделенных при новой власти на конторские, коммунальные и квартирные соты; отдельно и исключительно — торжественный краснокирпичный Музей, почему-то похожий на сельскую резиденцию сэра Вальтера Скотта, Абботсфорд.

Памятника два. Некрупный, улыбчивый Ленин, застенчивый оттого, что его накрыл разросшийся тополь, и добродушный местный партизанский командарм. Ленин сам умрет в Горках в 1924 году, а командарма тремя годами спустя секретно прикончит в Урге известный специалист Блюмкин. Все эти котовские и щетинкины слишком зазнавались.

А полукругом на востоке, до каймы великолепного ленточного бора, навиваются сотни деревянных домов с глухими дворами, сараями-стайками и баснословными огородами. Улицы засыпаны пыльным толокненным песком, походя всасывающим лужи; вдоль домов тянутся тротуары, составленные из ломких квадратов краснофиолетового плитняка. Облитые дождем, плитки сияют, как лакированные.

Дальше на восток — горная страна, Сибирь в Сибири, с редкими таинственными деревнями, с их охотниками, рыбаками и самыми хитрыми председателями сельсоветов в СССР.



Во дворах хрюкает и блеет, а то и мычит посильная скотина, но чаще слышен гогот и повсеместное ко-ко-ко. На рассвете голоса, трубят, соревнуясь, могучие местные петухи, сотрясая, терзая ясное звездное небо и опрокидывая на нем месяц.

Цепные собаки живут в каждом дворе. Живут и не тужат.

Город словно проступил, пророс в единственном на то месте в благодатной котловине на юге Сибири. Воздух сухой, хвойный, солнце — триста дней в году. Но если уж дождь — то ливень, с грозой-трясучкой, со стволлистыми молниями.

Огороды царские. Здешние помидоры настолько плотны и вкусны, что насыщают, как молодая баранина. Отличные огурцы, о которые режутся ладони, чудный картофель. Вызревают арбузики и даже дыньки. Соленые арбузы мудрой засолки есть поэма.

Здесь не умирали с голоду даже при советской власти.

В изобилии рыба — таймень, ленок, хариус; вторая очередь — щука и окунь, еда полевая. В изобилии грибы — боровики, рыжики, грузди. Маслята — на худой конец. Лисички и опята грибами не считались. Как не считались рыбой костлявые язи и лещи, или озерные караси, называемые «добычей счетовода» (Петра Ивановича, с автобазы).

По улицам во множестве и тесноте растут деревья — тополя, клены, липы, рябины, все с пирамидальными амбициями. Под ними — ранетки, черемуха, акации, сирень. Редкий дом без палисадника, без цветочного буйства. Славятся гладиолусы — настоящие боевые мечи. Пионы похожи на детские головушки, выгоревшие на солнце. В сумерки благоухают табачки.

Богатство прилегающих лесов неопишимо. Вовсю растет здесь даже северная орхидея, она же венерин башмачок, она же, по местной наблюдательности, бараньи медушки.

Город накрывают миллионы, кажется, воробьев. Летом они орут до поздней ночи, ступаясь в громады над редкими фонарями вокруг Музея. Орут волнами, кипят, как будто у них бесконечная восточная свадьба. А под ними пахнет портвейном и кого-то бьют, бьют в кровь.

Не успеют проораться воробьи — режут петухи. Чувствительно!

Морозы зимой крепки на совесть, снегопады на правобережье густые, матерые, слепая поземка валит с ног. А все равно: летом город Мирусинск — южный город.

2.

В субботу, в свежие, но совсем не стальные сентябрьские сумерки, под мелким дождичком, когда деревья и палисадники уже пахли одинаково, но еще пахли — просто сырой умирающей зеленью, дядя Миша с чесанками через плечо шел в родной дом, где не появлялся с середины мая. В село Муравское, где он был директором школы и учителем истории, он переселился в конце войны, вернувшись с фронта, и в доме на улице Островской, после недавней кончины его отца, жила теперь племянница Мария, или Манька. А с ней подолгу сожительствовала теща дяди Миши, беспокойная старуха Евдокия Митрофановна, в другое время кочевашая по семьям своих дочерей, осевших в Большой Кичке, Муравском и стольном городе Абантуре.

Проводница Манька ездила до самой Москвы и обратно, на поезде «Абантура — Москва», то есть жила в Мирусинске, а трудилась в Абантуре, отсутствуя по 9-10 дней, дом оставался под вялым присмотром соседей и собаки, и поэтому дядя Миша был рад, когда нравная, но и приветливая к огороду и курам теща обосновывалась на Островской. Соседи относились к Маньке прохладно, сомневаясь в ее нравственности и здоровом уме, и явно кормили кур и пса Саяна через два дня на третий. А ведь Манька добросовестно выполняла их московские заказы, что, по тем временам, давало большие жизненные преимущества.



Затруднение заключалось в том, что теща задерживалась в Мирусинске в лучшем случае на летние месяцы, а потом снова отправлялась гостинничать к старшей дочери, Надежде, пешком за 20 километров, в Кичку, потом ссорилась с ее мужем, пьяницей и дебоширом Пахой; перебиралась пешком, за 20 километров, к средней дочери, Наталье, и ее мужу, как раз дяде Мише, с которым, уважая его и смущаясь его честного и пронизательного взгляда, не ссорилась, но отпрашивалась однажды к младшей дочери, Нине, трафаретно сообщая, что видела во сне внука Павлика и был он «худой и томной», и значит, надо его проведать. В Абантуру она приезжала на автобусе, форсируя Енисей. Потом она ссорилась с третьим зятем, Алексеем, гордецом и «чваньей» из пединститута.

А нынче ее расписание дало осечку, и летом старуха в Мирусинске не показалась — сильно простудилась в мае. Пересидела на холодных скамейках в Абантуре с товарками, долго была слаба; мнительная, часто таскалась в поликлинику, где доводила до нервных припадков молодого, слишком сердечного терапевта Анну Ильичичу.

Но в этот вечер Евдокия Митрофановна могла находиться в Мирусинске.

Нужно сказать, дядя Миша быстро сообразил, что в этом игольном сновании тещи первично не то, что Паха — хам, а Алексей спесив (да они ее, в общем-то, любили за неповторимость, и она не была такой уж обидчивой и капризной), а в ее беспокойном подорожном характере, в неумичивости. Она увядала и тосковала, «спаладала с лица», засидевшись на одном месте — потому и ИЗОБРАЖАЛА, ссорилась нарочно, нечестно из-за любого неказистого пустяка, чтобы иметь повод подлить кипятку, возвысить голос и ударить. И делала она это, как говорил дядя Миша, «с большим балканским артистизмом». Она происходила из чугуевских черногорцев, являясь урожденной Кошлич.

Коммунист дядя Миша как-то поймал себя на мысли: он жалеет, что теща небогомольна. Богомолки — старушки тихие и самозабвенные, сидят себе по уголкам, а эта безбожница прыщет энергией и много чего себе позволяет, не боясь Господа.

Дядя Миша спустился на Островскую, минуя водонапорную башню. Справа, между домами в неполном береговом ряду, вкрадчиво дышала черная енисейская протока, которую так и называли — Протока. Темно и тихо, фонарей здесь отродясь не было, ставни закрыты. У хороших хозяев они не пропускают свет, а на Островской жили хорошие хозяева. Печи затоплены, бани раскопчегарены; остро, вкусно (рыбный пирог, стопочка) пахнет дымом, невидимым под обложенным сплошными трубами протекающим небом.

Над водой, с того, необжитого берега, что-то металлически звякнуло, и как-то тревожно, и успевший сегодня понервничать дядя Миша вспомнил тьму под Обо-янью, где у ночной речонки ему прострелили левую руку — и война для него закончилась. И он под одеждой почувствовал заросшей сквозной раной сквозное течение темной воды и приостановился, и внимательно посмотрел на Протоку. Он с детства не переставал ей удивляться: она, во тьме литые и неподвижные чернила, на самом деле бежала лихо, стремглав, вся в водяных кочках и струйных узорах, но бежала неслышно, как бы молча. Берега и русло у нее были земляные, мягкие, перинные. Но скоро, через какой-нибудь час она вернется в колючие граниты Енисея и загудит в камнях. У спавшего на берегу Енисея бродяжного человека утром заложены уши.

Помимо возможности и необходимости наконец-то навестить наследственный дом, дядя Миша должен был установить, не здесь ли укрылась неугомонная Евдокия Митрофановна с внуком Павликом, сыном Нины и Алексея, пяти лет (Манька же точно находилась в поездке и прибывала назавтра).

Бабушка и внук должны были быть вместе: или здесь, или в Кичке. Или — не дай Бог.

Дело в том, что вчера в Муравское, в школу, позвонила Нина и, безусловно рыдая, сообщила, что накануне у Евдокии Митрофановны случилась схватка с подвыпившим Алексеем (отличный повод!), приревновавшим Нину. Она, Нина, пришла домой поздно и пахла сладким вином, а гуляла на дне рождения директора своей



школы, кстати, немца, Альберта Ивановича. Приличного, тепло знакомого дяде Мише человека. Алексей был вспыльчив и не лишен мавританской фантазии. И — такого еще не бывало — слово за слово, и теща ударила разгоряченного интеллигентного Алексея сковородой по лбу, «чтоб не сочинял чего попало, тамбовский волк».

«Мама совсем рехнулась, до ручки дошла», — повторяла Нина, искренне сочувствуя теперь Алексею, который, испытав небывалое унижение, опошленный, сразу сник, замолчал, вылил недопитый им коньяк в раковину, полбутылки, и скорбно улегся спать в «кабинете», на полу, рядом с брошенным ломтиком ветчины.

И вот самое главное и нервное: Нина встала наутро в половине седьмого (пятница, рабочий день, она завуч в школе, хлопот полон рот) — и обнаружила, что мать исчезла, и не одна, а прихватив с собой Павлика. Очевидно, в знак протеста и с педагогическими целями.

Нина бросилась на автостанцию, но беглецов и след простыл. Какая-то тетка, едущая в Курагино, запомнила старуху с маленьким мальчиком. Старуха — «быстрая такая», вся в черном и глаза страшные, «как с той картины», — мальчик «восковой», с петушком в руке, в зимнем пальтишке и в тубетеечке.

Все совпало! «Сели на автобус, а какой, куда? Знала бы — подсмотрела бы, а я же не знала... Украли ребенка у вас? Украли?»

Дядя Миша охнул и сказал Нине, чтоб она сидела с Алексеем дома, потому что он и без того собирался в Мирусинск, присмотреть за домом и Манькой, сходить на рынок и в Музей и прочее, и что-то ему подсказывает, что беды не будет, что теща и племянник там, на Островской.

Дядя Миша был человек надежный и прозорливый. Его слушались и глупый Паха, и умный Алексей. А уж для сестер он был убедителен, как Хаммурапи.

И если нет беглецов в Мирусинске — значит, они в Кичке. Что за горе! Он не верит, что Евдокия Митрофановна потащит ребенка «в люди», как это случилось в позапрошлом роскошном июле. На носу холода и разбитые дороги, не набегаешься, а теща (подумал, но не сказал он) трезва в своих безумствах и настоящие лишения не уважает. Даром ли всю жизнь она успешно уклонялась от крепостной колхозной работы, почему и «пензии» не имеет?

Раз Миша так считает — так оно и есть, успокоились, насколько возможно, Нина и Алексей. А Михаил, помня, что теще 75 лет, на самом деле очень встревожился. Переживал, позавтракать сегодня не смог, выпил через силу кружку киселя в школе перед отъездом — заставила Наталья.

3.

Он не мог не тревожиться, не беспокоиться. На него как-то естественно, сама собой налегла ответственность за все три семьи. Он, средний зять, был и в этом семейном роде директором, судьей и защитником. Они с Натальей, гордившейся своим мужем, гасили семейные ссоры, нередко воспитывали племянников вместе со своими детьми, забирая их к себе на месяцы, чтоб их не обжигали раздоры родителей. Тут требовались терпение, такт и юмор — и все это обнаружилось у дяди Миши. И праздничные, майские, ноябрьские и другие столы в Муравском были главными для трех семей, столами хлебосоля и примирения.

А больше нигде и не собирались три семьи в полном составе. В другом месте, в Кичке или Абантуре — там было «далеко» собираться.

Дядя Миша был обрусевший немец, и в паспорте у него было написано: «русский». Это спасло его от большого горя и до, и во время войны, и вместо положенных советским немцам ссылки с трудармией, или лагерей, или могилы, дождалось его фронт, офицерское звание, и «Красная звезда», и «За отвагу», и «За боевые заслуги», и тяжелое ранение, после которого едва спасли ему руку. И заработала рука, не сохнет.

Его дед Михель и его отец Иоганн, ставший Гросс-Иоганном после ухода деда для своих и Иваном Михайловичем для СССР, переселились в эти края из Сарепты



еще до Первой мировой, страдая в Поволжье от малоземелья. Дважды съездили они, сверяя впечатления, по обозначенному разведчиками маршруту, пригляделись — и с третьего раза всей фамилией, человек с полсотни, навсегда поселились за правым берегом Енисея.

Многое с кровью и плотью пришлось отрывать от себя и своих отцу в годы коллективизации и прочие кампанейские годы, и разум его кипел от такой щедрости, но выжили все. И перешли на сибирскую еду, и добротный их дом был во всем сибирским, и позабыли немецкие глаголы. Но недаром их подворье отделялось от западных соседей единственным на всей улице брандмауэром. И слово-то это — немецкое. Их русская речь, может быть, и не воспаряла над бытом, зато исключала любой бранный и косноязычный мусор.

«Ты, Михайло Иванович, говоришь медленно, а быстро, — восхищался Ваня Поддубный, — в смысле, тебя сразу понять, того-сего, через колено, все-таки, извини, как говорится, с обратной стороны, все-таки немец в тебе ошутителен, как пить дать».

И, конечно, аккуратность, ясность в отношениях с людьми, которых не обижай, но и не балуй, — и чистота и порядок в доме, в одежде и в самих мыслях.

Ну кого другого могло назначить роно в 1943 году директором завалившейся школы в Муравском? И он, молодой, еще не кончилась война, сделал ее образцовой, красноярскому начальству предъявляли: можем, грамотуйте нас.

Потом его потащили было наверх, в роно, и секретарь райкома Жаткин на второй бутылке водки в своем кабинете лично уговаривал его согласиться.

«Иди, Михаил Иванович, садись на роно. Иди для разбега, потом, как образцового коммуниста, на свое место рекомендую — и посажу! Клянусь те. Цены тебе нет, такой ты немчур!»

Жаткина изъедал гепатит, он знал, что бытие его кончается, и предлагал искренне, считал, что дядя Миша лучшая ему замена. «На кого еще оставлю район?» — вопрошал он, пригорюнясь. «Пришлют, может быть, фронтовика хорошего», — упирался дядя Миша, сочувствуя.

Дядя Миша не согласился. Наверное, немецкое родословие и подсказывало ему категорическим кантом: это капкан, это подвешенная, ненадежная жизнь, с аховыми уступками совести. Бездомовная. И чуть что — тут же вспомнят, что он немец. Не надо высовываться не надо.

А он уже все нашел, что искал с молодых, таких тревожных и опасных лет. Свил гнездо, и легче сгнуть, чем его потерять.

«Ладно, — сказал в конце концов Жаткин, — тебе виднее. Заставлять не хочу. Ты все про себя знаешь, даже вон и не куришь. А жаль. Не только делом — видом ты нашего полета птица. По тебе портрет плачет».

Он умер через месяц после того разговора, желтый, как сурепка.

Да, дядя Миша, что называется, держал плечи. Коренастый, широколобый и широконосый, с зачесанными на затылок густыми жесткими волосами, в галифе и кителе, с ровной походкой и скупыми жестами, он вправду просился на картинку в какой-нибудь брошюре про свершения большевиков. С подписью: «Тов. такой-то, член ВКП(б) с такого-то года, организатор борьбы с Колчаком там-то».

Он остался в своей большой семье, которую потерял бы неминуемо, уйдя на повышение, и тогда-то, приняв решение, понял, что они тоже нужны ему, эти свояки и свояченицы, и он им нужен. Он уже знал, что сами с собой, со своими мороками они не справятся.

Он так, конечно, не формулировал — он так чувствовал.

Он шел сейчас и думал о них по очереди. Три сестры, полухохлушки-получерногорки. Старшая, Надежда, осталась колхозной птичницей и тащит на себе всех своих — никчемушного мужа, умеющего только резать свиней и кур, несчастную Маньку и ее сыночка, которого содержит в Кичке — Манька же в разъездах, где ей с ним управиться. Отец его убежал, не сумела с ним зарегистрироваться Манька. Надежда ломит работу, не приседая, подтибривает яйца, иначе не проживешь, и

ведь все посмеивается, и от пьяного Пахи отбивается, посмеиваясь. Несмертельная.

Средняя — жена Наталия, выучилась и сама учит детей русскому и литературе. Единственная женщина в его жизни, счастливо встреченная. И без чудес у них не обошлось. Никогда они не ссорились — не на чем, разве что попрекали друг друга в излишней доброте, мягкости к детям и родне. По очереди. В меру властная, общительная (пожалуй, излишне), но, слава Богу, ей есть кого поучать, у кого признавать секреты, с кем «советоваться». Человек она пылкий — так он уравновешен, самому обидно, до чего. С ней всегда найдешь общий язык. Потерпи немного — пусть пошумит, повитийствует, выпустит пар. И разговаривай, и услышишь дельное.

Младшая сестра, Нина, та закончила пединститут и метит в него вернуться преподавателем. Красивая и честолобивая. Вечно недовольна своим уделом, и картошки лишний раз не пожарит. Бывает лукавой с близкими, искательной с начальством. А тоже ломит, вкалывает, и ученики ее любят, за манеру, за доставшийся от матери балканский артистизм. Но характер тяжелый, взрывной, и она неотходчива. Самолюбивому, чувствительному и с ленцой Алексею, любителю откладывать дела на завтра, а сегодня порезаться в шахматы с соседом, с ней приходится страдать. И детям, двум сыновьям, отлетает много лишнего, и это неизбежно скажется на их взрослой жизни.

Свояки — фронтовики, с ранениями, с опытом смертного страха. Паха брал Кёнигсберг, Алексей форсировал Днепр. Этим для дяди Миши многое сказано, за это многое простится. Паха, как и многие с подобной простой стезей и крохотным образованием, РАЗВАЛИЛСЯ после войны. А до — имел же грамоты. Бездельник, хрипчатый матерный пьяница, шляется по деревне и орет: «Я Баграмян возил! Мне Баграмян наливал!» Мог подскочить к выпивающим мужикам, выхватить гранененький, а то и бутылку, опрокинуть, а потом: «Бейте меня, я контуженный!» Раньше били, теперь знают его повадку, пьют настороже, без удовольствия, оглядываясь, и в жертву Пахе достаются редкие приезжие. Маленький, кривоногий, закаленный провокатор.

Нынешней зимой заявился ни с того ни с сего в Абантуру, на ночь глядя, налимоненный. И опять же ни с того ни с сего с порога обхамил натянувшегося в струну Алексея, завидуя его «барству». Передразнивал его, дымил махоркой в лицо. При Нине он хамить бы не осмелился, но она ушла, как назло, ночевать к большой подружке. Когда он запустил грязные пальцы в кастрюлю, достал из нее кусок курицы и сказал Алексею: «Богато живете от своей брехни», — Алексей спустил его с лестницы. Зачем приезжал Паха?

Алексей, единственный урожденный россиянин, из Тамбова, окончил университет, заведовал в пединституте кафедрой и двадцатый с лишним год дописывал диссертацию. Он отличался редким красноречием, читал лекции и выступал по вопросам международной политики, выпевая без бумажки. Был нарасхват в обществе «Знание».

Невысокий, как все свояки, он держал голову и ступал, как некий монарх, и вел себя соответственно. За что Евдокия Митрофановна прозвала его Шах. Наверное, шахматы подсказали ей выбор титула. Шах походил на дворянина, и, увидев портрет писателя Бунина, недавно разрешенного в СССР, Наталья воскликнула о невероятном и подозрительном сходстве Шаха с Буниным.

Шах, между тем, начал попивать, и из лекционных командировок по области не возвращался трезвым. И пил дорогое, и поначалу закусывал снедью из обкомовского буфета, как и курил дорогие папиросы, «Три богатыря» или «Герцеговину Флор», нанося ущерб семейному бюджету. В прошлом году случился у него запой, недели на полторы, тут уж было не до знатных закусок: кончилось голимым портвейном на сожженный желудок.

Дядя Миша знал запойных людей, они имелись, при эдакой жизни, и в отдаленной немецкой родне. И знал, что здесь обратной дороги не бывает. Он знал, что Алексей пьет от обиды на свою барскую лень, оттого, что остановился, от обиды на



Нину, которая, как овод, награждала его душевными волдырями. Но единожды себя пожалей — и пропал.

Дядя Миша понимал, что семья эта обречена, но дело в сроках. Нужно и можно дотянуть до повзросления детей. Он делал то, что мог — разговаривал с Ниной и Алексеем, когда это помогало, и не разговаривал, когда это бесполезно. Они с Натальей присматривали за издерганными детьми, беря их к себе, лечя деревенским воздухом, добрым отношением и общением со своими детьми, лучшими детьми на свете, девочкой и мальчиком, которые были постарше двоюродных братцев как раз настолько, чтобы это было полезно и тепломерно.

4.

«Что-то многовато сегодня впечатлений», — подумал дядя Миша, споткнувшись о натянутую поперек улицы невидимую проволочку и уронив чесанки с плеча. «И что-то ждет впереди, чем угостит теща?» До дома оставалось пройти метров сто.

Проволочка была тоненькая, похоже, из радиольной катушки. Дядя Миша ее оборвал, но не поленился отыскать наощупь в сыром песке. Радиолой, как он помнил, владели соседи Барышевы, больше никто. «Подрос Дима Барышев, — понял дядя Миша, — опыты ставит». Хотя — мало ли кто мог разориться за истекшие полгода на радиолу? Те же Крутиковы, соседи, отгороженные брандмауэром? Нет, у них девчонка растет, спокойная, золотушная... «Да будет тебе догадками, — покачал головой дядя Миша, — радуйся, что в лепешку не наступил».

День вязался, нанизывался цепочкой очень разных впечатлений, то «тепло», то «холодно».

Утром, в школе, ему пришлось отчитывать семиклассника, выпускника Юрку Гладких. Парень добрый, задумчивый, а тоже в лета вступил. Курил за туалетом самосад. Мало того, показалось — угостил третьеклассника, из семьи ссыльных западнцев, Родика Стефанишина. А тот увлекся, расчихался и прожег себе вышиванку на груди, да в двух местах. Донесла мать Родика, на его и Юркину беду шедшая с речки, с той стороны, она все видела. Густобровая, холерическая, всегда готовая к сече и в сече беспощадная. Не успел ее утихомирить, прискакал верхом Юркин отец — и откуда узнал? По радио не передавали. Отец-конюх начал пороть сына тут же, в учительской, еле вырвал у него дядя Миша щуплого, несчастного заморыша Юрку.

Родителей успокоил и помирил, Юрку отругал и наказал трудом — велел поправить, перевесить школьную калитку. Юрка отчитался через полчаса, нагнал уже топящегося на мирусинский автобус дядю Мишу. «Сделато, Михаил Иванович, как следоват поправил». «Надо говорить “сделано” и “как следует”, — сурово сказал директор, — пока не научишься культурно говорить, в комсомол не приму».

Юрка в ответ засветился и помахал на прощание рукой. Побежал на урок. Повел он, как же!

С мирусинской автостанции дядя Миша в компании с колхозным шофером Ваней Поддубным отправился на базар. У Ивана был первый после страдного лета выходной. Он неумоимо и мастерски водил полуторку при полном отсутствии сколько-нибудь прямых и гладких дорог и был отцом всех или почти всех внебрачных детей в Муравском, Кривой и половины внебрачных в Каменке. Что поделаешь — велика была недостача в мужском поле, новые мужчины пока подрастали еще. Когда успевал? Наверняка использовал в этих целях верную полуторку. Подстать тезде, отличался дикой силой и аппетитом. Одну похоть сопровождала другая, обжорная. В кабине у него был мешок с мытой репой и мешок с семечками. Репы он сгрызал по тричетыре кумпола за раз, а семечки не шелкал, а жевал вместе с лузгой.

Силища его сегодня очень пригодилась.

Они порознь походили по базару и, не сговариваясь, сошлись на выходе. Дядя Миша спешил в Музей, а Иван — «до крали». Он не осмелился бы сказать об этом



дяде Мише, тем самым бесстыдно ставя его на одну с собой доску. Но куда, к кому же собрался деревенский кабанище в городе, где у него нет родни, держа в руках сетку со сладким вином, конфетами, пряниками и козьим полушалком?

«Доиграешься, Иван Терентьевич», — должен был сказать дядя Миша — и сказал. Иван должен был молча и покаянно зажмуриться — и зажмурился.

Минуты назад дядя Миша испытал большое радостное чувство. Он купил себе желанные чесанки, долгожданные и превосшедшие любые его ожидания. Настоящие директорские чесанки, почти белоснежные, с подошвой из крепчайшей лосиной кожи, обшитые по кромкам и лампасно лосиной же ровдугой.

Это было диво, отданное ему за скромные деньги, без всякого торгу. Подарком! Средних лет женщина, миловидная хонгорка, при нем достала их из мешка. Повезло дяде Мише. Опоздай он на минуту, ушли бы чесанки, как ни беден был народ на базаре. Нашелся бы какой-нибудь ответработник с папчочкой.

Заманчивы, хороши. И даже веревочка, что их связывала, была кожаной.

«Чесанки, — сказал Поддубный, — чесанки — так сказать! Я, если по-честному, таких не видел, забожусь на баранке, без лишних слов, Михаил Иванович, и ежели что, то амба. Цимес!»

И они почти что разошлись.

И вдруг кто-то, на бегу, рванул чесанки с плеча дяди Миши и помчался по улице. Молодой, проворный парень. «То-то я его краем глаза видел — шел за мной», — подумал оторопевший дядя Миша.

В летних шароварах и грязных тапочках, чешках, что ли. Не догнал бы его погрузневший дядя Миша, но все видел оглянувшийся Иван. Дяде Мише приходилось в Саянах познакомиться, как бежит медведь. Иван бежал, как медведь: катился за парнем огромным валуном и вмиг догнал и смял его под себя до невидимости, до мешка с костями.

Только тут дядя Миша побежал, боясь, что Иван задавит вора до смерти. Иван, однако, вывесил того на вытянутой руке. Живого.

А парень-то был из Кривой, и козь следил за дядей Мишей, то уж знал, кого он собирается ограбить.

Еще пять лет назад он учился у дяди Миши в школе (в Кривой своей не было), и звали его Степан, Степан Готовцев. Мальчик был малозаметный, стеснительный. Учился плохонько, но не пакостил. Правда, был неопрятен, не чистил зубы, на него жаловались вообще-то снисходительные девчонки: пованивает, и во рту будто тухлое яйцо.

— Степан!? — сказал с горечью дядя Миша, вспоминая, что мальчишка сбежал в город от матери, солдатской вдовы, робкой, суставчатой, как богомол, доярки. И, по слухам, пристроился где-то в Мирусинске грузчиком, дожидаясь призыва в армию.

...А похоже, связался с дрянными ребятами. Одет обносочно, глаза наглые, большие, окровавленные, разит от него потом и махоркой. Типичный базарный вор, себе первый враг.

Разговора не получилось.

Поддубный встряхнул этого Степана, и он застонал по-заячьи.

— Херов вам как дров! — крикнул он, глядя на дядю Мишу в упор. Узнал директора, конечно. А пожелал ему дров.

— Ты-ы, — загудел Иван, — ты кому-у это, вонючка ты...

Непонятная тоска раздирала душу дяди Миши.

— Отпусти его, Иван Терентьевич, — попросил он, — иди он к своим дровам, бессовестный. Как я на мать его посмотрю?

Иван возмутился.

— Садить его надо, — возразил он, не отпуская воришку, — сколько он еще людям нагадит. Безответственно получается. Вы, Михайло Иваныч, проявляете мягкотелость, берете грех на свою партийную душу... Если вы того, то другие всем гамузом в потатчики подадутся.

— Отпусти, Иван Терентьевич, я схожу в милицию, к Черникову нашему, му-



равскому, схожу, они с ним разберутся, — настаивал дядя Миша.

Иван посмотрел ему в глаза. «Понимаю, виноватым себя считаете», говорил его взгляд.

— Добро, так сказать, — ответил Иван и поставил этого Степана на землю.

И тот побежал еще с воздуха, зигзагами, как напуганный обезумевший зверек.

Если бы он был чужой и только о краже шла бы речь, воздал бы дядя Миша преступнику по заслугам. Но то, что мальчишка был свой, матовал его и смотрел с ненавистью, осаживало, обезоруживало.

«Если уж настолько он одинок, гол и обозлен, то виноват в этом и я, — честно думал дядя Миша, — мне он и сказанул. Обвинил. Проворонен, недосмотрен парень, а улица как сильна стала!» И думал дальше, расставшись с Иваном, глубоко-глубоко внутри себя и без свечки, о том, что бедна и жестока жизнь и злы, несознательны люди у нас на пятом десятке лет советской власти. И не спишешь все это на войну, нет, не спишешь. «А вслух об этом не скажешь даже Наталье Михайловне, чтоб не задумывалась понапрасну, не вздыхала и не делилась такими соображениями ни с кем».

Ему вдруг захотелось покурить. «Спутник полетел не зря, — утешил он себя, — куда надо полетел».

И только сейчас, доходя до родимого дома, всплеснул руками, насколько может всплеснуть руками директор и зрелый немец. А что с Ивановой сеткой? Он ее не посеял ли, то есть не сперли ли ее? Он с ней бежал? Или бросил, вернулся, и она его дождалась? И не мог дядя Миша «увидеть» ее ни на земле, ни в руках Ивана. «Вот черт! Тойфель!» — всплыло в нем.

Чесанки шуршали на нем, как камыш, и он относился к ним с новым, противоречивым чувством.

С базара, в дурном настроении, он пошел в Музей, к хранителю Сергею Васильевичу, чтобы отдать ему наконечник стрелы, найденный летом не кем-нибудь, а родным сыном, за селом, в ручье, возле Жидовских могил. Наконечник был задуманно, производственно кривой, с крылышками и сквозной нарочитой дыркой, и совсем не заржавел.

Михаил Иванович нес археологу в придачу хороший слоеный кусок сала, потому что тощий и длинный, как мачта, Сергей Васильевич в соответствии с профессией питался скверно, прокуривая половину своего печального жалования и тратя другую половину на леденцы-монпансье. «Мне нельзя без сладкого, — говорил он, стесняясь, — голова требует, как я голове откажу?»

Сергей Васильевич, забывший, сколько ему лет, был неизменен: очки в пыли, мутящей ему зрачки, та же клетчатая рубашка, на которой темные клетки посветлели, а светлые потемнели, та же полумертвая кирза на ногах и те же, числом шесть, огромные желтые зубы, жертвенные столбы бога «Беломора».

Пуская табачный дым изо рта, носа и, как говорится, ушей, Сергей Васильевич выразил крупный энтузиазм и заразил им дядю Мишу, который представлял собой высыхающую почву, жаждущую освежительных струй. Это же сверхточная поющая стрела кыргызов, восхитился Сергей Васильевич, на левом берегу, в Хонгории, их находили, но у нас, в лесном правобережье, это ПЕРВАЯ находка. Это десятый век! Михаил Иванович, кто как не вы? и в который, однако, раз.

Он поглядел на сало и грустно сказал: — А я вас даже чаем добрым напоить не могу. Один вторячок остался. Будете? С леденцами?

И отыскал на полке, между челюстью средневекового человека и чем-то, очень напоминающим окаменевший кал того же периода истории, два стакана с присохшими ко дну мошками. Сам усмотрел, что это плохо выглядит, усмехнулся и повесил нос. И стаканы повисли над столом.

— Тороплюсь, тороплюсь, — сказал дядя Миша, «не замечая», — темнеет, дождик собирается. Спасибо, но я должен идти. Мне неблизко, знаешь, Сергей Васильевич. Дом ждет отеческий.

Дом, закивал Сергей Васильевич, дом. Он жил холостяком на шести квадратных



метрах в коммуналке, среди рабочих с мяскокомбината. Они от скуки поливали его дверь валерьянкой, со всеми кошачьими последствиями, и иногда толстой алюминиевой проволокой намертво эту дверь прикручивали. Хорошо, что он жил на первом этаже. Наверное, они тоже это учитывали, и можно надеяться, что если бы он жил на втором этаже, они бы этого не делали. А так он легко выбирался через окно.

«Что-то много сегодня разных впечатлений, непривычно», — в последний раз подумал дядя Миша. Навстречу выплыл знакомый дом, вот высокие ворота, вот здесь должно быть кольцо в калитке. Совсем темно!

Дядя Миша повернул кольцо, вошел во мглу двора, крошечную, пахнущую сырыми сосновыми досками. Он удивился, что его не встречает Саян, соскучившийся, распеваящийся, напрыгивающий. Машинально приостановился, дожидаясь пса. «Что-то...»

И тут дунул ему в лицо непонятный ветерок, и с этим ветерком прямо в лоб ударило и вонзилось что-то острое, крепкое, увесистое.

Дядя Миша потерял сознание и упал на спину.

5.

(Здесь прилагается план дома и двора, начертанный Павликом.)

6.

В доме все — стены, потолок, двери и косяки — прямое, ровное, гладкое и долговечное. И никаких излишеств — старый Гросс-Иоганн ничего не понимал в излишествах, зато позаботился о печи и подполе (и погребе во дворе), они были лучшими в городе Мирусинске. Сени маленькие, условные, без ненужных полок. А прихожая — «зало» — необычно, иноземно просторная, от стены до стены. Слева в ней кухня с подполом, справа — «Манькин кут», заваленный старой обувью, подпирающей бочку с квасом.

Слева — дверь в комнату, сейчас открытая, где живут бабушка с внуком, справа — дверь в комнату отлучившейся Маньки, закрытая. Посредине — печь, она смотрит на дверь, пятясь до середины простенка между комнатами. В комнатах по металлической койке без пружин, столу, комоду и этажерке. В левой два стула, в правой — один (еще два стула, а также буфет над столом — на кухне). Павлик спит на печке.

В левой комнате просторно, она побольше, ее украшают часы на комоду, радио и отрывной календарь на стене, три книги на этажерке. В правой комнате нет таких украшений, кроме зеркала. Однако ногу поставить негде.

Она завалена Манькиными трофеями. Проводница Манька после каждой поездки тащит и тащит в дом старую обувь, иногда и поношенную одежду. Тогда советские люди сознательно садились в поезда, одетые и обутые в рванье, оставляя его в вагоне по прибытии, вместе с яичной скорлупой и промасленными газетами. Пустые бутылки чаще забирали с собой, их жизнь продолжалась.

Манькин улов копился равномерно, авоська набивалась в Москве, другая — в Абантуре. Она трудилась на железной дороге уже седьмой год. Дранные сапоги, туфли, босоножки, тапочки, взрослые и детские, заполнили ее комнату и напользли в прихожую. Зрелище жутковатое, бабушка называла это «Манькин Бухенвальд», а тетя Наташа — «Манькиным приданым».

Никакого практического смысла никто в этом собирательстве не видел. Манька и сама не делала попыток кому-то сбывать это барахло, не предлагала его и «за так» ни родне, ни знакомым. И кому сбывать? Все-таки война давно закончилась, не лихолетье, люди думают о достойном внешнем виде. Увидев впервые горку этой отстрадавшей своей обуви, дядя Миша отнес ее на помойку, далеко, в конец Островской. Тогда помоек было мало, но по недостаткам — в самый раз. Манька завывала. Повывала, а потом



сходила на помойку и вернула приданое обратно.

А на вопрос, зачем ей данное коллекционирование, не могла ответить, сама не знала, зачем. Но понятно, что есть же люди, ушибленные однажды и навсегда мыслью о черном дне. А приглядевшись к Маньке конкретно, уже без возраста в тридцать лет, длинной, худющей, с облупленным носом и убегающими глазами, всякий задумчивый человек сказал бы: «Да, эта несчастная женщина должна делать что-то такое, что-то подобное. Неминуемо».

Пусть ее, решили родственники, легче терпеть это безобразие, чем вынимать Маньку из петли. С нее станется. Все равно чужие не заходят, некому заходить. (Впрочем, соседи Барышевы заходили, в Манькино отсутствие, ключи-то у них есть. Дивились, наслаждались. Но знал об этом только Павлик, ему по секрету донес Димка Барышев.)

Павлик был знаком с Манькиным приданым с поры бессмысленного детства, первобытно привык к нему, играл с ним и ни разу не сказал своей древней двоюродной сестре по этому поводу, что она дура или сумасшедшая.

(А когда пришел в возраст и спросил себя об этом, то уже жалел Маньку. Тогда ее сына — тунейдца и деревенского стилигу, племянника Павлика, который был его старше на десять лет, в деревне Кичке безжалостно били за пижонство, и он не мог выйти из дому. И Маньке, и без того придавленной своей виной перед ним, подобранным кукушонком, можно и нужно было говорить исключительно что-нибудь доброе, мягкое.)

Бабушка, слазив в подпол за маслом и солеными огурцами, выложила вареную картошку, чистого золота, из чугунка на широкую деревянную тарелку, срочно произведенную Гросс-Иоганном 9 мая 1945 года, когда обнаружился недостаток в поместительной посуде для праздничного общего застолья на улице. Потом, держа тарелку с картошкой (по сути, просторное блюдо, но ей не нравилось это слово) в одной руке и пустой ковш в другой, она пошла в темный Манькин кут за квасом. Торопыга, конечно, но натуру не переделаешь. Надо было сначала отнести картошку в комнату, а затем отдельно идти за квасом. Да как же!

Из открытой двери в зало лился свет, для ближней кухни ей его было достаточно, и она не стала докручивать лампочку в зале. Вошла во тьму, завязла в приданом, но добралась до бочки и набрала квасу. Это была сложная операция. Пришлось локтем сдвигать крышку, следом, приседая, локтем ее подгонять в исходное положение.

А на обратном пути, имея на балансе дымящийся картофель (на ладони левой руки) и полный ковш кваса (в правой руке), все-таки оступилась о какой-то сапог. Теряя равновесие, ухитрилась присесть, приземлиться на чувствительно-неровный рельеф приданого, не уронив и не пролив.

Так. Встать она уже не могла, для этого надо было освободить руки, поставить блюдо и ковш на что-то достаточно плоское, но в темноте не разглядишь, да и вряд ли существовало это плоское. Она сидела, ворона вороной, в темноте. Ее старые руки, изнемогая, дрожали на весу. Досадная влага выступила на ее глазах.

Поперечный свет из открытой двери переливался, дробимый слезками, и она с самолюбивым ужасом подумала о том, что смешливый внучок ославит ее теперь перед всей родней, улицей Островской и теми же скамеечными товарками в Абантуре.

— Ты где, бабушка? — Павлик, сидящий за столом в комнате, обратил внимание на наступившее напряженное безмолвие, поскольку обычно бабушка делала все шумно и с присказками.

— Я есть хочу, прямо ИСЬ, чего ты там притихла. Ты не помирать собралась?

В ответ — ни гу-гу. Бабушку заклинило. «Чертова помоечница Манька», негодовала она, сидя на сапоге, врезавшемся ей в самое неудобное место, «гестаповка, Плюшкин. Ну, насыплю я тебе песку полные карманы, полную суму». Даже так она думала. А при чем здесь песок?

Павлик показался на пороге. Он услышал ее сумбурное дыхание в Манькиной



стороне, сделал шаг, но со свету не мог ничего разглядеть.

— Что случилось, что? — уже испуганно сказал он, вставая на цыпочки и наша- ривая лампочку возле косяка. Загорелся свет.

Бабушке всегда очень нравилось, когда Павлик смеялся. Она иногда нарочно смешила его, просила посмеяться. Ему достаточно было показать фигу или квак- нуть, чтобы он закатился. И она этим злоупотребляла.

Как ей нравились его окосевшие глазки, его сморщенный носик, губки, зубки. Как он на всякий случай хватается за писюльку.

Но сейчас ей хотелось от него только сдержанного сочувствия.

Но Павлик захохотал, бессовестно завизжал!

— Забери ковш, — сказала Евдокия Митрофановна, — снеси.

Павлик забрал ковш, занес в комнату, поставил на стол. Он сделал жалеющее лицо, чего бабушка, конечно, не видела, но сам-то предвкушал! Расскажу, ох, расска- жу! Вот отец-то, папа, похочет. «Бабушка на горшок присела».

Бабушка сидела, держа блюдо обеими руками. Встать не могла — основательна посадка.

— Тарелку забери, — сказала она.

Павлик прибежал, забрал блюдо, занес в комнату, поставил на стол. Вихрем вернулся. Бабушка сидела, опустив заслуженные руки. Встать она все равно не смо- ла. Бензин вышел, руки короткие.

— Дай руку, — сказала она. Павлик дал, но бабушка, ухватившись за нее, лишь притянула внука себе под турецкий нос. Мелюзга. Она поцеловала его в макушку и отпустила.

— Ты вспотела, — сказал Павлик, — ты мне руку оторвешь. Ты на бок вались, а потом на карачки вставай. И поднимешься.

И не удержался, хихикнул, представив, как бабушка Дуся задерет попу.

— Какая я старая, слабая, — горестно произнесла бабушка, — дожила. Алексей надо мной измывается, и ты в него, туда же. Уйду от вас ото всех. Исхарчили вы меня. Буду побираться.

Павлика пробрала настоящая жалость. И его осенило.

— Я сейчас перед тобой встану, — сказал он, — а ты беру меня за плечи, опирайся. Я выдержу, не бойся. Я упрусь. Я же упругий, жилистый.

И вправду выдержал сколько нужно, трепеща, потому что когда бабушка встала на свои, трепещущие ноги, его ноги подкосились, и он героически упал, нырнул. Ну, ему встать было нетрудно.

— Ой, молодец, пистанюшко Кошлич! — восхитилась бабушка.

— Папу больше не бей, обещаешь? — сказал Павлик.

— Обещаю. Я и не хотела. Так-то он терпимый, когда не шахует. Ничего... А ты не рассказывай про мой позор.

— Не буду, — легко ответил Павлик. Слишком легко.

— Ой ли? Сумеешь?

— Сумею, — подтвердил он. Нет, неубедительно подтвердил.

Она прихватила рукав, вывернула лампочку, и они засели ужинать. В комнате лампочка была хорошая, яркая. Такали часы. Ели руками.

Павлик вопросительно поглядел на бабушку, и она поняла.

— Приедут, прискачут, — сказала она, — так надо, внучок, чтоб их проняло. Явятся!

Павлик заметно загрустил. Он облизал пальцы после первой картофелины с огурцом и оглянулся на молчащее радио: надо бы его включить. Оно отменно бод- рило.

— Погодим, а, — попросила бабушка, как всегда, — почитай мне про этого забавного Тиля. Или так, без книги исполняй, ты же наизусть все помнишь.

Опять! Павлик вздохнул. С четырех лет он читал очень хорошо, бойко и жадно, запоминая прочитанное целыми страницами с первой атаки. Любимые эпизоды он



перечитывал с утра до вечера. Уже с полгода как его любимые книги заобожала и бабушка. Сам приучил, сам навязывал, не выпуская ее к старухам на улицу. Приручить приручил, а теперь страдай, отработывай. Впрочем, кряхтел Павлик в начале представления, дальше лень сменялась вдохновением актера и мыслителя, и уже бабушке, бывало, приходилось его останавливать.

У них были три любимые книги. Две из них — «Денис Давыдов» Задонского и «Каленые тропы» Листовского приехали с ними из Абантуры. А третья нашлась здесь и сразу стала, по свежести своей, обожаемой. Она называлась «Легенда об Уленшпигеле», автор Ш. де Костёр. Книга иностранная, и автор иностранец, отчего у него неправильная фамилия.

Познакомившись с Задонским и Листовским, Павлик считал, что у всех писателей фамилия кончается на «-ский». Другое дело, что раньше, когда все было неправильно, «-ский» часто отрезали. И от иностранных фамилий, поскольку там и сейчас все неправильно, тоже отрезали и отрезают. А Пушкин на самом деле — Пушкинский, например. И автор этого «Тилья», следовательно, Ш. де Костёрский.

— Ты дай мне поесть сперва, — сказал Павлик.

— А ты ешь и рассказывай, вперемешку. Тебе книга не шибко нужна, — повторила бабушка, — изображай, как помнишь. Даже лучше, веселей будет.

Изображать он умел. И в лице, и в голосе узнавался взрослый, матерый герой, и обильные подробности минувших страниц не помещались в комнате. Бой ли под Салтановкой (любимый номер мамы), подвиги ли Олеко Дундича, избиение ли святых изваяний глупым служителем церкви представляли перед бабушкой во всей полноте усилий, звуков и даже цветов.

Сегодня дело было в трактире, гнусила старуха Стевенс, и гёзы пели «Время звенеть бокалами!», и запевал Тиль Уленшпигель.

Оно так и есть — одно другому не мешает. И Павлик, входя в кураж и постукивая кулачком по столу, палил из всех орудий, и картошка свистела изо рта на стол, на пол, в бабушку.

Дальше положено было обсудить данные свершения иноземцев. Но бабушка успела разве что воскликнуть: «Какая поганая старуха! Я бы ее сама удавила!» — и в дверь постучали. Резко, громко, нервно.

— Откройте, это я, Михаил Иванович, — послышалось с крыльца.

Внук полетел в сени к щеколде, а бабушка резво вкрутила в зале лампочку и приготовилась к нелегким переговорам с любимым зятем. Не его она ждала, не для него приготовила колчан ядовитых стрел. Он сильнее ее. Будет вежливо выговаривать, и овиноватит в три щелка, и пуще неволи ей его вежливость.

На свет из сеней показались дядя Миша, Павлик и Саян, молча виляющий хвостом. Саян пробежал мимо бабушки в горницу. Это была неслыханная дерзость, но некогда было обращать на то внимание. Как и на чудесные чесанки в руках дяди Миши. Как и на то, что опрятнейший дядя Миша вывозился в мокром песке, и в волосах его искрились песчинки.

Бабушка и внук видели сейчас одно: лицо у дяди Миши окровавлено, в середине лба, прямо над носом — широкая рваная рана, и на левой щеке — глубокая свежая царапина.

А в глазах — изумление и РАСТЕРЯННОСТЬ, как у простого смертного человека, а не у дяди Миши.

Бабушка охнула и присела у притолки.

— Где тебя так, кто? — прошептала она.

— Во дворе. Как зашел — во дворе. НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ! — почти крикнул дядя Миша.

И бабушка кивнула.

— Ты, Мишенька, как царь Дадон. Ой, лихо мне! — почему-то сказала она.

И Павлик догадался, почему она так сказала.

А нетрудно было догадаться.



7.

— Так вы знаете, что это было!? — снова почти закричал дядя Миша.

Он сидел на венском стуле, отталкивал ластящегося Саяна, трогал лоб и никак не мог отхлебнуть хоть глоток квасу. Ковш подпрыгивал у него в руке, и квас лился на пол.

— Это новый ПЕТУХ, Мишенька, — кротко молвила бабушка, — это он, проклятый. Никакие не разбойники. А я его нынче отвязала. Прошел слух, что цыгане свалились на город, как в сорок седьмом году. Ходят по дворам, воруют, собак колбасой травят. Колбаса у них, слышишь. Я их не видала, врать не хочу. А Саян теперь не в себе, забитый, как негр. Вот я и отвязала петуха-то, на всякий случай. Он на тебя и напал — и долбанул тебя в лоб. Ух, как долбанул!

Она протянула руку и прикоснулась к зятьёву лбу.

— Петуух!? — протянул дядя Миша — с облегчением, с разочарованием, с обидой. И Павлик засмеялся: чтобы дядя Миша был так растерян, так жалобно говорил!

— Тебя бы так, — подлизываясь к дяде Мише, сказала ему бабушка, — мозги бы вон... Господи, что я несу...

«Ветер в лицо, — подумал дядя Миша, — это он подпрыгнул, взмахнул крыльями». Взгляд его упал на часы, которые мерно и равнодушно такали себе в комнате. Половина одиннадцатого!

— Это сколько же я пролежал? — возмутился он. «С перепугу упал в обморок. Старую, нежный стал, — подумал он, — нежный, да-а. Открываю глаза — тишь да гладь, а лицо в крови и дожде. Замерз, лоб саднит, рана ноет. И небо надо мной... Небо надо мной? Зыбится свинцом. И я совсем маленький, словно вот Павлик, одинокий лежу и что-то ведь думаю. О чем я думал?... О детстве, о лесном шалашике на покосе, в котором тогда ночевал и так продрог, что слова вымолвить не мог».

— Что за петух? — спросил он. — Откуда взялся? Таежный, небось?

— Правильно, — сказала бабушка. Она поняла, что ей уже не достанется на орехи, ни за побег, ни за петуха. Она сходила в комнату и принесла листок из школьной тетрадки в клеточку, исписанный с двух сторон безобразными каракулями.

— Вот, Миша, приехали мы с пистанюшкой, зашли к Барышевым за ключами. А они отдадут ключи с запиской и всё похохатывают. От Маньки послание, почитайка. Почитай-ка!

Дядя Миша, чертыхаясь на почерк и его владельца, стал читать.

« Записка.

Кто придет, Михаил Иванович или баушка, или кто еще. У нас тут с июня новый петух. Старый петух сдох. Как знаете, он и так был дряхлый, слепой совсем, куры его гоняли, заклевывали. Бабы есть бабы, презирают мужскую слабость. Я уже думала его, Калинина, как вы знаете по имени, ликвидировать, а тут он сам сдох. Этого нового мне устроила Анастасия Николаевна, как я встретила ее на рынке и пожаловалась. Она сказала: “Бери у меня, такой молодец”. Его музейщик Сергей Васильевич-Тощий, ее брат двоюродный, назвал Стрелец, потому что на груди у него три черные полосы поперек на рыжем и нрав неукротим. Говорила, он лучше любой собаки двор охраняет, лютый. Днем он ничего, потаптывает, шебутится, а как смеркается, приходит в остервенение и всех гоняет. Привязывай его. Он к тебе привыкнет — тебя не тронет. Не забудь дать ему по башке разов пять. Взяли его из деревни Караговой, которая на Казыре. Там такая забава, что петухи дерутся друг с дружкой. Там же одни охотники живут, кормят петухов дичиной. В общем, злобен оказался, как наш папаша Паха Баграмян, шучу, докучает сильно. Саяна заклевал почему зря, безвылазно загнал в будку. Саян исхудал, спал с голосу, только повякивает, а петух его казнит и голосит, как гимн по радио. Будьте осторожны, я предупредила. Манька, с уважением. Капуста ранняя, смотрите там. Арбузики засолила. Под часа-



ми три рубля. Купите спички, забыла. Манька, с уважением».

Дядя Миша прочитал, подскочил и храбро вышел на крыльцо. Ничего не видно, никто не движется. Саян робко выбрался за ним, прижимаясь к его ногам.

— Если Саян вышел, значит, Стрелец уже спит. Долбанул хозяина — и отдыхает, сволочь, — подсказала высунувшаяся бабушка, — видишь, шпагат из курятника торчит, петлей?

— Не вижу, — ответил дядя Миша, — и ты-то будто видишь, Сова Митрофановна. Не прикидывайся!

Бабушка промолчала. Она, конечно, не видела. Но ведь знала, а надо было что-то говорить.

— Стрелец, стало быть, — сказал дядя Миша, спихнув Саяна с крыльца, — ставь чай, Евдокия Митрофановна. Разберемся. Воспитаем!

Они уселись за чай, и тут бабушка обратила внимание на чесанки и стала ими восхищаться. И разглядела на них несколько капель крови, конечно, дядимишиной. Заметные были капли! Дядя Миша рассердился. Он кусал губы, гневаясь. Мало было истории с мальчишкой из Кривой, а еще и эти капли. Как ему теперь носить эти чесанки? Он взглянуть-то на них не может, поселились в них матерный Степка и петух!

Бабушка принялась замывать кровь. Пятна побледнели, но и размазались, еще хуже.

— Придется вымачивать, — заключила она, — да ты не волнуйся. Я их содой, золой, зубным порошком. Сведу! Будут как снег.

— Ну, — сказал дядя Миша, — ну... Нет, это не день, это Армагеддон самый настоящий.

Павлик ушел с закрытыми глазами. Бабушка протерла зятю лицо спиртом. Он отказался от еды, и они стали укладываться на боковую. Дядя Миша, естественно, пошел спать на Манькином ложе и, добираясь до него, дважды споткнулся на приданом, несмотря на то, что предупредительная теща дождалась его приземления и не выкручивала лампочку. Ухватившись за Манькину дверь, дядя Миша посмотрел на тещу. Ей показалось, что зять — лунатик.

— Завтра поедете обратно, — сказал он, — я с утра схожу в милицию, позвоню в Абантуру. Делать мне больше нечего! Я поеду, увижу Маньку и поеду.

— Поедем, — согласилась Бабушка, — мы и собирались. Вечерком. Маньку дождемся — и поедем.

И погасила свет на кухне. Зашла в комнату — Павлик уже крепко спал на ее кровати. И бабушка, выключив свет в горнице, полезла во тьме на печку, услышав, как свалился за стенкой зять на Манькину кровать.

«Стройный Миша, а тяжелый. Директор», — подумала она.

Заснули сразу, провалились на сонное дно.

Поэтому, когда им пришлось ненадолго проснуться, до рассвета, часа в четыре, много в половине пятого, им показалось, что они и не поспали вовсе, а всего лишь чуть-чуть подремали, слюнки не запустили.

А проснулись они оттого, что во дворе заорал петух Стрелец. Заорал, как паровоз, как победитель дяди Миши. И они услышали его наглуую поступь во дворе. И проорал он десятикратно, подбрасывая всю улицу Островскую и Протоку.

— Вот скаженный, — пробормотала бабушка, — труба иерихонская. Надо возвращаться. Невыносимый какой!

— Надо домой, баба, — ответил ей снизу, из темноты, Павлик, — я его боюсь. Я соскучился.

За стенкой заскрипела кровать. Послышался внятный, командирский голос дяди Миши.

— Празднуешь, Стрелец? Жить тебе хорошо? Будет тебе утро стрелецкой казни!



8.

Вторично дядя Миша проснулся оттого, что засохшая кровавая корочка давила лоб и сугубо мучила, цепляясь за жесткие перья в Манькиной подушке.

И домучила, и он поднялся, хотя спал бы еще и спал. Двери на двор были открыты настежь, в дом, как говорил Павлик, забежали мурашки. Во дворе виднелась Евдокия Митрофановна, закидывающая на веревку отмытые чесанки. Они были по обещанию белы и вдобавок золотились на солнце. Утро занималось погожее, теплое, двор темнел мокротой, а у погреба блестела лужица. Не успела всосаться, там земля была хорошо прибита. Лужица была синяя, двоилась и напоминала штаны запорожского казака.

Дядя Миша вышел на крыльцо.

— Где ЭТОТ? — спросил дядя Миша. — Покажи!

Нить шпагата, не переставая подрагивать, натягиваться и опадать, убегала от курятника за огородную калитку. Петух имел променад и легкий зеленый завтрак из увядшей ботвы.

— Я его привязала, накоротко, — сказала теща, — до крыльца не дотянется. А — тихий, довольный.

— Довольный?

— Довольный. Ну, так выглядит. Как с легкого опохмеления наш Алексей, — уточнила Евдокия Митрофановна.

— Покажи, — повторил дядя Миша, безотчетным воином расправляя плечи и расставляя ноги.

Теща дернула за шпагат, потянула, дернула, потянула — и через калитку, боком-самолетом, подпархивая крыльями, чтоб не упасть, вывалился петух. Теща отпустила шпагат, но петух остался на месте, расставив ноги, как дядя Миша, и крутил головой. Клюв его был в земле, был он грязен, рыжая грудь лилась червонцем. Три черные полосы на ней представлялись нарисованными. Глядел нагло, но не только на дядю Мишу, а и на старуху, на курятник, на погреб, на сарай. Авторитетов не имел. Стрелец.

— Да здравствует гёз! — прозвенел за дядюшкиной спиной Павлик.

— Ну б... — поперхнулся дядя Миша. «Б...»? Он едва не выронил дурное слово, чего не случилось с ним с войны. Нет, не сказал, удержался. Но было неприятно, ребенок рядом. Он увидел, что Саян забился в конуру, высовывая нос. Петух явно до него не дотягивался, но береженого бог бережет. Ты ли это, Саян, малюта всего живого на улице Островской?

— Он ему всю маковку раздолбил, — сказала теща.

— Я с тобой в гляделки играть не буду, — сказал петуху дядя Миша.

Петух словно услышал и понял: он показал дяде Мише растрепанный зад, лягнул землю мускулистой ногой, так, что мокрый песок долетел до крыльца, и пошел в огород.

— Посмотрите на него, — сказала теща, — он даже серет — прячется. Один.

— Пойду в милицию, — сказал дядя Миша.

— А ты сначала поснидай, Мишенька, надо, — возразила теща.

Но позавтракать он не смог. Отличная пшенная каша с хонгорской тушенкой, купленной Манькой в Москве, взорвала его пищевод с третьей ложки. «Это что же — контузия? — подумал дядя Миша. — Ишь как лоб похолодел, как затрясло!»

Попил с сахаром чай № 36 и пошел належке в милицию.

Автобусы тогда по городу не ходили, и не было в них особенной нужды. Все рядом или почти рядом. И дядя Миша подумал об автобусе попозже, потому что устал от покачивания и неожиданной одышки. Пока подумал — добрался до милиции.

Было воскресенье, но Черников, наудачу, дежурил, сидел за столом на входе в райотдел. Он пил чай с баранками, с шиком ломая их в горсти. Настроение у него было положительное.



— Ну вы даете стране угля, Михаил Иванович! — оптимистично сказал он, увидев ранение дяди Миши. — Во лбу звезда горит, на щеке черт расписался! Неужели мирусинские обидели? Не может быть, кто вас не знает! Я их в бараний рог согну!

Дядя Миша понял, что рассказать правду невозможно, это выше его моральных возможностей. «Да и не до того, — утешил он себя, — зачем балаган разводить? Времени нет».

— Колол чурки, перестарался, — объяснил он, — отлетело. Хорошо, что не в глаз.

— А-а? — сказал Черников, чуточку сомневаясь. — Чурки сырые, топор тупой? Не директорское это дело.

Оба отлично знали, что вполне директорское. Не ученики же наколют дров вместо директора, не родители? Бар нынче нет, и работника не наймешь — ославят. На какие шиши нанимал? Ворует? Банкой школьной краски расплатился?

Из уважения, из этикета сказал Черников.

— Рад повидаться, рад, — сказал дальше Черников, — но какая забота вас привела? Или позвонить надо — и всех делов?

— И беда, и позвонить, в Абантуру позвонить, — ответил дядя Миша.

Черников, действительно законченный кудрявый и массивный брюнет с хонгорской кровью, был с рожденья муравский, учился у дяди Миши, и прилежно учился. После армии его направили участковым в Каменку, он добросовестно следил за порядком в кусте селений, среди которых значились и Муравское, и Кривая, и Кичка. Слабым его местом был самогон, который он гнал и гонит в Муравском у родителей. Люди знали об этом и немножко осуждали Черникова. Немножко, а многие относились сочувственно. Самогоном он не торговал, в стельку не напивался. Их мнение было такое: если самогон получается у него лучше казёнки (а он говорил), то можно считать, вкус у него тонкий, водка ему противна, значит, имеет право на послабление. Не айран же пить милиционеру!

Тем более что долг исполняет и храбр. Это он лично взял бандюка, заблудившегося в их углу после освобождения из Тайшетлага в 1953 году. Здоровенный бандюк надругался в лесу над девочкой, ограбил две семьи. Как он ни метался по округе, Черников его выследил, подстрелил и скрутил, не забыв разбить ему морду в фарш. Шумная была история, освещенная в краевой газете. Черникову дали «Красную звезду».

Три года как его повысили, перевели в Мирусинск, надели лейтенантские погоны.

Дядя Миша рассказал ему о Степане, прося не о наказании, но о внушении и присмотре. Черников засмеялся. Он совсем не очерствел еще и не зазнался. Дежурил, кстати, без ордена, надевал его строго по праздникам. Как дядя Миша.

— Узнаю вас, Михаил Иванович, — сказал он, — а этого зимогора даже искать не придется. Здесь он сидит со вчерашнего вечера! Напился, матерился, зачем-то лез в Музей, толкал, материл сторожа, Доната Асинкритовича. Хотите повидать?

Зимогор встретил их стоя, замерзший в холоде предварительного заключения. Глядел виновато и, узнав дядю Мишу, по-домашнему подался к нему, обрадовался, сказал: «Михаил Иванович!» От него тянуло и запахами дурной жизни, и фальшью. В глазах: что рассказал директор, как? Умилостивить Черникова пришел — или уж закатать меня?

— Я Михаил Иванович, — сказал ему дядя Миша, — я-то Михаил Иванович!

— У него назавтра повестка в военкомат, — сказал Черников, я его завтра сам туда отведу. Если захочу. Через дорогу мне нетрудно. Или лучше посадить тебя, запечатать, кривовский дурак?

— Пусть послужит, — взволнованно сказал дядя Миша, — в армии его подтянут. В армии его научат. Поймет, почему жизнь и для чего.



— И я так думаю, — сказал Черников и поднес свой хороший кулак к маленькому носу Степана, и зрочки Степана сошлись у переносицы. Он громко вздохнул с облегчением.

— Отдайте в армию, Геннадий Кузьмич, — прошептал Степан, — отдаёте же? Михаил Иванович, матери скажите. Сам себя боюсь.

— Скажу, — ответил дядя Миша. Черников поддернул его за рукав.

— Не торопитесь его жалеть, Михаил Иванович, — сказал Черников, — мальчишка порченный. Сявка. Сейчас ему деваться некуда. Армия лучше, чем срок, ясно. Вот и гонит кино... За Музей тебе попытку грабежа мировых исторических ценностей можно пришить. Это тебе не хулиганка, не базарный шип.

— Какие ценности, Геннадий Кузьмич, — тихо ужаснулся зимогор, — я сдуру лез, наливки нажрался, не закусывал, не на что. Сроду про ценности не слышал никакие...

— Милую тебя ради Михаила Ивановича, — перебил Черников, — помни об этом. Перемоешь все полы и сортир отлакируешь.

Дядя Миша хотел как-то душевно попрощаться с Готовцевым, но Черников не дал, за руку увел за собой. Грубовато.

— Не знаете вы их, Михаил Иванович, — извините, но не знаете, теми детьми видите. А человек ломается — чихнуть не успеешь. Я за все его пакости ему даже чаю не дам до обеда. Давно его вычислил. И закончим на этом. А не было б повестки? Кури табак?

Дядя Миша понял, что он очень уважает Черникова. Черников знал людей лучше, чем он. «Я горжусь своим учеником», — подумал дядя Миша.

Он позвонил в Абантуру, соседям Нины и Алексея. У родственников телефона не было, а сосед, хонгор Виктор Иванович, известный на всю Хонгорию хирург, имел его по долгу службы. Его подросшая дочь Ольга гордилась телефоном, тепло приняла звонок и, наверное, торжественно привела к аппарату соседей тетю Нину и дядю Алексея.

Нина дружила с соседями и здоровалась с ними: «Изеннер!»

Связь была отвратительная даже для тех, кто не имел опыта никакой другой, получше. В трубке бушевал мировой океан и тонули, отчаянно завывая сиренами, корабли.

Дядя Миша прокричал Нине про Павлика и Евдокию Митрофановну. Черников слушал его с симпатичным житейским интересом и делал большие глаза.

Слава тебе, господи, тараторила Нина, так и в Бога поверишь, Алексей, они в Мирусинске, Миша из Мирусинска звонит, Миша, Алексей тебе кланяется, трезвый. Что «не говори»? Миша нам родной, куда нам без него, выручалочки. И т. д.

А в конце, запинаясь, сказала:

— Пусть, Миша, мы тут подумали, пусть лучше завтра приезжают, раз уж все в порядке, Миша. Мы отдохнем хоть денечек от мамы, побудем в тишине, я, Миша, уроки подобью, давно нужда... Ладно? Ты там проверь, есть ли у мамы, на проезд-то дай, если что. А то Манька даст рубля, а потом умрет от бессонницы, Миша.

— Хорошо, — коротко ответил ей дядя Миша. В животе у него вдруг зашумело, как в телефонной трубке. Это как-то указало на связь жизни душевной с жизнью телесной.

9.

Возвращаясь в ясный полдень, дядя Миша издалека увидел лохматый дым над отчим домом. Печь топилась по первому разряду.

Он вошел во двор и, входя, поймал себя на том, что стережется, держит перед собой полусогнутую левую руку. Что и отметил Павлик. Он высмотрел дядю в окно, сквозь рябиновые ветки, и высочил ему навстречу босой и в тюбетейке. Она сверкала, как шлем витязя, потому что Павлик утром наклеил на нее канцелярским клеем фольгу.



— Что? — закричал он. — Что? Ждут? Соскучились, язви их?

— Ждут, соскучились, заболели без тебя, — ответил дядя Миша.

И больше ничего на эту тему не хотел сказать, а Павлику было достаточно, он уже ехидно говорил о другом: — А чего это ты, дядюшка, руку раненую выставил? Боишься?

— От солнца, — с досадой отметил Дядя Миша, — на тебя гляжу — тубетейка блестит, меня слепит. Видишь, жмурюсь?

— Понятно. Хмуришься ты, а не жмуришься, — сказал Павлик. Но оценил находчивость ответа. И сообщил:

— Бабушка поставила бак на плиту, ей Димка Барышев два ведра приволок с колонки. На коромысле. Она ему два пряника дала. Я с ним бегал, помогал.

— Зачем, — спросил дядя Миша, — стирать собралась, что ли? Или тебя мыть? Вы же вчера с утра баню топили. Или меня? Я дома помоюсь. Зачем?

— Говорит, будет кое-кого ошпаривать. А кого — не сказала, секрет. Тебя? Лечить?

— Наверное, — сказал дядя Миша, — наверное, план у нее такой.

«Все-таки понятливая она, Евдокия Митрофановна», — подумал дядя Миша и тут же подумал так еще раз, с крыльца опознав топор, воткнувший в плаху. «Заряжен пулемет».

Шпагат снова тянулся в огород, натягиваясь и опадая. Куры были заперты. Брандмауэр нависал над двором и связывал это ясный осенний денек со средними веками, когда кровь проливали в виду таких стен.

Раскрасневшаяся теща показала в дверях и уточнила:

— Обедать уж будем ПОСЛЕ. Лапшу я раскатала... Перец у Маньки не нашла, видно, без перца готовит, сухомытная. В горшках пауки живут... Потерпишь? Столько не ел, так ЧТО уж? Или каши поешь, осталась каша?

— Потерплю, — значительно сказал дядя Миша, думая: «Я криво усмехнулся».

— Павлика в доме запереть или на улицу прогнать? Можно за перцем послать, пока туда, пока сюда?

Дядя Миша крепко задумался. Что, если Павлик сильно перепугается? И Нина потом будет стонать: как вы могли при ребенке все это непедагогичное делать?

— Так как, Мишенька? — переспросила теща.

— Думаю, — ответил он.

Она закивала: Миша ничего не делает без мысли.

«Да что же такое, — додумал дядя Миша, — чего в огороде оранжереи разводить? Наша судьба деревенская, где надо — назьмом пахнет. Должен ребенок ко всему привыкать, по ходу жизни. Нечего в ней скобки ставить».

— Захочет — пусть смотрит, — сказал он, — пусть взрослеет. Обойдемся без перца, черемшой соленой заправишь.

Он пошел к плахе и выдернул из нее топор. Теща подбежала к шпагату и в три рывка доставила петуха. Ошарашенный, он не сопротивлялся, обронив несколько бабьих ко-ко-ко.

Теща схватила его за шею и подала дяде Мише. Дядя Миша левой рукой перехватил шею и прижал петушину голову к плахе. Вот тут Стрелец бесполезно заработал своими конечностями, открывая клюв. Горло его было сдавлено, он уходил из жизни, задыхаясь, молча.

Дядя Миша занес топор, прицеливаясь.

— Время звенеть бокалами! — крикнул с крыльца Павлик. Он подпрыгивал на месте, он был в цирке. Он не жалел петуха.

Дядя Миша оглянулся на него. «Нормальный ребенок, естественный. Будет октябренок, пионером. Комсомольцем», — пошутил он про себя. Он осторожно промакнул рукавом испарину на лбу.

Прицелился снова — и миг в миг с отдергиванием левой руки отрубил петуху голову.

Безголовое тело свалилось на песок. И тут же вскочило и побежало мимо дядя Миши, порядочно обрызгав его галифе первой кровью. Оно бежало — бежало по



правильному кругу, вокруг палача и плахи. Кровь выплевывалась из шеи, набрызгиваясь кольцом.

Дядя Миша оцепенел. Бабушка и Павлик замерли где стояли. То, что было петухом, бежало круг за кругом, рыжая грудь с тремя черными полосками имела военное достоинство. Тонкое кровавое кольцо густело, капли сливались в дужки.

Во дворе был слышен ровный, механический топот, отдававшийся в сарае.

Взгляд дяди Миши упал на владения Саяна: пса не было видно, испуганный, он прижался к задней стенке будки. Безголовое бежало и бежало.

Пробежало сто кругов и упало очень зряче под ноги дяди Миши.

Помолчали.

— Вышла кровь, — очнулась Евдокия Митрофановна, — досуха набегался. Крови в нем как в добром поросенке.

— Не преувеличивай, — ответил дядя Миша, чтобы что-нибудь сказать. Его морозило. Павлик подбежал к трупу и осторожно ткнул его босой ногой. Потом наклонился над плахой и посмотрел в глаза на отрубленной голове.

— Теперь он ничего не видит, — сказал Павлик.

Дядя Миша, шатаясь, пошел на огород, чтобы замить дождевой водой из бочки кровь на своих галифе. Замывал полными горстями, старательно, и в итоге словно постоял по пояс в Протоке. «Ничего!»

Потом бабушка ошпаривала и ощипывала петуха, потом варила лапшу. Пока она варила, Павлик собрал стрелецкие перья и раскладывал их на крыльце, стараясь восстановить кафтан с тремя черными полосками поперек груди. У него получилось.

Дядя Миша повесил брюки сушиться, на веревку рядом с чесанками — кровавые дела! И затем лежал в мокрых трусах на Манькиной кровати и думал о своих детях.

Все сильнее, настойчивее пахло куриной лапшой. К крыльцу подобрался Саян, и Павлик разговаривал с ним: теперь, Саян, тебе нечего бояться. Герцог Альба капут! Ааахааа, отвечал Саян. Вот, вот, говорил ему Павлик, поцелуй меня в уста, которые не говорят по-фламандски.

Куры молчали. По улице не по чину громко протрещал мотороллер. Павлик не стал выбегать на улицу с салютом — он был занят.

Бабушка в горнице поставила на стол три тарелки, налила в них из чугунка лапши. От тарелок столбами поднимался пар. Бабушка нарезала хлеб, налила в кружки квасу, щелкнула ложками об стол.

— Идите обедать, господа хорошие, — позвала она, — ресторация открыта!

Они уселись за стол. Дяде Мише стало неудобно, что он в мокрых трусах, он никогда не садился за стол без штанов. Павлик забыл сполоснуть руки. Он очень хотел есть и боялся, что его погонят в огород к бочке. Не послали.

Бабушка нависла лицом над тарелкой, то и дело обмакивая в ней острый подбородок. Павлик и дядя Миша, переглядываясь, забавлялись этим.

— Саяна обидела! — спохватилась бабушка.

Саян в это время топтался на крыльце, грыз перья и сметал их хвостом на землю.

Выглянула бабушка и бросила ему сырые и вареные остатки Стрельца. Подальше, к плахе. Саян бросился за ними и безошибочно выбрал для почина петушиную голову. И она затрещала в его челюстях. Он знал, кого ест, и пел за едой.

А дядя Миша сию секунду бросил ложку на стол и отставил тарелку.

10.

— Не могу есть, не могу я его есть, — сказал он.

Бабушка с Павликом могли, они опустили головы.

— Ноги эти узловатые, динозавровые, мельтешат в глазах, — мучился дядя Миша.

— Мы не виноваты, — сказала бабушка, — вот испытание!

— Папиросы в доме есть? — спросил дядя Миша. — Манька покуривает, знаю.



Бабушка ходила в Манькину комнату и принесла пачку «Севера». Початую. Она вчера с большой охотой изучила, где что лежит в Манькином комодe.

Дядя Миша прополоскал рот квасом, вышел на крыльцо, сплюнул и закурил. Он не умел держать папиросу, сразу раскашлялся и вставлял папиросу в губы по странной извилистой траектории, взмахом пловца, и под восходящим углом.

Павлик вышел следом и снисходительно наблюдал за ним снизу вверх.

— Ты совсем не умеешь курить, — озадачился он, — зобаеть неправильно. Дай я тебе покажу, как надо зобать. Дай зобнуть!

Дядя Миша не дал. Он посмотрел, как питается Саян, посмотрел на чернеющий круг смерти с плахой посередине. Какой-то неясный, бестолковый, прерывистый шум, гул доносился с запада, от въезда в город. Этот гул могли производить беспорядочные человеческие голоса, которые ветер завывал до птичьих.

Он прислушался и пожал плечами. Бросил недокуренную папиросу в тазик у крыльца, сходил в дом и тут же вернулся со своей тарелкой в руках. Из нее монументально торчала сиреневая стрелецкая нога. Он поставил тарелку на землю перед Саяном и сидел перед ним на корточках, подмигивая и морщась, пока Саян ее не опустошил. Саян чавкал, как дядя Паха.

Потом дядя Миша встал, а Саян упал на бок и закрыл глаза, показывая солнцу свое раздувшееся брюхо. Все!

— Сегодня у него праздник, — объяснил Павлику дядя Миша, — съел своего супостата! Вернулся, елки-палки, на круги своя. Лишь бы не отравился вражьем мясом, переварил бы кости.

Чай, заваренный со смородиновым листом, они пили на крыльце, размачивая в нем каменные розовые пряники. Дядя Миша, спрашивал Павлик, почему, если человеку отрубить голову, он умрет сразу, а петух бегаёт? Потому, Павлик, отвечал дядя Миша, что, брат, что...

— ...У него мозги при жопке, а не в голове, — грамотно сказала бабушка.

— В жопке или не в жопке, — задумчиво подхватил дядя Миша, — а круг как циркулем проведен. Сила!

Звякнуло кольцо в воротах. Показалась Манька, стройная, что твой кипарис. Алексей недаром называл ее «Ветка Палестины».

— Ох, ох, ох, — заговорила она, радуясь многолюдью, — хозяйева дорогие, не пригодятся ли вам гости? Здравствуйте! Павлик! Михаил Иванович! Бабка моя старая!

В руках у нее была авоська, она лопалась от новых поступлений в приданое. Дядя Миша, подняв бровь, покосился на авоську, и Манька убрала ее за спину.

— Ухайдакалась, — сказала она, — вроде бы осень, детей уже в вагоне не сыскать, орать-пищать некому. И — трое сели в Свердловске! И — как с цепи сорвались. Напились, поцапались. Пожалела их, думала, проспятся — тише воды будут. «Извините» и все такое. Куда! В ночь снова окунулись (в Ачинске отоварились) — тамбур загадили. И перед Ташебой... Десять километров до Абантуры... И перед Ташебой — стекло в тамбуре вынесли на... фиг! И я их на пятнадцать суток устроила, окурки на вокзале собирать. Командировочные! Один партийный, кричал: «Не толкайте меня, я с Никитой Сергеевичем Киев освобождал!» Отберут билет поди, а, Михаил Иванович?

— Отберут, — сказал дядя Миша, — и правильно сделают. Не позорь ряды, едешь по поручению — водку дома оставляй, она тебя дома дождется.

Манька присела на крыльцо, на остатки перьев, не глядя. Бабушка подала ей чаю.

— А сейчас что видела — вообще копец! Едем на автобусе — перед мостиком, там, на взлобье, дерутся! И человек сорок, не мене. В автобусе говорят: мальчишки, фээзушники с речниками, безотцовщина натуральная. Речники-то в своем черном, а эти так, шароварные. Водитель говорит: посмотрим, кто кого? И встал. Смотрим. Дерутся сильно, с пряжками, а то и с этими... кастетами, не знаю. Злые детеныши выросли, истинно, зверье! Мы, бабы, заахали: жалко, страшно за них, безмозглых. А речников пожиже, какие лежат уже, других окружают...



Во-от. А в автобусе с Енисея возвращался Юрка Ласкович...

— Это который, — перебил дядя Миша, — это Леонида-жестянщика сынок? Ему ж лет двадцать. Крепкий был мужичок...

— А теперь еще крепче. Сам невеличка, но чугуна в нем центнер. Глаза синющие, васильки, большие, а голова лысая. Двадцать лет — волос нет! Спуску никому не даст! Говорит водителю: выпусти-ка меня! А он речное и кончал, и до Игарки и Дудинки теперь ходит, мотористом. Чемоданчик свой фанерный мне на коленки — поддержи, тетя Маруся, — и на фэззушников с голыми кулаками побежал. И началось представление. Даст одному — упал, даст другому — повалился, даст третьему — готов. Никто не вставал. Фэззушники в кучку — и наутек. Бегут в город мимо автобуса: «Юрка, Юрка, Юрка».

Он спокойно пришел, знал, что подождет, чемоданчик у меня взял. «Извиняюсь за задержку». И водителю: «Поехали». На нем ни царапинки, даже не вспотел... На станции первым вышел, пока не вышел — никто не вставал...

— А ты-то, Михаил Иванович, — взгляделась она в дядю Мишу, — ты что, тоже дрался?

И тут бабушка с Павликом рассказали ей свежую новость про петуха. Она хотела зареветь, показать, что огорчена, обижена потерей. Тогда дядя Миша не отмолился и пообещал, что привезет ей нового, из Муравского, который, правда, дичины не едал, но поет, как Нечаев с Бунчиковым.

Манька успокоилась, умылась и пошла к себе, где так и закопошилась: наверное, еще раз, на просторе своих угодий, разглядывала свежий улов.

Дядя Миша собрался, дал теще тридцатку, пожал Павлику руку. Хотел поцеловать, но раздумал, постеснялся. Крикнул: «Мария, пока, увидимся!»

И в сырых галифе, с сырыми чесанками через плечо пошел на автостанцию. Он снова был рад чесанкам и представлял себе, как наденет их на Покров, придет в школу, смущенно улыбаясь поздравлениям с обновкой.

Пока дошел, пока дождался автобуса до Муравского, высохли и трусы, и галифе. Кепку он надел поглубже, опустив козырек, чтобы скрыть рану и избежать неподобающих его социальному положению вопросов. А царапины на щеках бывают у всех сельских жителей. Тем более что математик Петр Захарович в прошлом году сам себе выбил зуб указкой. Непосредственно на уроке, а не, скажем, тяпкой.

11.

В автобусе были все свои, муравские, за исключением, как ни странно, соседа дяди Миши, его ровесника с рачьими глазами. Водитель Илья Семенович обрадовался, увидев дядю Мишу, сказал: «Когда вы в автобусе, народ не матерится. Особенно бабы мне надоели». Чесанки привлекли общее и приятное внимание.

Ехать было недалеко, но эти двадцать километров одолевались долго, иной раз — до часу. Песчаная муравская дорожка славилась — кривая, битая, ухабистая, с бесконечными подъемами и спусками, она вынимала душу и часто — содержимое закаленных деревенских желудков.

Ровное, еще настойчивое солнце пригревало на опушке бабьего лета. Песок мокрый, ехали с открытыми окнами, дышали бором, запахи пота и махорки были терпимыми. А в зное лета — пыль столбом, открой-ка окна — кровь захрустит.

Иногда сквозь дикое, припадочное рычание мотора, при переключении скоростей, слышалось, как поют птицы и стучат дятлы.

Дядя Миша, конечно, как внимательный к жизни человек, помнил дорогу, и то, что справа, и то, что слева, до мельчайших подробностей. Ехал и узнавал повороты и ухабы, заранее приподнимаясь на сиденье, узнавал елки и сосны над ними.

И вспомнил, после очередной встряски, как перевернулась здесь телега, на которой он ехал в Муравское, подгоняя возчика, еще с забинтованной рукой, зимой того 1943 года. Стояла глухая стужа, он тогда отморозил себе нос и щеки. Он вонзился

тогда в сугроб, и сугроб показался ему металлическим — упал на раненую руку, и не выругался, потому что в Муравском его дожидалась невеста Наталья.

Он познакомился с ней весной 1941 года, на танцах в Мирусинском педучилище. Высокая, чернобровая, в косах, с низким красивым голосом, она сразу взволновала его. В ней были те девичьи чистота и серьезность, какие редко встречались или никогда не встречались большинству его сверстников.

«Совсем поглупел я тогда, — приятно вспоминал дядя Миша, — даже стихи выучил». Стихи дал ему товарищ, комсорг, дал, предупредив: с мещанским душком, но шибко выразительные, девчонок сражают наповал. Стихи назывались «Соловьи-ха», дядя Миша сегодня помнил только первую строчку: «У меня к тебе дела такого рода...» Длинные стихи, читались продолжительно. Наталье понравились, но она сказала, что полюбила его не за стихи, а за то, что он их выучил. «А читать стихи ты не умеешь».

Пожениться не успели — война. Поцеловались три раза, поодиночно, винтовочно. Когда его ранили и Гросс-Иоганн решился сообщить об этом Наталье, она уже работала в школе, в Муравском. У нее сразу отнялись ноги, и она полгода лежала, молчала, худела и сходила с ума. Михаил об этом не знал. Когда он подъехал на телеге к Акулькиной избе, где она квартировала, она встала и встретила его на крыльце. И за семнадцать лет не жаловалась на ноги ни намеком.

Небывалое бывает.

Дядя Миша широко улыбнулся, водя носом, и его сосед с рачьиими глазами на всякий случай отвернулся от него.

Вот какие бывают воспоминания на пустое брюхо, улыбался дядя Миша. Ему наконец-то захотелось есть, засосало, до какой-то ватной слабости. «Это сколько же я не ел? Почти два дня. И не вспомню, когда подобное случалось после войны. Приключения!»

Эх, как бы было здорово, если б можно было прямо из автобуса телеграмму отбить. Или позвонить домой: «Ставь пирог с тайменем!» Может быть, сама догадается? Она часто догадывается.

А ведь когда-нибудь и такое изобретут. Дойдем, достигнем. Доживем.

«Догадается Наталья Михайловна. Умеет провожать, умеет и встречать. Или я не заслужил пирога со стопочкой после таких-то переживаний, впечатлений?»



Галым МУТАНОВ

ПОМИНАЛЬНЫЙ ОБЕД

ДАР АЛЛАХА

В мир приход — дар Аллаха,
Знак великих щедрот.
Жизни Божья рубаха
Греет целый народ.

В благе, не в укоризне,
Есть призванье души...
Каждый миг своей жизни
С честью людям служи.

ЖАЖДА ЖИЗНИ

В колыбели дитя
изумлённо лопочет,
Руки тянет,
в грядущее вырасти хочет.

Мужа зрелого
жизнь суетой повязала
Среди дымной толкучки
базара-вокзала.

Дед прикован к одру,
ловит взгляды собрата,
Зная, к удали юной
не будет возврата.

Живы в каждой поре —
по закону Творенья —
Жажда жизни,
желанье её и горенье!..



БЛАГОРОДСТВО

Нам даётся по правде и вере...
Благородны бывают и звери.
Этим даром отмечен не всяк.
Провиденье хранит благородных —
Духом сильных, душою свободных —
Это их несмыаемый знак.

Серый волк, Степи воин извечный,
Истопивший путь снежный и Млечный,
Предок наш, сын вождя Кёкбори,
Ты рождён как владыка простора,
Вольной воли, ночного дозора
Гордый страж от зари до зари.

Ты не тронешь приманки дешёвой,
Не смиришься железной решёткой,
Лишь, в предчувствии полной Луны,
Ты завоюешь с волчицею вместе
Ради вечных — свободы и чести...
Только ими вы и спасены!

Средь невзгод и иных средостений
Слово чести всего сокровенней:
«Пусть залогом — жизнь будет моя!»
Наш народ чтит достоинство Волка
И завет его воли и долга,
Благородство — как столп бытия!

СХОЖЕСТЬ ХАРАКТЕРОВ

Время стремится, небес бубенцами звеня,
Всякий народ норов свой обретает века.
Если казах, то родился на гриве коня,
Если казах, то дорога твоя далека.

Всхрапы тулпара и дробь-перестуки копыт —
Древняя песнь для казаха, её услышав,
Сердце казаха трепещет и ритмы дробит
В такт табунам, что летят океанами трав.

Да, мой народ унаследовал норов коня,
Столь же вынослив и столь же свободен душой.
Да, мир — великий табун, а все люди — родня,
Лишь аргамак одинок в этой скачке большой.

Крепок союз меж конём и наездником: в миг
Ржаньем и словом они обменяются вольны,
Чтобы по кличу тревоги пронзять материк,
Словно стрела, рассекая просторы страны.

Да, мир большой ипподром, состязанье судеб!
Но, коль скакун-казанат тебе предок и друг,
Вновь охраняй ты Отечества волю и хлеб,
И да воздаст тебе счастьем твой жизненный круг...



РАВНОВЕСИЕ ПРАВИТ МИРОМ

Равновесием держится мир
У добра и зла на весах.
Выбирай, каков твой кумир —
На земле или небесах?!
Неподкупны эти весы,
Взвешат каждый твой малый шаг:
И сочтут твоей жизни часы
Злом и благом — и друг, и враг.

Если волен в себе самом,
Побратайся с добром навек!
Человеком придя в Божий дом,
Уходя, Аллахом ведом,
Вновь скажи: «Я — человек!».

ПОРАБОЩЕНИЕ ДУШИ

Внешним гнётом до дна обескровлена,
Боль-душа неизбывной печалию
Прорастет...

Но, порою укромною,
Гневом праведным очищаемая,
Гневом праведным пробуждаемая,
Возродится в боренье и мужестве
К жизни —
Волей своей созидаемая! —
Вновь творима в Любви и Дружестве.

ЖИВУТ ИНЫЕ...

Честь и совесть задвинув
В тёмный угол души,
Жизни чару отринув,
До могилы спеши.

Ты живёшь ради зла лишь
Да хулы — день-деньской!
Уж вовек не познаешь
Ты ни мир, ни покой...

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Так повелось в народе, так сложилось,
Что над усопшим у живых мулла
Спросить обязан... И ответ всегдашний:
«Покойный был хороший человек».

Таков обычай. И каким бы ни был,
Ушёл он. Это следует принять
Как данность... И, платя последней данью,
Слова добра сказать ему вослед.



Добро должно любовью диктоваться,
Корыстное добро, по сути, ложь...
Чтобы прослыть хорошим человеком,
Достаточно не быть во зле, не лгать.

ТРУД

Даже первый шаг по жизни мы свершаем через труд.
Ползунки не износивши, с четверенек нам не встать.
Хлеб, что днесь людей питает, лишь трудом пожнут-сберут.
Каждый миг для дней грядущих надо сеять иль пахать.

Этой тяготы не зная, невозможно жизнь прожить.
Вмиг становишься никчёмным, будто вдарили под дых,
Коль не стало трезвой мысли, сил — трудится, знать и быть!
Ты в плену, ты — раб несчастья, ты — зависим от других...

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ

Всем, живущим под Божьей рукою,
Мира в доме, покойных времён!
Только Время не знает покоя,
За пределами Времени он.

Ты растёшь, ты взрослеешь, мужаешь,
Вот уж зрелость... А Время течёт,
Мир сей в час, о котором не знаешь,
Ты покинешь в некий черёд.

В кочевом бесконечном потоке
Жизни-Времени — табор людской.
Знают все, *что* потока в итоге...
Цель-итог лишь у каждого свой.

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Достигнув средних лет, в другую половину
Ступив, уже пора... пора держать ответ.
Я юность не верну, ушедших не отрину,
Скупцом дрожит душа над грудой монет,
Над пригоршнею лет, прожитых так и эдак...

Былое всё в былом, его не возвратить.
«Чего я не успел? Что важно напоследок?» —
Сверши! И след добра уж нам не позабыть.

Пусть жизнь имеет смысл — твоя, а не чужая!
Не унижай себя, храни себя вовек.
И соблюди завет, да-да, завет Абая:
«Стать совершенным должен постараться человек».

СУДЬБА

Небо — над... а земное — под ним.
Между ними — обитель людей.
До поры притяженьем земным
Мы удержаны в жизни своей.

Всё исчислит времени ход.
Мера мерит от сих до сих.
Жизнь закончится. Час пробьёт.
Ты уйдёшь, как любой из живых.

Устремленье души — взлететь.
Ну а праху — могилы-гроба.
Жизни освобождённая клеть
Озаглавится словом СУДЬБА...

ПОМИНАЛЬНЫЙ ОБЕД

Мне бабушка-иня всё время повторяла:
«Мы друг у друга лишь пожизненно в гостях».
Таков народный дух не торго, не вокзала,
А дома, где любовь напутствует Аллах.

Из глубины веков неписанным законом
В потомстве передай — среди близких и родни:
«От Бога повелось еще во время оно —
Всё лучшее из яств для гостя сохрани».

Сумел ли жизнь познать? С какого перепуга?..
Чем зачислять людей в рабы или враги,
Запомни: «... мы в гостях, в гостях мы друг у друга».
Ты свято и светло лишь это сбереги.

Ты здесь, а после — там, а завтра — на погосте.
Но прежде чем навек избавишься от бед,
Мы проводить тебя, как дорогого гостя,
Придём на твой земной, прощальный твой обед.

*Перевод с казахского
Владимира Берязева*



Валерий ПЕТКОВ

ДВА РАССКАЗА

АВВА

Каникулы я проводил в деревне, у маминых родителей. Приезжал, разувался — и все лето бегал босиком с местными пацанами. Поначалу светился белым телом, но быстро становился коричневым, с толстой кожей на подошвах, как все.

Дед мой был технически увлеченным человеком, хотя и закончил всего четыре класса церковно-приходской школы. У него стоял возле дома большой ветряк, играло радио, работали, если надо, станки, а по вечерам поливался огород, грядки сладкого болгарского перца и виноград «бессарабка» — черный, мелкие виноградинки плотно облепляли гроздь.

Вино хранилось в подвале, в огромной бочке. Почти три тонны в урожайный год. Крупные, рельефные перцы он собирал с вечера. Они были красные, зеленые и мясистые, скрипели упруго друг об дружку в мешках, не ломались. Дед складывал мешки в коляску мотоцикла, рано утром надевал плотную серую шляпу и вез в Ново-Васильевку, к проходящим через станцию поездам. Самые крупные, красные, размером с литровую банку, стоили до пятнадцати копеек за штуку — неплохо, если учесть, что литр бензина стоил шесть копеек.

Поля шляпы спереди смешно приподнимались от ветра, но дед был очень серьезен. В очках, глаза серые, рубашка застегнута, тщательно выбрит, усы развеваются.

Каховскую ГЭС еще не построили. Хотя он и после постройки ветряком старался пользоваться, доверял ему больше, да и привычней было как-то. Шкивы, ремни и маховики притерлись за много лет — как ухватистое топориче, с которым не набьешь мозолей.

Деревенские считали деда чудаковатым, но уважали за смекалку и умелые руки. Он мог починить все — от сенокосилки до телевизора.

— Как же это ты? — дивились мужики. — Откуда ты понял, что именно эта вот лампа накрылась?

— Да ведь это просто — по логике жизни! Мы же все — агрегаты. Хоть люди, хоть механизмы... С людьми даже проще — спросить можно, где болит, а вот машину, животное — их надо чувствовать! Бережно, подумать надо...

В деревне за много лет перец стал мельчать, вырождаться. Дед написал письмо в Министерство сельского хозяйства Болгарии, попросил семян. Ему дали адрес опытного хозяйства, где-то под Одессой. Он съездил, привез отличные семена. Деревня стала знаменитой на весь район.



А еще привез пластинки с болгарскими песнями, музыкой, танцами хоро. Его с ними приглашали на свадьбы, праздники, такой вот вариант диджея.

Однажды он затеял починить накат на погребке. Что-то насвистывал, постукивал. Он всегда что-то себе в усы напевал — не бывало у него плохого настроения.

Я играл с мальчишками на улице.

— Василь! Василий! — кликнул меня дед.

— Что, деда? — спросил я, запыхавшись.

— Держи, — дал мне молоток.

Друганы у забора ждали нетерпеливо.

Так простоял я минут десять.

— Дед, а что с ним делать? С молотком-то...

— О! — глянул на меня дед. — Так ты иди, бегай дальше. Скажи бабке, что на ужин уже заработал!

Зимой в избу набивались соседи, лугали семечки. Дед выписывал много лет журнал «Крокодил». На полочке стояло полное собрание сочинений Ленина. Он сравнивал оба эти источника, находил несоответствия, смеялся, но выводов не делал.

— Ну и что ты, Василь Василич, на это скажешь? — спрашивали мужики.

— Пора менять эту пластинку!

Смеялись мужики.

Вопросы деда ставили в тупик мою старшую сестру, студентку ист- и филфака, пожизненную, не то что я, отличницу.

Один механизм был на попечении бабушки, дед только смазывал его изредка тавотом. Это был сепаратор — белый, алюминиевый. Он складывался в литую станину из нескольких посудин, одна входила в другую. Они были похожи на глубокие миски, но с отверстиями внизу. Закреплен он был прочно, на большом ящике, в углу, справа от входа в малую избу. Сепаратор был такой один на эту половину деревни.

Утром рано приходили соседки. Бабушка садилась на скамеечку, *веяла* еще теплое молоко. Нежно гудел шестеренками сепаратор. В тон ему женщины делились деревенскими новостями, судачили...

Когда моей маме было полгода — дед овдовел. Остался с двумя малыми детками. Женился снова, у второй жены — тоже двое. Потом и своих детишек прибавилось, снова двое. Стало шестеро. Для всех — мама. Для меня — бабушка...

Прохлада таяла, солнце поднималось. Молоко разделялось на сметану и обрат. Было оговорено, что за прогоны на сепараторе бабушке немного оставляли за работу — когда молоком, когда сметаной. Потом бабушка все тщательно мыла и накрывала разобранный сепаратор тонкой, невесомой марлей — от мух. Только ручка хитро была прикреплена, не снималась. Надо было ее ввести в зубчатое сцепление и плавно крутить. Можно это сделать и убежать, если бабушка не видит. Отбежишь подальше, остановишься, сдерживая дыхание, а позади еще какое-то время гудят, крутятся колесики, чуть слышно откликаются подшипники — надо время, чтобы успокоились.

Была и своя коза — Майка. Молоко у нее было жирнее коровьего аж в два раза.

— Сталинская буренка! — говорил дед.

Можно было сдать три литра в колхоз, а засчитывалось как шесть коровьего. Но когда я приезжал погостить, молоко козы не сдавали. Зимой я переболел воспалением легких — заигрался допоздна в хоккей, надышался морозным воздухом. Бабушка говорила — козье молоко «оттягивает» болезнь.

Коза была шkodливая. Ее приводили на звонкой цепи после выпаса, привязывали под грушей. Оставался небольшой проход к огороду и будке. Однажды ночью я сонный пробежал мимо козы в туалет, а обратно она меня не пустила. Пришлось в трусах лезть через забор и по улице возвращаться домой в страшной темноте. Наверное, коза понимала, что бабушка отдает мне ее молоко. Или чуяла утрату изящным носом аристократки...

Женщины приходили, уходили, прижимая к животам посудины, а я ждал своего часа. Мне надо было отнести в центр села двухлитровую банку молока. В кирзовой суме. Дед, бывало, только глянет, качнет укоризненно головой, но смолчит: не мое, мол, это дело — молоко ведь, не железо.

Мы шли вместе с двоюродным братом. Петя был чуть постарше и уже хабарил бычки вслед за отцом. Покуривал, старался не дышать при бабушке, но вонь была ужасная, я ему говорил об этом. Он полоскал рот душистым подсолнечным маслом, тогда воняло вообще какой-то дурью, а морда на солнце глянцево лоснилась. На его проделки смотрели сквозь пальцы — все мужики начинали курить в деревне, рано или поздно. Но мне было удивительно, потому что от отца я бы точно схлопотал, а дядя Митя, отец Петьки, только улыбался — выслушивая упреки, он доставал пачку папирос «Казбек» и говорил:

— Познакомься, сынок, — нищий в горах Кавказа, — встряхивал и протягивал папиросину.

На фоне синего неба чернели зубчатые горы, белели изломы снежных вершин, скакал в бурке наотлет верхом на резвом скакуне всадник — такой был рисунок на пачке.

Мы с Петькой соревновались. Надо было донести банку от начала до конца пути в одной руке. Например, я нес в правой, а обратно он, в левой, но с налитой водой, для веса. Чтобы по-честному.

Потом шли долгие споры — кто ссутулился больше, кто меньше. Плечо ныло, но надо было улыбаться, иначе Петька пацанам расскажет, какой я слабак, и будет обидно, потому что на самом деле я сильный и выносливый!

Идти было далеко, деревня растянулась порядочно, двумя долгими улицами, и с нашего края до правления шагать и шагать по глинистому тротуару! В конце пути была избушка — коричневая мазанка, вросшая в землю, будто кизяк коровий. Широкая завалинка, оконца небольшие — два спереди, три сбоку. Крыта толстым одеялом ржавой соломы, хотя в деревне почти у всех была красная черепица. Стояла избушка наискосок от правления. Над входом висела тяжелая занавеска, темная и старая, непонятного цвета. Там жила женщина, звали ее Авва. Я ее ни разу не видел, хотя каждое утро относил банку молока, приезжая в деревню несколько лет кряду, пока не окончил школу.

Надо было за ширму поставить банку с молоком, забрать пустую и тогда уже заниматься своими делами. Во-первых, понаблюдать, как набиваются тетки в автобус до райцентра. Во-вторых, узнать, какое кино будет крутить механик Демьян вечером. Если индийское, сразу занять очередь, потому что такие фильмы любила не только старшая сестра Фрося, но и многие в деревне. Поэтому о билетах надо было задуматься заранее.

Дед смеялся вслед нарядной Фросе, говорил:

— Придумали себе горе, пошли слезы лить!

Клуб — церковь без креста и колоколенки, с виду — длинный и высокий сарай. Истинно верующего батюшку и юродивого звонаря, пророчившего в безумии будущий хаос, забрали как врагов народа. Много людей тогда увезли. Арестованных рассаднили на подводы, потом вдруг взялись снова пересчитывать. Деда по отцу схватили в последнюю минуту. Так бабушка говорила. И сразу умолкала — не хотела много вспоминать. Или не могла.

В общем, церковь стала клубом.

Рядом было футбольное поле. Можно банку оставить около штанги, погонять немного. Потом домой, бегом, прятаться от жары в прохладе большой комнаты в доме бабушки.

В малой спал дед. Он вставал рано, немного ел, работал. Перед жарой выпивал стакан домашнего вина, съедал с большой тарелкой борща дюжину горячих перцев. Лицо вспыхивало, пламенело, пот от ядреных стручков тек ручьем, а дед только кричал и кхекал, приняв остроту пышным ломтем хлеба домашней выпечки.



Обедал он уже обстоятельно — курятина, овощи, брынза. Потом спал. Вечером опять работал, пока сумерки не займутся.

Умер он в декабре. Я был на срочной службе и не смог его проводить.

Спустя много лет приехал к нам в гости дядя Костя, старший брат отца. Очень энергичный, видный, высокий мужчина. Он занимал какой-то важный пост в Министерстве просвещения, был филологом по образованию.

Сидим, разговариваем, вспоминаем былое под рюмочку. Музыка заиграла, показали по телику шведскую группу, поползли титры — «АВВА».

— Смотри-ка, точно как ту женщину звали, в деревне, что напротив правления жила. Да вот же, мы ей еще с Петькой молоко бабушкино носили... Помнишь?

— Я в архиве искал личное дело отца, твоего деда. Видел донос... Ее рукой написан. Одна фамилия вычеркнута, другая сверху — звонарь, юродивый из храма. Расписка подшита в той же папке: получила премию по пятьдесят рублей за каждого «врага». За бдительность. Тоненькая такая папочка. Серенькая.

— А чья фамилия-то вычеркнута?

— Теперь уже не так важно...

От мазанки той остался бугорок. Распласталась, въехала в землю. Трава высокая. Кое-где солома крыши догнивает черными лишаями. Заросло все обильно. Только небольшой холмик и видно — сразу не заметишь, если не знаешь.

Когда я слышу песни группы АВВА, вспоминаю то странное имя, вижу лето, деревню, бабушку, деда на мотоцикле, друзей, козу Майку.

Репрессированного деда представляю по единственной фотографии.

Помню то странное состояние, что накатывало на меня, когда ставил банку с молоком на пол и наклонялся в полумраке у двери в избу. Всякий раз сдерживал дыхание и ждал чего-то...

Будто вот сейчас дверь приоткроется и я — спрошу...

РПЖ

Сергею Шаргунову

Зимой я играл в хоккей — я был маленьким и юрким, и мне удавались прорывные финты к воротам противника. К началу лета в спортзале я стоял последним по росту, даже после девчонок, и носил тридцать второй размер обуви, в то время как пацаны в нашем районе за год повзростали выше некуда. У меня даже появилась кличка — Шпендрик. Кличка мне не нравилась, из-за нее приходилось много драться, я возвращался вечерами домой усталый и поцарапанный, расцвеченный синяками и ссадинами.

Отец поглядывал на меня внимательно, но молчал.

От отчаяния в моей шишковатой голове появилась нелепая идея — сконструировать пулемет, который стрелял бы желудями. Даже название ему придумал: РПЖ, *ручной пулемет желудевый*.

Я представлял себе, как лягу у оконца под крышей нашего дома, неспешно и наверняка прицельюсь в выпуклый лоб Коляна Естифеева, с которым у нас шли бои, где успех был переменным. Желудь разлетится, на лбу противника мгновенно вспыхнет красная шишка, а мелкие кусочки брызнут в разные стороны. Колян вздрогнет, упадет на землю...

В общем, чтобы не насмерть, но обидно! А желудей полно в лесу, до которого полчаса неторопливым шагом. Бесплатно, собирай-запасайся впрок, всем хватит — и белкам, и кабанам, и людям.

Стал пропадать в библиотеке, она была в паре остановок от нашего дома. Выходил по утреннему холодку, не спеша, чтобы к открытию, к девяти, быть на месте.

Тихо, дремотно, людей почти нет. Особенный запах пыли, клея и старых книжек. Хочется говорить только шепотом.

Принципиальную схему пулемета нашел быстро, хотя в основном были цветные рисунки — каждый узел или деталь разного цвета. Было немного странно — такой красивый пулемет должен был убивать. Но я-то убивать не собирался! Своих противников мне убивать не хотелось, ни к чему это, а вот достойный отпор дать — это было бы правильно. Из тех же книг понравились слова — «оружие возмездия». Как штык, который вонзается в дерево и раскачивается из стороны в сторону, заворачивая, — так в меня входило слово «возмездие».

Первое, самое важное открытие — о заряде, выстреливающем «пулю». Он должен сообщать стартовое ускорение, но не должен быть мощным и пороховым, иначе желудь разлетится в момент выстрела, не долетит до цели. Должна быть какая-то пружина, возможно, из плотной резины, заводной механизм, чтобы перед стрельбой его можно было взвести. Как в часах, когда потенциальная энергия преобразуется в кинетическую. И тогда стреляй себе, сколько завода хватит...

Тут-то мне и попало: «Анкерный механизм (анкер) — состоит из анкерного колеса, вилки и баланса (двойного маятника) — это часть часового механизма, преобразующая энергию главной (заводной) пружины в импульсы...»

Проще говоря, схема такая: ствол, подающее устройство, магазин с патронами-желудями. Лента — плотная ткань, простроченная с двух сторон, в пазы вставлены желуди, механизм выталкивает их поочередно в ствол.

Можно было покопаться у деда в гараже в старых железках — там запросто мог обнаружиться ствол и все необходимое. В крайнем случае выручит сосед из дома напротив, старьевщик Семен.

Семен был человеком необычным и странным. Во-первых, необычной была его профессия, в которой не было ничего героического, когда все вокруг занимались освоением космического пространства. Во-вторых, странным был он сам, внешне похожий на Герасима, вернувшегося после вынужденного злодеяния над утопленной Муму: черный, бородатый, бельмастый на правый глаз и громадный. Руки большие, зубы редкие, молока попьет — сразу спичку в зубы, а если иногда и заговорит, то по-доброму мыча или предупредительно порывкая, если очень расстроится. Родом он был из деревеньки со странным названием — Хлебари. Не хлеборобы и не прихлебатели, но и не хлеборезы, получается.

Собирал он старые тряпки, кости, железяки, свинцовые пластины от аккумуляторов, ненужную проволоку. Принимал даже кривые и помятые гвозди, вынутые со скрежетом гвоздодером из досок, всякую мелочь — в общем, все то, что дома оказалось не нужным.

Дом у него был угловой, добротный, стены двойные, для утепления просыпаные промеж стенок мелкой изгарью. Двор казался большим. Но главной достопримечательностью была конюшня — с яслями, свежим, душистым сеном и первейшим для нас чудом, смиренным коньком, Соколиком, на котором Семен выезжал собирать свое барахло или вывозить его на неведомую нам «базу».

Конь был почти белым, местами покрытым темными пятнами, глаза — цвета спелой терновой ягоды, зеркально-матовые. Если всмотреться, можно было увидеть себя, будто в кривом зеркале. Мы любовались и восторгались конем, приносили хлебные горбушки с солью, чтобы потом погладить бархатный на ощупь бок.

— Чубарая масть, — говорил довольный Семен.

Я думал, масть так называется из-за того, что грива, хвост и чуб у конька были темнее.

Семен молча, неторопливо обихаживал коня, что-то выговаривал ему. Тот прядал ушами, будто стряхивал с них невидимое другим, но был послушным, справным, ржал под настроение и откладывал душистые «яблоки» где вздумается. Почему-то пахли они приятно — возможно, из-за сена.



Двор был пуст, свободен от всякой зелени, утрамбован многими ногами, обнесен высоким забором. В углу — навес, под ним было разложено кучками все то, что сносили сюда и отдавали хозяину за копейки на кино и мороженое. А еще — пистоны ленточные и штучные, для совсем мелких — свистульки расписные, «уйди-уйди», издающие ужасные и потешные вопли из тонкой трубочки, чудо-калейдоскоп — труба, похожая на подзорную, но с цветными стекляшками. Ее надо было просто приложить одним концом к глазу и немного поворачивать. Ну и прочая мелочь, что по теперешним понятиям ерунда, а тогда — настоящие сокровища, хранившиеся в большом фанерном чемодане, разложенные по отделениям. А еще — рыболовная леска и крючки. Это всегда было в цене.

Пацаны были основными поставщиками Семена. Но если они притаскивали с автобазы неподалеку замазанные запчасти или им удавалось тайком уволочь что-то с завода гидравлических прессов, он страшно и страстно, впадая в косноязычие, выговаривал добытчикам и требовал снести обратно. Мог и подзатыльник написать — легонько и не зло.

Самым примечательным, ужасным и таинственным для нас было то, что Семен оказался верующим! Конечно, он не стучал себя в грудь кулачищем, не кричал об этом, но все свои знали. Спросить напрямую, впрочем, мы побаивались.

Семен соблюдал пост, регулярно посещал церковь, где был старостой, — странная и нелепая, применительно к нему, должность. Я скорее поверил бы, что он играет в народном театре ремонтного завода Карабаса-Барабаса в веселой постановке «Буратино».

Он приходил к нам в гости после Великого поста, всенощного бдения, освящения куличей в храме. Уже в легком подпитии, был он весел, странно смеялся. Громоздкий, занимал половину кухни — в валенках до колен, самодельных галошах из автомобильных камер, в тулупе и малахае, с сизым от холода лицом, — весна в наши края не спешит.

Иногда он вдруг начинал страшно материться непонятными словами, впрочем, делал это всегда виртуозно и тогда, когда не было поблизости детей. Мама угощала его холодцом с горчицей и тихо укоряла:

— Что же ты — из церкви, а матюгаешься...

— Зря я, что ли, десятину снес в храм, поклоны бил, куличи оставил батюшке, каялся, слезьми изошел, взопрел-избанился, даже спина досель не высохла!..

— Ты же верующий, Семен, а сквернословить!

— Сегодня день такой... Я-то верующий, но я не фанатик... Принимающий веру не по вере — тот фанатик, а истинно верующий — он противоречив и склонен к ошибкам. А ведь и покаяться вовремя — какая это сла-адость! — зажмурился он. — Вы того даже понять не можете! Я после соборования и сам могу грехи отпустить, а не делаю этого, рано еще. Как только мне шепнут оттуда, — он показывал черным, кривым пальцем в потолок, лицо светлело, — так и сподоблюсь! Прости, Господи!

Мне становилось страшно от его убежденного тона, и я замирал, сидя в соседней комнате, пугался, не представляя, что там, наверху, что-то еще может быть, кроме атмосферы, облаков и космоса.

— Не слушайте вы его, — поправляла дымчатую пуховую шаль Катя, жена Семена, женщина миловидная, по-своему красивая. Мне было невдомек, чем ей пришлось по душе такой страхолюдина. — Он же блаженный, разве не видно! — извинялась она.

— Блаженны нищие духом! Ибо они наследуют царствие небесное! Это значит, что я свою гордыню должен выкорчевать во благо другим людям. Да, все едино, ниче ты не поймешь, голова бабья! Айда, матушка моя, разговляться, семь недель света белого не видел!



Запах еще долго оставался в доме — снега, прелой шерсти, овчины, дымного коистра. И легкого перегара. Все они уживались, не противоречили друг другу и настроения не портили.

Между прочим, возможно, именно сочетание веры и такой вот... *профессии* было причиной снисходительного к нему отношения со стороны строгих надзирающих органов — что с него взять, блаженного.

С помощью его закровов и была у меня надежда создать вожделенный РПЖ. Как-то сразу подумалось, что нужного качества ствол я у деда точно не найду. Он должен быть достаточно длинным, от этого зависела дальность и точность стрельбы, и гладким, конечно. И не нарезным. В этом я уже тоже начал разбираться.

Я поговорил с Семеном, не раскрывая план и проект. Сказал, что труба нужна для телевизионной антенны на крышу — мол, та, что есть, она низковатая, слабый прием сигнала. Он все обещал, сулил, тянул, несколько раз уточнял сечение, толщину стенки, но не спешил, не спросив даже, почему с этой просьбой пришел я, а не отец.

Я купил тяжеленный вузовский учебник, обложился справочниками, нашел качественную пластичную резину, перепроверил много раз расчеты. Все складывалось нормально, задерживала только труба. Время от времени я забредал на двор Семена, да все неудачно — то его не было, то он был занят, то случалась еще какая-то несурезица.

Дело шло к осени. Скоро с каникул должны были вернуться мои друзья и враги — и было бы здорово встретить Коляна во всеоружии, задулив ему прямо в лоб очередь из желудей. Я представлял, как он падает на колени, крутится юлой в пыли, а я смеюсь... Потом мы, конечно, замиряемся.

От предвкушения меня даже знобило.

Как-то в середине августа я вновь появился во дворе Семена. Было тихо. Набралось храбрости, поднялся осторожно на крылечко и зашел в дом. В каменном доме было прохладно и чисто, всюду были разложены полосатые половички-самовязы, которые Катя *вынянчивала* крючком. Ступалось по ним неслышно, будто и не ногами шлепаешь, а на мягких кошачьих лапах крадешься. Еще везде по дому были цветы, красивые, ярких оттенков.

Редко кто из соседей сюда допускался, а уж пацанам дорога была и вовсе заказана. Вхож был разве что худосочный сын Семена, Ваня, полная противоположность отца, тихий, пришибленный. Божий человек, взирающий на все вокруг отстраненно и философски, сам болезненный и прозрачный.

Окна были прикрыты плотными занавесками, царил полумрак. Толстые стены берегли прохладу. В углу теплилась лампадка возле небольшого иконостаса. Огонек плясал, колебался, отчего выражение лица менялось, то делалось строгим, а то тепле-ло легкой улыбкой, словно принимало и слышало слова, обращенные к нему.

Семен дыбился на полу темной горой, лицом вниз, перед иконой, раскинув руки, тихо плача, не утирая слез и горячо что-то рассказывая писаному лику. И так странно и складно звучала его речь, являя совсем другого человека, вовсе не прежнего мычащего нетопыря, что я даже засомневался, он ли это.

— Прости Ты их, деток неразумных! В горячности, в болезнях и ересях их души, не ведают они, чего творят. Ложь до небес, нелепица вселенская от непрестанной неправды и обмана! Жизнь свою коверкают и коротят! Счастливы радостью безумцев, не ведающих в гордыни, что говорить и как к Тебе обратиться, Господи! Срам один лишь только... Прости Ты их, Господи, и меня прости... Слаб человек, немощен от безверия и печали, потерялся среди таких же слепых, глухих и незрячих, и не знают истцы ответа, взывающие к Тебе, кто же они сами, но дерзят и язвят Тебя глупостью, вопрошают, бестолковые, кто Ты, Господи... Прими мои муки и вразуми их, Господи!..

Я тихонько вышел, вернувшись в ясный, белый день, по-осеннему теплый, к закату прохладный и грустный.

Наступила школьная пора. Учеба отвлекла от безделья, РПЖ теперь стал казаться детской, странной причудой.

К Новому году я по росту догнал сверстников. Мама удивлялась такому скорому взрослению, расстраивалась, что вдруг приходится менять весь мой гардероб, а ведь все это недешево...

— Что ж поделать. Всему свое время...

Чтобы убедиться в теперешнем своем взрослении, я подрался за школой с Жемой Иванниковым, перворазрядником по вольной борьбе — и одолел его. После этого кличка Шпендрик сама собой забылась.

Под Рождество случилась сильная вьюга. Она страшно выла разными голосами; мело несколько дней так, что в школу мы не ходили.

Скучая, я решил написать пьесу про революционеров; расхаживал по дому с блокнотом и карандашом, чтобы немедленно записать любые гениальные идеи. Мне ясно виделась сцена расстрела большевика, в исподней рубахе до колен, с темными пятнами от побоев, но с гордо вскинутой головой. Вот он медленно опускается на снег, не побежденный врагами...

В этот момент мама принесла нехорошую весть — Семен пропал. Сарай его был приоткрыт, самого хозяина нигде не было. Может быть, судачили, поехал в деревню, да заплутал в метели, сбился с пути, сгинул и погиб в степи вместе с конем, чубарым Соколиком...

Зима в тот год была морозной и необыкновенно снежной — сугробы заползали даже на крыши. Бурная, скоротечная весна разом превратила все эти снежные громады в лужи и ручьи.

Семена обнаружили между забором и сараем. Он сидел, прислонившись к стене, в бордовой, как спекшаяся кровь, косоворотке, положив руки на колени, слегка нагнувшись вперед — черный, страшный и распухший.

Коня так и не нашли.

Я на похороны не пошел — боялся поверить.



БЫЧЬЕ СЕМЯ

Зоологическая быль

— Семенем я бычьим торгую, — произносит Федор, и все вокруг замолкают — шутит, что ли? Не замечали за ним никогда... Да нет, лицо серьезное — какие шутки!

Федор сидит в центре стола. В правой руке вилка с соленым грибочком. Черный груздь. В левой — рюмка с водкой. Запотела рюмка.

За встречу!

— Да, — опрокидывает он в себя и морщится — гадость та еще. — Такой вот бизнес у меня с партнером — добываем семя бычье и продаем. Хорошее дело, выгодное.

Федора я не видел пятнадцать лет. Как закончили школу в восемьдесят втором, так и отрезало. А на дворе девяносто седьмой уже.

Здоровый, ядреный, как соленый огурец из банки, хрусткий, на щеках розовый румянец, словно на морозе в снежки играл. Голову держит немного книзу. Росту под два метра, сутулится оттого. Молодой бычок, в общем.

Как раскидала школа нас всех после десятого класса, так и не собрались ни разу по-настоящему. Сначала, правда, пытались на линейку первого сентября приходиться, на последний звонок. Созванивались... Придешь? Приду. И Вовка придет. И Сергей с Верой. Не знал, что они теперь вместе? Буду-буду! Ну да, к началу... В первый год десять человек пришло, это из класса-то, где под сорок училось, во второй раз — уже пять, потом три... И развалилось все... Извини, не могу, ребенок захворал... Я же переехал, мне неудобно теперь, далековато... А я в командировке, в другой раз... Не будет, говоришь, Сереги, тогда какой смысл мне приходиться... Вот и все. Как футбольным мячом по конструктору «Лего». Разметало каждого по углам. Кого-то потом в институте видел: привет, ну как?... а, на пару торопишься, ну давай, надо как-нибудь собраться, созвонимся, ага... Кого-то в магазине случайно: это... это Маша, жена моя, ну да, семью завел, дети скоро... Игорь Москву покорять отправился, Боря — Израиль. А Федор... Федор совсем пропал. Вроде был человек — и испарился. Как загремел в армию после школы, один со всего выпуска, так о нем больше и не слышали ничего. Только поговаривали, что после службы обратно к себе в деревню подался, колхозничать. Замкнуто живет, как суслик в норе, без новостей. Да и какие из колхоза новости могут приходиться, там новостей всего две — неурожай и засуха.

Федор в нашу школу из села попал. Деревня Федуловка какого-то района... или что-то в этом роде. Там бы, наверное, и остался аттестат получать, только вот батя в судьбе его все перевернул. Завод один известный, который комбайны выпускает, в нашем городе то ли филиал открыл, то ли конструкторское бюро. Специалисты им понадобились — те, что в комбайнах разбираются. А батя Федора, как выяснилось, в



комбайнах дока самый что ни на есть. Вот его и пригласили инженерам помогать. В колхозе своем Иван Ильич на доске почета висел без малого двадцать лет. Только фотографию меняли иногда — поначалу каждый год, потом уж раз в два года, чтобы изображение оригиналу соответствовало. А потом и менять перестали — и так все знают Ильича. Так бы до пенсии и провисел, но тут завод этот... В общем, сняли батю с той доски и в город перевесили. Вот квартира тебе, вот место рабочее. Семья, понятное дело, следом. Так Федор и стал городским жителем.

На пятнадцатилетие выпуска Федор на «мерседесе» приехал. Тогда впервые почти все прибыли. Кто на такси, кто на трамвае, кого супруг подвез. А Федор — на «мерсе». Внедорожник, белый весь, аж глаз режет до зажмура. Не развалюха, каких немало в начале девяностых народ себе понакупил, нет — новая. Видать, последняя модель, денег серьезных стоит.

Заудивлялись все, побалагурить решили, посмеяться над приобретением таким. Федор-то, колхозник наш, ишь чего... Ты, Федор, чем вообще занимаешься-то?.. Коноплю, что ли, на огороде растишь вместо картошки?.. Твоя тачка, Федя, или в аренду взял на час?..

В «мерседесе», между прочим, еще и водитель сидел — в очках, в перчатках, с пробором ровным. Строгий на вид, как учитель школьный при ученике-шалопуте. Как увидели такое — перестали смеяться. А Светка и вовсе губу закусил. Федор-то к ней с первого дня неравнодушен был. А она...

— Может, дождешься меня, пока из армии приду? — прощался он с ней тогда. — Свадьбу сыграем... семья, дети. У меня в деревне дом остался, огород, хозяйство...

Светка, поговаривали, в сторону нос; помада на губах, на ресницах тушь, в голове каблучки-платочки — дама городская, а тут увалень в стоптанных башмаках. От ворот поворот, как говорится. Он бы еще в валенках пришел женихаться, деревня... А сейчас сидит Светка, лица на ней нет. Муж — неудачник, пьяница; говорят, бьет. А тут Федор на «мерседесе». Тьфу, дура!

— Не, не коноплей, — смущается Федор. — Семенем бычьим, вот. Машина? Машина моя, купил недавно, ездить много приходится — по области, в колхозы, а дороги там, — рукой машет, — сами знаете, какие там дороги... А с водителем — это чтобы выпить со всеми вами нормально за встречу... Сколько лет уж не виделись... А если потом подбросить, развезти кого, то подброшу...

Тут все рты пооткрывали — ай да деревня!

У Федора костюм светлый летний в клетку, галстук, ботинки белые, носки. Модный парень — по тем-то временам. Хоть не парень уже, мужчина за тридцать. А в школу когда пришел, в девятый класс, земля была под ногтями, стрижка под горшок, на лбу неровно слегка — мамка торопилась, отхватила лишнего. Кофточка, вязанная из серой шерсти. И заплатки на рукавах — там, где локти торчат. Протерлись, видать. Колхозник и есть, права Светка. Еще ему чубчик на горячем гвозде навернуть из-под кепки и гвоздику в нее.

— Это Федя, знакомьтесь, новичок, будет учиться в нашем классе, — произнесла учительница, — он вместе с родителями приехал к нам из деревни.

— Федя, Федя, новичок, недорезанный бычок, — такой стишок срифмовал я тихонечко, но услышали его все, естественно. Класс прыснул.

Учительница глянула на меня с укором:

— Саша!

Да ладно, не со зла же — так, вместо приветствия...

Так и привязалось за ним потом — бычок да бычок. Ведь и правда похож, сам знает. После-то и обижаться перестал, а тогда... Яблоки розовые на щеках вмиг созрели до красноты, вот-вот упадут осенним урожаем, подол подставляй.

Посадили его на последнем ряду, за соседнюю парту. Куда еще дылду такого сажать, всю доску загородит. Федор сел шумно, бросил портфель на пол, зыркнул в мою сторону и дал мне в репу. Нет, не сразу дал, конечно... потом, после уроков. Хороший у него удар, поставленный. В деревнях так драться не умеют.



Так мы и подружились. А чего нам делить — не Светку же. Не в моем она вкусе. А что в репу дал, так это по делу, я ж сам его первым обозвал. Впрочем, без фингала и он не остался, неделю светил.

Учился Федор так себе. Зато стабильно. Три, три, снова три... Будет дырка. Бывало, и до двойки протирал. Тут же просто все, говорил я ему, вот интеграл, вот функция. А он только руками разводил:

— Хорошо вам, городским... Встааете вы дома утром — завтрак на столе, мать постирала, погладила, убрала все. Школа во дворе или через дорогу перейти. Вечером — кино, дискотека. Малина, не жизнь. А мне... Я с шести лет дома один. Батя с утра на работу — в шесть уже косить, пока не жара. У матери тоже дойка утренняя, до рассвета еще. До школы пять километров в райцентр — пешком все, пешком. Туда час, обратно — столько же. В дождь, в снег... Из школы пришел, картошки навернул с салом — и во двор, работать. Тут за свиньями убраться, там кур покормить... Где на все время найти? Приходится учебе в ущерб. Сперва сестра помогала, потом замуж выскочила, в другой город улетела... Потому и подотстал в учебе — некогда мне в деревне с интегралами возиться было.

Так потом Федор и учился-мучился. Ладно, учителя ему все прощали, тянули даже. Да и бате Героя Социалистического Труда дали, депутатом стал. Не выгонишь же из школы сына такого человека... А потом наладилось как-то — деревенская хватка, видать, сказалась. Да и я списывать давал...

Теперь рядом гарный парень стоит. Над столом возвышается... как Джомолунгма. Рюмка в руке — словно наперсток, не заметишь. За Федором тост. Примолкли все.

— Мы — единственные в области, кто продает за рубеж бычье семя, — говорит Федор. — У нас оно сертифицировано в соответствии с международными требованиями. Семя, в смысле... Так вот... Про что это я... забыл... А-а... за начало начал, стало быть! За него, за семя, основу земли нашей русской! В семени — сила! Вот.

Опрокинул рюмку и побряхтел... Пелевина, видать, начитался. Если вообще фамилию такую слышал в Федуловке своей. А речи-то произносить так и не научился. Девчонки в кулачки прыснули, а парням-то что... Ну и дальше пошло — рюмка за рюмкой, рюмка за рюмкой... Да здоровствует семя... И Федор тоже... да здоровствует. И только Светка в углу сидит, молчит. Всю губу искусила, да до крови... И о чем раньше думала, дура.

Не люблю я эти посиделки школьные, что десять лет спустя. Потом двадцать... пятьдесят... Приходишь — и видишь: эта постарела, эта тоже, у того — одышка, лишний вес. У девчонок морщины под глазами, у парней — седина, живот. Ты вроде еще вчера Алку любил, дышать не мог, пораньше вставал — и бегом к школе. И на заборе, возле которого она пройти должна через десять минут, крупными буквами, мелом, торопясь — неровно, да не беда — писал: «Алла + Саша = любовь». И оглядывался, не увидел бы кто. Написал — и за угол, ждать, как пойдет. И вот она... да не одна, с подружками. Остановилась на секунду, посмотрела, прочитала, глаза щелочкой сделала. Улыбнулась — и дальше пошла. И ты тут невзначай: ой, привет, привет... В школу? Пошли, нам по пути... Хочешь, портфель понесу?..

А сейчас... Вот она, сидит... Раздалась вширь, волосы заколола впопыхах, под глазами круги, замазать тональным кремом не удалось. Двое детей, муж бросил, весь дом на ней. Строишь и думаешь — а где та, которой записки в школе писал, делась куда?! Вроде и она, а уж не та...

Но это, может, только я так и переживаю. А остальным — им все равно. Сидят все, захмелели совсем: а помнишь то, помнишь се?..

— Фейд, давай по-английски отсюда, не прощайся... Водителя своего отпусти, пусть домой едет. Прошвырнемся по улице — как тогда, в десятом, после выпускного...

* * *

— Я ведь звонил тебе как-то. — Мы идем с Федором по начинающему засыпать городу. — Хотел в гости позвать, в деревню к себе, в хозяйство. Я же колхозник. Помнишь, как ты меня тогда приложил?

Я машу рукой: кто старое помянет...

— Я не в обиде, — успокаивает Федор. — Я ведь как колхозником был, так и остался. Только название поменялось... как это... фермер или предприниматель. Настоящие-то колхозники перевелись давно — кто спился, кто в город на заработки подался. Живу я в деревне, дом у меня там с огородом, куры во дворе... Бычки вот теперь. И даже грязь под ногтями та же, не вытащить ее уже никогда. Только костюм в шкафу теперь висит. Даже два. Один летний, второй — зимний... Так вот, звонил с полгода назад. Хотел к себе пригласить. Только меня тогда секретарша твоя бортанула. Занят, мол, я передам, оставьте свои координаты.

Наташа, понятно... Я зачем-то представляю, как Федор пытался мне позвонить. Он набирает телефонный номер приемной — нашел в справочнике. Занято, еще раз занято, еще... Наконец повезло. На том конце провода трубку снимает Наташа. Ее голос холоден, но вежлив: алло, вас слушают... Я одноклассник, объясняет мужчина, мы пятнадцать лет не виделись. Руководство сейчас занято, идет совещание, они не смогут поговорить с вами. (Почему руководство всегда во множественном числе?) Передайте ему, что я приглашаю приехать ко мне в деревню. Зачем, спрашивает Наташа, объясните, пожалуйста, зачем, я тогда доложу. Какое-то время на том конце провода тишина. Алло, алло, она уже хочет повесить трубку, но он все же отвечает: кхе-кхе, как бы это выразиться, чтоб вы меня поняли правильно... Я хотел бы продемонстрировать, как мы получаем бычью спе... ой, извините, бычье семя... И снова тишина. Что-что, спрашивает Наташа, и в ее голосе, как в коктейле «Б-52», к холоду подмешиваются искры, осталось только поднести спичку. Наверное, ей послышалось — *что* добывают?.. Голос в трубке смущенно повторяет — бычье семя... это... которое... ну-у... то самое, из которого телята. Твою мать, кричит Наташа, вы там что, все совсем охренели — почему тогда в деревню, почему не на экскурсию в публичный дом?! Но кричит Наташа про себя, внешне она по-прежнему вежлива. Она ценит свою работу, ей за нее неплохо платят. Я передам все руководству, сообщает она Федору. Оставьте Ваши координаты.

— Я и оставил, — пожимает плечами Федор.

Прошло уже полгода... Черта с два передала!

* * *

Мы идем через парк. У каждого в руке по бутылке пива. И откуда оно взялось, ведь вроде выходили пустыми...

Про бычков и их семя Федор может говорить часами.

— Я ведь насквозь деревенский парень, — Федор немного смущается. — Ты ж помнишь... Хотя на выставку достижений народного хозяйства выставляй. Если б не батя, в город и не сунулся бы вовсе. Как школу закончил, так сразу в армию, долг родине отдавать. Это городским — лишь бы откосить, а мы-то приучены, для нас, деревенских, служба — норма. Из армии пришел, осмотрелся — на селе работы никакой. Поумирало все. Подумал я, подумал... и в политех на механический поступил — в армии-то все больше ремонтом машин разных занимался. Только закончил, а тут и перестройка подоспела, кооперативы первые, челноки. Выживать надо, семью кормить, а я уж женился к тому времени, сынишку родили. Начинать как все — возил, продавал все подряд, от сигарет до мебели. Деньжат даже накопил каких-то... Все думал, куда положить. А потом познакомился с одним сумасшедшим — это мне так в то время показалось. Он все какие-то истории про бычье семя рассказывал — мол, есть такие особые племенные быки, герефорды и ангусы, но не те, что у нас по деревням бегают, те маломерки беспородные. Племенных специально разводят; они... как собаки породистые... или кошки... или нет, жеребцы — им и цена в десятки





раз больше, чем у наших бычков. Тот сумасшедший и литературу мне принес про них. Быки эти, я тебе скажу, минимум тонну весят. Здоровущие: взглянешь — и полное онемение всех четырех конечностей наступает. Потомство от них другое совсем, крупнее и выносливее, да и у мяса вкус другой; ну и качество... А если от быков этих телушки рождаются, то удой у них больше раза в два от обычного. В общем, быки эти улучшают породу — вот главный итог. И на селе нашем они нужны, спрос на них огромный, да и не только на нашем селе — даже иностранцы готовы за них платить. Так вот... Бычков этих, производителей, купить несложно. Они и в Америке на продажу есть, и в Канаде... да и поближе, в Европе, можно уже найти. Только дальше-то что? Привозишь ты его на ферму, в стойло ставишь — и что дальше?... Как же он потомство-то будет производить? Нет, конечно, можно все естественным путем делать, телушек бычку одну за другой привозить — пусть деньги отрабатывает. Представляешь картину: просыпается бычок поутру, глядя на двор, а там... Вот тебе, пожалуйста, из такой-то деревни от бабы Мани Пеструшка. Вот от Зинки Буренка. Эти двадцать штук одинаковых и безымянных, с номерами на боках, колхозные будут. А вот эту дед Михай подогнал. И — очередь у амбара. А ведь все новых приводят... Кто последний?... Просили не занимать! Или — девочки, подождите немного, у товарища рогатого послеобеденный отдых. Они-с сегодня не принимают... А если он обленится совсем?! Может же такое быть?... Да запросто! Это ведь еще не факт, что он каждую приведенную покроет в тот же день — они, бычки эти, страшно привередливые порой бывают, победительницу конкурса красоты в Псковской губернии им подавай. У меня в детстве собака была — овчарка, кобель. Мы его на случку водили. Так он пару раз отказался — не нравилось ему что-то. Вот и с быком такое может быть. А главное, что естественным путем быку в год больше пятидесяти коров не покрыть, такая у него, понимаешь, физиология. Это я в книжках прочитал. То есть, в пересчете на дни, одна, так сказать, случка в неделю, прошу прощения за жаргон. Маловато будет — с учетом непомерных расходов на его транспортировку из Канады. Рентабельный, по-нашему, бизнес получается. Вот и придумали всякие умные люди хитрые современные технологии, как у быка семя забрать, сохранить его и до соответствующей коровы довести в целостности и сохранности. Как видишь, проблемы здесь три. Самое простое — это хранение. Там все еще до нас придумали. Семя в жидком азоте держат при температуре минус сто девяносто шесть градусов. Оно лежит себе, как в анабиозе, и ждет, когда ему разрешат активизироваться. Хранить это семя можно хоть сто лет — главное, чтобы температурный режим правильный был, влажность и остальное. А как понадобится кому — пожалуйста, искусственное оплодотворение крупного рогатого скота в условиях отдельно взятой деревни. Это тоже все давно работает. Наука целая. И не надо ждать, когда у бычка с телушкой все наладится и они соизволят друг с другом... ну ты понимаешь. И таскать быка на веревке по области не надо, и коров тоже не надо ему привозить. Никакого насилия, в общем. Так что дед Михай со своей Буренкой могут быть спокойны. Все, можно сказать, дистанционно, просто — вот телушка, вот семя замороженное. Получите, распишитесь. Корова ваша — семя наше. Хоть диэйчелем заказывай, хоть почтой, хоть по Интернету, у кого есть. Деньги заплатил, семя получил, а дальше — дело техники. Техника мне неизвестна, да и не мое это дело. Там другие мастера ребята, врачи ветеринарные. Для меня главное — семя до адресата доставить.

— В общем, уговорил меня этот сумасшедший, — продолжил Федор. — На деле-то он биологом-генетиком оказался, доктором наук. Короче говоря, создали мы с ним фирму, малое предприятие, он да я; я — главный, однако, потому как деньги мои, на продаже сигарет честно нажитые. Взяли землю в районе в аренду, построили загон для бычков, лабораторию, персонал наняли. Ну и двух бычков купили в Канаде. У них цена заоблачная была, словно мы не быков покупали, а скакунов арабских или... «мерседес» тот же. Я, когда последние счета оплачивал, чуть от жадности не подавился — мне все казалось, что надули меня. В общем, решил, что потерял деньги свои. Оказалось, что нет! Биолог мой неделю в лаборатории похимичил, в одно место позвонил, в другое... К нам вначале немцы приехали, потом голландцы. Потом он председателей всех



ближайших колхозов объехал, самогона с ними попил. Даже к вице-губернатору на прием попал. Короче, сбыт наладил. И все... пошел *бизнес*. Поначалу ни шатко ни валко, а потом... как раскошегарилось, только угольку докидывай. Мы теперь этого семени больше, чем бабка деревенская семечек подсолнечных на базаре продаем. Очередь у нас — месяца на три. Вся семья расписано, каждый грамм. В области мы пока единственные по семенной части. Да и в стране таких немного. Расширяться хотим... Я на будущий год еще двух бычков выписываю. Герефордовской породы.

— Стой! — вклинился я. — Ты про хранение рассказал, про оплодотворение тоже... А про главное-то чего молчишь — как у быка семя забрать? Это же не молока крынку надоить, за соски не подергаешь.

— Вот, — поднял вверх обе руки Федор, — вот тут мы и подошли к сути. — Он сделал последний глоток, оглянулся по сторонам, обнаружил неподалеку мусорный бак и аккуратно опустил туда пустую бутылку. Моя тара отправилась следом.

Сюрность момента поражала: парк, двое пьяных говорят о бычьем семени. Хорошо хоть улица была пустынна.

— Саму технологию получения семени у *донора* — это так мы бычка по-научному называем — держат за семью печатями. Изначально, конечно, мы хотели приобрести ее вместе с оборудованием, но столкнулись со сложностями. Оказывается, в Канаде и США есть какая-то доктрина о продовольственной безопасности, из-за которой мне наотрез отказали в продаже технологии осеменения. Это, объяснили, ваше личное дело, мы только бычками торгуем, а не государственными секретами. Вот вступите в ВТО, тогда... А когда мы в нее вступим — это ж одному богу было известно. Мы уж, честно говоря, хотели от контракта отказаться — зачем нам вся эта техника криогенная, когда нет главного — понимания, как у бычка семя забрать. Но тут уже моя очередь наступила. Вернул должок профессору, не все ему деревенским мозги пудрить. Не зря же я «механку» заканчивал. В общем, решил я изучить проблему семяполучения досконально.

Федор достал из кармана пиджака сигарету и раскурил.

— Сам знаешь, с человеком все проще. Пришел в лабораторию, картинки там по стенам висят всякие, кино, музыка соответствующая... А чем бык от человека отличается? Представь себе — ничем! Неделю в библиотеке я прожил, всю специальную литературу перелопатил, все, что связано с бычьей физиологией, изучил. В колхозе в загоне часами сидел, с быком разговаривал. Доярки, небось, решили, что я рехнулся совсем. Представляешь, картина: коровник, мужик двухметровый на перевернутом ведре, ноги подогнул — и у быка промежность изучает. Но не зря я тогда время потратил, не зря. Сам теперь профессором в этом деле стал — лекции читать могу. В общем, сделал я прибор, сам сделал — вначале один собрал, а потом уж, когда на быках все протестировали и недостатки всякие исправили, небольшой партией эти приборы выпустили, для внутреннего, так сказать, пользования. Вскоре, кстати, канадцы проснулись, начали письма писать, что, мол, доктрина изменилась, они готовы продать секреты за какой-то там миллион миллионов — а нам уже без надобности, свой есть. Сегодня прибор этот — наша гордость главная, камень краеугольный, без него все производство рубля инвалютного не стоит. Когда мы с профессором испытали все и результат получили, то даже тройную защиту на ферме сделали, круче шереметьевской таможи. Но потом, когда запатентовали, расслабились — пусть приходят, покупают, нам не жалко. Но, честно говоря, здесь рассказывать про наше ноу-хау несподручно. Это как... как если б я балет «Щелкунчик» тебе объяснять словами начал. Тут видеть надо! Совсем другой будет эффект. Так что... милости просим ко мне, на ферму, тогда все вопросы сами отпадут. Приедешь?..

* * *

Ферма Федора состояла из двух вольеров, административного корпуса с пристройкой и большого огороженного пастбища.

— Быки в вольерах живут, — объяснил Федор, — у каждого свой — теплый, светлый. Все условия. У иных людей жизнь похуже будет. Мы бычков моем с мылом



каждый день, щеткой расчесываем. Чайковского ставим во время кормления. Штраус хорошо идет, вальсы, и Моцарт. С остальными композиторами хуже дела обстоят. Один раз решили поэкспериментировать, профессор мой исследования проводил для монографии «Влияние музыкального сопровождения на процесс эякуляции». После одного такого эксперимента чуть не потеряли мы бычков. Все нормально поначалу было, играло что-то легкое, мелодичное, а под конец профессор Шнитке поставил, Альфреда. Две вещицы подряд — «Жизнь с идиотом», оперу в двух частях, а сразу за ней — ораторию для хора и симфонического оркестра «Нагасаки», в шести частях. Корма он тогда навалил быкам и по нужде пошел. Хотел на пять минут, а тут живот прихватило — весь в работе, всухомятку ест. Приходит — еще вторая часть оратории не закончилась, а бычки оба-два на земле лежат, пена изо рта. Чуть не потеряли мы их тогда. Наука, мать ее... Я сам Шнитке потом слушал, — сделал серьезное лицо Федор. — Жестковато для меня. На любителя композитор. Точно — не для крупного рогатого скота. Но все мелодичное на быков исключительно позитивно влияет. Так вот... в вольерах у нас быки живут. В административном корпусе, собственно, лаборатория, а в пристройке — полигон.

— Что? — спросил я.

— Полигон, — повторил Федор. — Это мы так его называем. Испытательный полигон. Место для забора семенного материала, так сказать. Увидишь сейчас. Все сразу понятно станет.

Федор завел меня в чистое помещение.

— Одевай шапочку, халат и бахилы — все как в больнице. Любой микроб, занесенный со стороны, или иная зараза могут сильно все испортить. Быки — они нумерацию мировую имеют. Как собаки породистые. На каждого — сертификат. Без сертификата бык в цене сразу теряет больше половины стоимости. У него, как у «мерседеса», книжка гарантийная: техосмотр, обслуживание, страховка. Если заболел, то необходимо запись в медицинской книжке делать. Можно, конечно, не делать... но если узнает кто, что болезнь была, а ее не записали, и в международную федерацию сообщит — быка списывать можно. Да что быка — на всю ферму штраф, а то и отзыв лицензии на торговлю. Но даже если все по правилам сделал — и бык выздоровел, и запись есть, то все равно болезнь на бизнес сильно повлиять может. Это пока мы единственные в регионе, нам многое с рук сходит. Но только пока... Дальше будет конкуренция. И чем здоровее окажется бык, тем выше стоимость его семени. Короче, быку лучше не болеть.

Мы зашли в административный корпус. Оба в шапочках и халатах, будто хирурги перед операцией. Несколько шагов по лестнице, потом наверх половину этажа, потом немного по коридору — и вот нужная дверь. Федор ее осторожно открыл — и мы оказались в большом зале со стеклянной перегородкой в центре. За ней были люди, тоже в халатах, медицинских масках, тонких резиновых перчатках. У каждого видны были огромные очки на пол-лица.

— Лаборатория. Международные правила, — объяснил Федор, — иначе нельзя. Из агентства, которое сертификаты выдает, раз в год приезжают проверять.

Вторая половина зала немного напоминала школьный спортивный зал. Доштатый пол, стены выкрашены в синий цвет, окна без занавесок. Посередине — козел, будто мы в школьном спортивном зале. Каждый в школе прыгал через такого.

— Разбегаемся, — кричал нам физкультурник, — за метр до козла вытягиваем руки вперед, упираемся в него и, сохраняя их прямыми, через козла перелетаем! Не бойтесь, не упадете, я буду вас страховать.

Физкультурнику было за пятьдесят, страховал он только девочек. Девочки учились в девятом классе, им исполнилось по пятнадцать. Физкультурник подхватывал правой рукой нижнюю часть спины каждой прыгуньи и не отпускал ее до момента приземления по другую сторону козла. Некоторым девочкам это нравилось. Они глупо улыбались и после прыжка убегали в угол спортзала шептаться с подружками. Через полгода физкультурника перевели в завхозы. Причину никто не знал, сам же он предпочитал на эту тему не распространяться. На освободившееся место присла-



ли какую-то девицу, сразу после института, мастера спорта по волейболу. Выступала она за область. Говорят, большой спорт девице пришлось бросить из-за груди — на блоке она постоянно задевала сетку, после чего подача переходила к сопернику. Именно так на первенстве страны грудь не дала нашей области победить в финале. Через козла, впрочем, грудь прыгать не мешала. Теперь на нового преподавателя заглядывались мальчики.

— Разбегаемся и сильнее отталкиваемся — не бойтесь, я вас страхую! — кричала она им.

Мальчики разбегались с удовольствием. Некоторые — по два раза. Можно я еще раз, говорили они, у меня первый раз плохо получилось. Девочки по-прежнему шептались в углу. Только лица их были напряженными...

Козел смотрелся изрядно потрепанным, в нескольких местах из него торчали обрывки поролонa. Сверху была наброшена попона; поеденная молью, выдавшая виды, она перевешивалась с одного его бока на другой, создавая иллюзию седла. К задней части козла — а какая часть у козла задняя? — была то ли привязана, то ли пришита-приклеена обыкновенная мочалка из лыка.

— Это хвост, — объяснил Федор, — тактическая уловка, имитация...

— Зачем? — спросил я удивленно.

— Сейчас увидишь, — подмигнул мне Федор и помахал кому-то — вводите, мол.

Только сейчас я обнаружил, что в зале есть еще одна дверь. Высокая, шириной не менее двух метров. К ней и было привлечено все внимание.

Минута или две прошли в полной тишине. Слышно было, как звенит воздух. Но вот за дверью раздались шаги, тяжелые и увесистые, от которых начал дрожать пол.

— Командор? — пытался пошутить я.

Федор покачал головой:

— Малыш... Знакомся.

Дверь распахнулась — и Малыш вошел. Точнее, его ввели на канатах четверо здоровых мужиков... Впрочем, нет, все же это он сам привел их. Малыш еле втиснулся в раскрытую дверь, наклонив голову с массивными рогами.

— Сто восемьдесят в холке, — шепнул Федор, — он тут уже год, а я все не привыкну никак.

С мужиков лил пот, вены на их руках были напряжены, натянутые канаты готовы были оборваться. Малыш поднял голову и обвел нас взглядом. Мне показалось, что Федор стал меньше ростом. Было как-то беспокойно — у тореадора есть хотя бы плащ и шпага, а у нас — только халаты.

Малыш уставился на светящуюся за перегородкой лабораторию и начал хрипеть.

— Не знаю, почему он ее не любит, — тихо пробормотал Федор. — Первый раз вошел туда с разбега — торсида нервно курит в сторонке. Разметал все... С тех пор там стекло закаленное, в три слоя, из пушки не пробьешь. Ну и двух лаборантов поменять пришлось. Они сразу уволились, не выдержали нервного перенапряжения.

Малыш метался взглядом. Лаборатория, я, Федор, стены... Не то! Взгляд остановился на козле, точнее, на потрепанном и выдавшем виды хвосте из мочала... Пять секунд, десять... Ноздри Малыша раздувались, он наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Наконец он сделал шаг вперед, утаскивая за собой четырех сопровождающих.

— Молодец, — шепнул Федор и щелкнул пальцами кому-то: — Пошел!

Открылась дверь, и один из лаборантов, похожий на астронавта, высадившегося на луне, выскочил оттуда, сжимая в руках длинную палку, напоминающую деревенский ухват. В ухвате лежал стеклянный цилиндр полуметровой длины, с конца которого свисал пластиковый пакет.

— Вот оно, мое ноу-хау, — послышался голос Федора, — американцы мне за него миллион долларов предлагали, а я отказался — русские государственными тайнами не торгуют!



Малыш подходил к козлу все ближе и ближе. Десять шагов, семь, пять... Между ног Малыша начинало расти, раскачиваясь из стороны в сторону, его мужское достоинство.

Федор снова щелкнул пальцами — и ловкий лабораторный служащий привычно накинул цилиндр на разросшийся до гигантских размеров отросток. На палке щелкнула какая-то кнопка; цилиндр неожиданно тихо зашумел.

Глаза Малыша округлились, становясь нежнее, и мне даже на какой-то момент показалось, что из правого глаза быка выкатилась круглая блестящая слеза.

— Ну, — прошипел Федор, — давай, родимый, не подведи меня! К нам, видишь, гости сегодня серьезные приехали, посмотреть на тебя, порадоваться... Давай, милый, как ты умеешь, — глянь, какую мы тебе барышню привели женихаться!

Бык словно услышал слова Федора. Он низко наклонил голову, широко раскрыл пасть, замычал так, что пуленепробиваемые стекла в лаборатории начали звенеть, и бросился на несчастного козла. Лаборанты за стеклом привычно вздрогнули и на секунду оторвались от своих пробирок. Бык вплотную приблизился к мочальному заду, сильно раздувая ноздри, и встал на задние ноги. Секунда — и он обрушился на козла сверху.

— Вишь, как кроет! — снова прошептал Федор. — Я уж сколько раз видел, а все как впервой... Это же картина прямо, художественное таинство! Мне даже жаль порой, что мы быка каждый раз обманываем. Это как... мужику бабу резиновую дать — результат вроде есть, а наслаждения никакого... Точнее, может, и наслаждение есть, только с настоящим-то не сравнить. Одно нам прощение — что бык вроде бы и не понимает, что мы его в заблуждение вводим.

Мощное, мускулистое тело быка двигалось в эротическом танце — одно движение, второе... Внезапно его словно пронизала судорога, и канаты ослабели. Бык обмяк, даже, кажется, стал выглядеть не таким громадным. Прибор больше не шумел. Лаборант осторожно отошел в сторону, почти на носочках. На конце цилиндра болтался полный пакет с мутной жидкостью. Служащие смотрели на Федора, бык тоже... Кончилось все. Такое вот таинство — дел на полминуты.

— Уводите, — махнул рукой Федор, — скажите, что сегодня свободен.

Бык понимающе кивнул, уставившись вниз с какой-то грустью. Домой, в загон... Сегодня отработал — да, Федор?..

Из лаборатории вышел другой служащий в халате и, отсоединив от цилиндра пакет, унес его обратно. За стеклом началась суета. Цилиндр передали Федору.

— Глянь, — Федор толкнул меня в бок. — Я же механик по образованию, сам сконструировал. Длина — пятьдесят сантиметров. Цилиндр внутри полый, у него внешний диаметр есть, сантиметров двадцать, и внутренний. Внутренний диаметр можно регулировать — всякое бывает, размеры-то у всех разные. Технологически все выглядит просто. Вот здесь расположен аккумулятор, на двенадцать вольт, — показал Федор. — Хватает его надолго. В цилиндре между внутренней и внешней стенкой налита обычная вода. Вода все время находится в теплом состоянии, подогревается от аккумулятора — градусов тридцать семь... тридцать восемь. Почему-то именно этот температурный интервал быку наиболее привлекателен. Я ведь разные температуры выставял. Эта — самая правильная. На температуру меньше тридцати бык вообще никак не реагирует, еще и бодаться начинает. Выше сорока — тоже не годится... горячо ему, что ли, — разве ж разберешь их... Я сейчас диссертацию думаю писать. Название уже придумал: «Зависимость репродуктивной функции быка от температуры окружающей среды». Это шутка, конечно, — Федор рассмеялся. — Цилиндр крепится к длинной палке, ты видел... типа ухвата, что ли. Роль ухвата двойная. Во-первых, держать, чтобы цилиндр не соскочил; а во-вторых, у него на рукояти пульт управления. Когда режим «включено» стоит, то вода в цилиндре начинает бурлить и циркулировать. Бык в такой ситуации, так сказать, дополнительные положительные эмоции получает. Но главное, что при включенном цилиндре еще и вибрация добавляется — и для быка вариантов дальнейшего поведения не остается. Ну а когда выключено, то всё, конец фильма, ваше время истекло, стук в



дверь, бай-бай, детка, — Федор развел руками и по-детски надул щеки. — Мочалка, кстати, из бани моей, три года ей мылся, а козел — тот из школы деревенской, списали его, отслужил свое, — грустно добавил он.

На ферме стало тихо. День близился к концу. За стеклом копошились лаборанты — у них на сегодня еще была работа.

— Жалко Малыша, — вздохнул я, — он на вас пашет, деньги зарабатывает, а вы его... и не поощряете никак.

— Во-первых, мы не только на карман работаем, — горделиво заявил Федор, — мы и родине помогаем, России! — Он поднялся. — Чем больше Малыш трудится, тем сильнее наше стадо, тем выше удои, тем здоровей поголовье. Тем сытнее, выхотит, себя чувствует гражданин нашей страны. Бык это понимать должен! — Федор сел и продолжил уже грустнее: — Поощряли мы его... точнее, пытались поощрить. Неудачно только. Камень на душе с тех пор. Решили мы как-то под Рождество подарок быку сделать. Корову привести. Настоящую. На огромный риск шли. Вдруг бык разницу почувствует... понимать начнет, где цилиндр на ухвате и козел с мочалом, а где — настоящая телушка. Это ведь как Моника Левински после резиновой женщины. Крах тогда, конец ноу-хау... или быка племенного пришлось бы на мясо отправить. Но на риск пошли, потому как жалко животное, уж больно оно ударно целый месяц трудилось. Привели из соседней деревни корову... еле хозяйку уговорили — она целый час кричала, что не дам, мол, кормилицу на эксперименты, она вам не проститутка какая, да и я не сутенерша. И слова-то откуда такие знает... Но деньги взяла, однако... Так вот, затащили ее — корову, конечно, не хозяйку — на испытательный полигон, ну и быка вслед за ней ввели. Телушку, понятное дело, никто заранее не предупреждал, какая участь ее ждет. Да и как объяснишь... Хозяйка, правда, шептала чего-то на ухо. Еще и травку какую-то к ноге привязала. Иван-чай, кажется. Приворазживала, может. И вот входит бык. Он ноздрями повел — сразу смекнул, что сегодня праздник в деревне. Не обманешь зверя. Кинулся он безо всякого цилиндра на корову бабкину, попытался ее покрыть... И тут конфуз случился — не выдержала буренка такой любви. Ноги у нее подкосились от слабости, и рухнула она на пол. А бык, соответственно, следом за ней шмякнулся. Разница в одном только, что она снизу, а он, извини, сверху. А ведь это ж канадский бык, не наш. В нем веса-то в два раза больше. Потому под ним сразу отбивная образовалась. Можно даже повару не нести. Я, когда маленьким был, видел, как наши быки на пастбище коров кроют. Та стоит, травку щиплет, а этот мужичонка рогатый к ней сзади пристраивается... Так я тебе скажу, что некоторые коровы от травы даже не отвлекались в процессе... Будто им все равно — бык там позади или слепень. Тем более что... процесс-то короткий. Раз-два — и готово. Только вот канадский бычок оказался совсем не слепнем. В общем, раздавил он корову — не насмерть, конечно, но до переломов. Осталась корова калекой на всю жизнь, хоть гипс накладывай. А перед всем этим делом старуха-хозяйка потребовала своего присутствия на полигоне — хочу, мол, посмотреть, свечку держать буду, как дочь она мне. А как увидела приключившееся, так в обморок по стене и сползла враз. Потом уж, как очухалась, на быка с палкой понеслась — ирод, кричит, кормилицу мою единственную загубил! А бык от нее наутек, мы такой трусоватости у него и не видали никогда. Бабка после того случая чуть не помешалась — милицию вызвала, пыталась нас с быком в изнасиловании коровы обвинить. Запишите, говорит, в протокол: Федор вместе с Малышом мою Чернушку изнасиловать пытались. Милиционер аж пожалел, что приехал. Так она, представляешь, до суда дело довела. Но суд нашу сторону принял. Ты, говорит, бабка, деньги взяла? Взяла... Корову на веревке привела сама? Привела... Тогда ты либо соучастница, по одной статье с ними пойдешь... либо заявление забирай, а мы это оформим как несчастный случай на производстве. Забрала, конечно, испугалась. Но нервов нам потрепала. Пришлось ей взамен новую телушку покупать. А старую мы себе забрали... на колбасу. До сих пор едим. Может, и грех, конечно, но не пропадать же добру. Старуха и вовсе на кладбище ее похоронить хотела.

Федор перекрестился.

— Эксперимент наш тогда плачевно закончился — бык неделю на полигон выходить отказывался. Мы уж решили, что все, комплекс у него сформировался — знаешь, как у мужиков в молодости. Это по Фрейду — не получилось с женщиной с первого раза, потом будешь всегда переживать, что снова не получится. Хотели и Малыша на колбасу вдогонку пустить, а он, видишь, отошел вроде...

Федор вытер взмокший лоб.

— Второй раз решили не рисковать, — ухмыльнулся он, — чего телушек-то гробить почем зря... Так что вся премия быку — морковка хрустящая. В день — полведра. Да он и не в обиде вроде... Ну вот, — Федор словно извинялся, — собственно, и все... Самое интересное ты увидел. Дальше дело техники и лаборантов. Из семени этого бычьего они таблетки такие делают, со спичечный коробок размером. Это уже на продажу. Из желающих племенной скот разводить даже очередь выстроилась. И в России очередь, и за рубежом... С помощью этих таблеток коров и оплодотворяют. Мы в год с одного только Малыша десять тысяч доз получаем. Представляешь, у Малыша в год до десяти тысяч детей может родиться. Во как! А если бы ему Зорек и Буренок наших водили по очереди, то, в самом лучшем случае, пятьдесят. Десять тысяч минус пятьдесят — это сколько будет?... Вот и я говорю — много... На эту разницу и живем... А вы спрашиваете — откуда «мерседес»...

— Ты к нам с Малышом заезжай, — провожал меня Федор, — дорогу теперь знаешь, телефон тоже... Если приедут иностранные гости и захотят шоу наше посмотреть — вэлкам, как говорится.

Мы шли мимо ангара. Из окна на нас грустно смотрел Малыш. «Где они, мои десять тысяч детей, куда их дели? — читал я вопрос в его взгляде. — Кого на забой, кого на дойку... Хоть одного бы показали...» А может, он так и не думает совсем. Вдруг быки совсем не умеют думать.

— Я тут гостинцев тебе собрал, — протянул мне пакет Федор. — Колбаска... помнишь, я про коровку говорил, что Малыш покалечил? Вот, стало быть, колбаска копченая, молочко парное, творог, сыр самодельный — мы тут свое небольшое производство маленькое, для себя исключительно... А это... — Федор покраснел от смущения, — это вот ноу-хау мое, цилиндр, тот самый. Мы же... мы же на себе испытали, прежде чем на быке пробовать... Лично опробовал — кому доверишь такое дело ответственное... Очень всем понравилось, — он покраснел еще больше. — Ты не смотри, что неказистый приборчик — безотказная вещь! Я токаря самого лучшего в стране приглашал, чтоб его выточить. По моим чертежам... Может, конечно, японцы бы лучше все сделали, дизайн был бы посовременней. Так не в этом же дело... Дело в душе, в отношении. Ты не женат, смотрю, до сих пор... Вот и будет, чем себя утешить... В общем, пригодится тебе эта штука, — продолжил Федор, — вот увидишь. У вас, городских, работа напряженная, устаешь сильно, времени не хватает ни на что... В шкаф положи — понадобится, меня тогда добрым словом вспомнишь. Там инструкция внутри, в коробке... Разберешься потом, как диаметр внутренний подкрутить под твой размер, не слишком оно сложно...

Так и уехал я домой с пакетом. Колбаса, сыр, молоко... Вкусная колбаса была — помянул Чернушку, ведь науке себя в жертву принесла. А цилиндр — тот не взял.

— Тебе оно надобней, — хлопнул я по плечу Федора, — да и пополнение скоро, герфердов новых привезешь... Запасные цилиндры всегда нужны. Вдруг что сломается — не останавливать же процесс. Кредиты, опять же, отдавать. А я уж сам как-нибудь. Или... или женюсь — а что, тоже вариант!..



СТРАННЫЕ ИСТОРИИ ПРО СТРАННЫХ СТАРУШЕК

М и н и а т ю р ы

История первая.

Про старушку-путешественницу

Одна старушка как-то выиграла в лотерею. Старушка была наша, а лотерея — иностранная. Случайно так получилось. И выигрыш там был — не гладильная доска «Гертруда» и не стиральная машина «Фея», приличный был выигрыш. Джек-пот там вышел просто сумасшедший. Такие деньги на заводе «Серп и молот» за тысячу жизней не заработаешь. Старушка сначала даже не поняла, сколько ей денег привалило. И хорошо, что не поняла, иначе ее наверняка хватил бы удар. Ей потом все объяснили, постепенно нули прибавляли. А у нее мечта была — она очень хотела в Париж. Поэтому, когда осознала свою удачу во всем объеме, взяла себя в руки и справилась с нахлынувшими эмоциями. Ради Парижа.

И вот все волнения позади, гуляет она в Париже. Ходит там по Елисейским полям, пьет фруктовую воду в кафешантанах. Принесли ей французскую булку. Только отщипнула кусочек, а там — бумажка. На чистом русском языке красивым почерком написано: «Не катайся на речном трамвайчике!» Она удивилась, конечно, но на всякий случай сразу выбросила заранее купленный билет. Вечером французы на каждом углу в городе кричат: «О-ла-ла!» Ну она и поняла, что у них на Сене трамвайчик номер Р-17416 утонул. Тот самый, голубенький с белой крышей. И газеты сразу напечатали: «Спаслась лишь одна русская мадам, которая на берегу осталась». Старушка разволновалась и уехала из Парижа в Монте-Карло. День, другой там живет. По бульварам гуляет, морским воздухом дышит. Французскими булками голубей на бульварах кормит. Прошла неделя, и тут снова странный случай. Черная такса к ее скамейке подбежала, комок бумаги под ноги бросила, облаяла и умчалась голубей гонять. Удивилась старушка, развернула бумажку, а там русскими газетными буквами наклеено: «Не смотри утром в зеркало». А в отеле, где она жила, все стены были в зеркалах. И в холле, и на этажах, и в ресторанах. Куда ни глянь — везде зеркала. Старушка всполошилась, взяла и срочно переехала в другое место. Утром спросонок пошла в ванную комнату и машинально посмотрела в зеркало! А на зеркале губной помадой написано: «Attention a la ballon rouge». Старушка вызвала портье и спрашивает: «Что это такое?» Портье подвел старушку к окну, а там над заливом парят воздушные шары. Много воздушных шаров. Фестиваль был в Монте-Карло. Вдруг огромный красный шар подлетел к балкону, портье схватил старушку и запихнул в корзину. А сам запутался в канатах, поскользнулся на перилах и сорвался вниз. Он еще что-то там прокричал, а она и пикнуть не успела. Летит одна в корзине над морем, от страха трясется, вдруг смотрит — отель, из которого она улетела, охвачен пламенем. А ее после на самом краю Африки спасли. Еще немного, и могло бы вообще в океан унести. Газеты после напечатали: «Таинственный пожар в Монте-Карло, спаслась только экстравагантная русская мадам, которая улетела на красном воздушном шаре в Касабланку».



Старушка разволновалась и хотела для поправки здоровья куда-нибудь уехать. В Лиссабон или Лондон. Или на Таити. Но у нее паспорта не было. Приютили ее сестры из церкви Святой Анны на Рю де Маррокеш, а одна монашка-гречанка улучила минутку и шепнула: «Берегись бородатого консула!» Только сказала, как он тут как тут. Вошел и говорит сердито: «Мы не можем выдать вам паспорт. Вы должны поехать со мной и получить справку для возвращения на родину». Старушка заподозрила неладное, но виду не подала. «Пойду, — говорит, — носик попудрю, буквально на пять минут, не волнуйтесь». А сама выбежала на улицу, остановила такси и поехала напрямик в русское посольство. Встретил ее генеральный консул, выслушал внимательно и разводит руками в удивлении: «Нет у нас, гражданка, никакого бородатого консула. Но вы не переживайте, располагайтесь тут пока, а мы сейчас попробуем разобраться...» Старушка снова заподозрила неладное и на всякий случай оттуда тоже улинула. Но ее скоро нашли на базаре в Каире (она уже успела до Египта добраться) и вручили сразу три медали и грамоту Интерпола за помощь в борьбе с международной мафией, которая охотилась за победителями лотерей. А в придачу дали новый паспорт с визой на Таити.

История вторая.

Про старушку, которая не смотрела сериалы

Одна старушка не смотрела по телевизору сериалы. Да, трудно в такое поверить, но факт имел место. Странная была старушка, до чрезвычайности. Если бы она смотрела сериалы, как все нормальные старушки, рассказывать о ней не было бы никакого смысла. Таких старушек хоть пруд пруди. На любой лавочке у любого дома старушек, обожающих смотреть сериалы, как грибов в осеннем лесу. А старушка, которая не смотрит телевизор, это ведь странный феномен. Какая старушка, такой и феномен. И все потому, что однажды лектор общества «Знание» сказал: культурная женщина с высшим образованием ни за что не станет смотреть сериалы. Ну разве она после такого могла? Она и не смотрела...

Ей другие старушки прямо говорили: «Скучно с тобой, Серафима, даже поговорить с тобой по-человечески не о чем». И вытесняли ее из своего круга, игнорировали. Что ей еще оставалось? Правильно — только печь пироги да сидеть у окна, ждать инопланетян. Благодаря этому ни одна летающая тарелка в ее районе не оставалась незамеченной. А инопланетяне так к ней привыкли, что уже и не прятались вовсе. Пролетали мимо окна и обязательно зеленой ручкой из-под стеклянного купола козыряли. Хоть и пришельцы из чужого мира, а уважительные, приветливые.

Однажды в дверь старушки кто-то позвонил. Она в глазок посмотрела — на площадке мужчина. Симпатичный, представительный. Но незнакомый. Не стала его впускать. Вернулась к окну считать летающие тарелки. А это дон Игнасио приходил. Другая старушка в обморок сразу упала бы от счастья. Пришлось бы неотложку вызывать. А эта старушка в обморок не упала. Не узнала она дона Игнасио. Сериал мексиканский не смотрела, вот и не узнала.

Через какое-то время снова в дверь позвонили. Старушка подкралась тихо, в глазок посмотрела — а там женщина какая-то. Стоит, красивая, с орхидеями в волосах, и улыбается. Но не стала старушка ей открывать. Подумала, что это пришли какие-то хитрые баптисты. А это просто Мария пришла. Любая другая старушка тут же умерла бы от радости. А эта не обрадовалась нисколечко и не умерла, живая осталась. Просто удалилась на цыпочках к себе в комнату — и все. Откуда ей было знать просто Марию...

В общем, к ней все пытались приходиться. И отчаянные домохозяйки с чизкейками, и Жануария с Изаурой, и Скалли с Малдером, и принцесса цирка. Даже Тони Сопрано приходил в лаковых штиблетах. А самый настырный был доктор Хаус — все стучал тростью в дверь, не мог поверить, что он здесь, у Серафимы, никто. И звать его никак.

Когда дверной звонок уже в тысячу пятисотый раз дзинькнул, старушка даже не стала в глазок смотреть. А это пришли инопланетяне. У них по графику был контакт



третьей степени. Волновались сильно. Они к этому контакту тысячу лет готовились и выбрали Серафиму. Вроде как она им уже не чужая была. Они так думали. Явились в парадной форме, в серебристых скафандрах, с тортом «От Пальча» — самый вкусный в соседнем магазине купили для такого случая. Речь заранее сочинили. Но не судьба. Старушка Серафима к ним так и не вышла.

Смутились пришельцы, сильно переживали. Чего-чего, а от Серафимы такого не ожидали. Ушли несолоно хлебавши. Начальству своему доложили: так, мол, и так, чего-то мы не учли, старушка повела себя странно...

Пришлось им пересматривать свою доктрину насчет всего человечества и отложить контакт еще на тысячу лет.

История третья. Про старушку и скелет в шкафу

У одной старушки был шкаф. Он занимал почти всю старушкину комнату. Широкий был, громоздкий. Таких уже давно не делают. Столетний, а может быть, и двухсотлетний. Короче, сильно старомодный. Совсем древний. Благородный. С тремя дверцами. А на средней дверце — зеркало. Тоже старое. И тусклое. Если посмотреть, то в его мутной глубине можно было увидеть скелет.

Молоденькая медсестра с волосами цвета «Мальвина», приходившая к старушке из поликлиники, на это зеркало смотрела спокойно. Мельком так смотрела и отмечала: «Надо же, какая мебель. Нигде больше такой не видела. Вот умели раньше делать. Добротный антиквариат. Уютно у вас, Прозерпина Пафнутьевна, стильно. Скелет в зеркале. Готиченько...» И доставала из-под белого халата свой блестящий стетоскоп. Мерила давление, рассказывала про новые лекарства и тараторила про всякие другие новости. Медсестры лучше всех рассказывают новости. И не только старушкам. А про скелет в шкафу больше ни слова. Медицинские работники мало обращают внимания на мертвяков. Профессия у них такая.

Еще приходили сантехники. Раз в двадцать лет такое случается. Или в тридцать. В общем, однажды сантехники нагрянули к старушке. Им шкаф сразу не понравился. Он им мешал батареи менять. На протест старушки они ноль внимания. Словно и нет ее. Наглые такие, попробовали отодвинуть в сторону, налегли вдвоем, но смогли сдвинуть только старушку. А со шкафом у них ничего не получилось. Если не считать паховую грыжу у одного и смещение поясничного диска у другого. А шкафу — хоть бы хны. Скелет в зеркале они даже не заметили. Тоже привычные потому что. Сантехникам, когда они выпивши, бывает, еще и не такое мерещится.

А больше к старушке никто не ходил. Подруг у нее уже давно не осталось. А родственники с ней только по телефону общались. Ну-у... как — общались... Звонили периодически. Про здоровье узнать. Позвонят — и расстраиваются, что старушка подходит к телефону. Это потому, что на самом деле им нечего было ей сказать. Старушка ведь была очень древняя. О чем с ней можно разговаривать? Не могли же они ей правду сказать, что им нужна ее жилплощадь. Неудобно такое говорить. Вежливые были, не принято такое у культурных людей. Поэтому они сразу смущались и говорили, мол, не хотят ее беспокоить. Торопливо задавали одни и те же вопросы и, не дожидаясь ответов, вешали трубку. В общем, как могли, проявляли заботу. В минуту укладывались. Обычно меньше. Но непременно обещали снова перезвонить. «Звоните, милые, звоните», — соглашалась старушка. Она хоть и старая была, но не глупая. И тоже вежливая. Да... И правду им про себя тоже не рассказывала. А зачем? Старушка в душе добрая была. Хоть с виду и ведьма ведьмой. Однако, по правде, к людям хорошо относилась. Даже к родственникам. Зачем их смущать разговорами о смерти... Оно им надо?..

Смерть к старушке приходила часто. То днем придет, то ночью. По-всякому бывало. Курносовая, в черной хламиде. По всей форме, как положено, с острой косой в костлявых руках. И разговор у них со смертью был всегда один. Свой. Давний. Короткий.

— Ну что? Пустишь меня в свой шкаф?



— Нет, — мотала головой старушка и, упрямо поджав губы, отворачивалась к окну.

— Ну и оставайся, — обиженно ворчала смерть. — Сама еще попросишь... — И отступала куда-то.

Вот так они и жили, старушка и ее загадочный шкаф.

Шли годы. Чем древнее и незаметнее становилась старушка, тем шире и толще становился шкаф.

Однажды медсестра, сама уже с проседью, пришла, а квартира открыта. В коридоре сквозняк пыльную паутину колышет. Она сразу почуяла недоброе. Заглянула на кухню — там батон хлеба на столе весь заплесневел уже. Быстро прошла к двери в комнату старушки и позвала:

— Прозерпина Пафнутьевна, вы там?

А старушка ей не отвечает. Только по скрипучему паркету клокка постукивает — тук, тук... и ноги шаркают — шарк, шарк...

Медсестра распахнула дверь и успела заметить, как старушка юркнула в шкаф.

Сколько медсестра ни звала, старушка так и не откликнулась. Ни звука не издала из шкафа.

Шкаф долго не могли открыть. Замки на нем вроде бы и плевые, а надо же — двери не открывались. Два лома согнули — замки ни в какую. А когда все же сумели их высверлить, то ничего не нашли. Совсем ничего. Фонариками посветили — шкаф абсолютно пустой. Ни тебе мехов, ни платьев. Только в дальнем углу вроде что-то мелькнуло. Но никто не понял, что это было. Внутри шкаф оказался больше, чем снаружи. Гораздо больше. Свет фонариков терялся в его таинственной глубине. Сколько ни всматривались, в крошечном мраке ничегошеньки не разглядели. А ступеньки, уходящие вниз, так никто и не заметил.

И что тоже странно — зеркало куда-то исчезло.

Посмотрели — а без зеркала шкаф не шкаф, а рухлядь какая-то.

История четвертая.

Про старушку и тараканов судьбы

Одна старушка верила в приметы. Она издавна в них верила. Никогда не ходила там, где пробежала черная кошка. Но это само собой. Ничего не делала в пятницу тринадцатого числа. Тоже понятно. Так мало того, она вообще по тринадцатым числам ничего не делала. По собственной инициативе. Для перестраховки. Как повышенное обязательство. На всякий случай. Еще она никогда не проходила через столб с опорой в виде треугольника. Не сидела на пороге. Перед уходом из дома обязательно смотрелась в зеркало. Не принимала в подарок часы или ножи. Не ходила по дому в одном тапке и тщательно следила, чтобы ничего не надеть наизуот. Не поднимала ничего на перекрестке. Так-то она везде все подряд поднимала, но на перекрестке — ни-ни. Не выносила мусор после заката. И вообще — частенько не выносила мусор, чтобы не злить тараканов. Потому что тараканы в доме — это ведь к счастью. Один таракан ей так сказал. В молодости. Когда она жила в фабричном общежитии. Он ей в чайнике-заварнике однажды попался. Огромный такой. Под крышкой сидел. Странный был таракан. Перед тем как провалиться за плинтус, сказал ей: «Всегда верь в приметы!» Она тогда еще глупая была, молодая потому что, — не придавала этому значения. На фабрике тройную норму выполняла, на всякие рабочие собрания ходила, в кино, на танцы в клуб бегала. И тут ей снова таракан попался. В заводской столовой. И опять говорит: «Верь в приметы!» А она знай себе живет по-прежнему. То на лекцию политпросвета бежит, то на концерт художественной самодеятельности попеть и поплясать. Короче, беспечный образ жизни вела. Совсем была наивная. Безалаберная. Даже вспомнить жутко. Рисковала, конечно. Но ей повезло. Она вовремя получила сигнал судьбы. Увидела, как черная кошка разбивает зеркало пустым мусорным ведром. И все. С того случая она раз и навсегда состарилась и жила только по приметам.

История пятая.

Про старушку и галактическое радио

Давным-давно одной старушке подключили радио. Хорошо подключили, на совесть. Шли годы, а оно работало как новое. Провода под плинтусом сгнили, а ему хоть бы что. Четко работало, без помех. Старушка считала — это потому, что монтеры были трезвые, все как надо сделали. Во всем городе такого радио уже лет двадцать ни у кого не было. Пожалуй, даже и во всей стране. А у старушки работало. Каждый день, как положено, с шести утра и до полуночи. Только раньше спозаранку гимн играл, а теперь — «Вальс цветов» или танго «Орlando». Или что-то вроде того. А потом вместо утренней гимнастики диктор приятным баритоном объявлял: «Говорит радио Млечного пути. Передаем последние галактические новости...» Старушка к этому моменту уже была на ногах. Начинала лекарства утренние принимать, хлопотать на кухне, варить утреннюю овсянку. Поэтому новости обычно слушала вполуха. Но все равно была в курсе. Особенно волновала ее нестабильность Бетельгейзе. Дискуссии о проблеме эвакуации населения из туманности Ориона она никогда не пропускала. И когда у них там вопрос в очередной раз откладывался, неодобрительно качала головой. «Чего тянут, — вздыхала старушка, — чего тянут?» И тянулась за пузырьком валерьянки. Впечатлительная была, неравнодушная.

Бывало, как начнут обсуждать жилищную проблему в созвездии Гончих псов, так все дела бросает и слушает, слушает с замиранием, подперев щеку ладонью. Ловит каждую фразу. И сразу свои собственные мытарства вспоминает: сколько раз ей в местное очередь на квартиру отодвигали, а детей начальников пропихивали. И как из центра в спальный район на окраине пытались сбегать. А в конце бормочет: «Да, жилье — это всегда проблема...» И валокординчика себе в стопочку — кап-кап-кап... Про коррупцию тоже внимательно слушала. Ох уж эта галактическая коррупция, скандалы, интриги, расследования, негодование общественности... Сколько раз уж зарекалась про это слушать, а все одно — слушала. А после как всегда изжога разыгрывалась. Приходилось соду пить. Ну и валидол под язык, само собой. В космической физике старушка плоховато разбиралась. Ей, бывшей блондинке, космическая физика никогда не давалась. Тем не менее коррупцию она правильно понимала, нутром чуяла: «Дыра, как есть — черная дыра!»

Шли годы. И вот однажды баритон галактических новостей сказал: «А сейчас передаем сообщение для нашей радиослушательницы с голубой планеты Земля». И передал микрофон какой-то корреспондентке, которая скороговоркой прошептала: «Дорогая Зоя Кузьминична, я молодая галактическая журналистка. Мне поручили подготовить репортаж под рубрикой “Всюду жизнь. Новости глухих уголков Галактики”. Я очень волнуюсь. Вы — единственный абонент нашего радио на планете Земля. Нам очень важно знать ваше мнение. Передаю вам привет от всей редакции галактического радио — и до встречи! Вылетаю прямо сейчас». И дальше — грохот космодрома, рев фотонных двигателей.

Зоя Кузьминична, а это старушкино имя было, сильно удивилась. И так разволновалась, так разволновалась. Места себе не находила. Поделилась новостью со своей подружкой Шурой. Та тоже удивилась. И они решили ждать. И вот ждут. Уж который год. Им обоим уже за сотню перевалило, а они умирать не собираются. Про них Си-Эн-Эн рассказывало. И китайское радио. И Би-Би-Си британских ученых к ним присылало. Даже далай-лама приезжал. Улыбчивый такой. Секрет долголетия выспрашивал. Они таиться не стали, малиновым чаем его напоили, все как есть ему рассказали. Далай-лама улыбнулся и уехал. Кажись, не поверил.

А Зоя и Шура ждут. Крепятся, но ждут. Упрямые потому что. Нельзя им помирать — перед молодой стажеркой неудобно. Вот когда прилетит, когда они ей расскажут, что думают про ЖКХ, медицину, про коррупцию, трижды неладную, тогда уж... Сколько там до центра Галактики? Двадцать шесть тысяч световых лет? Ну вот...



История шестая.

Про старушку и невидимых кусак

У одной старушки в холодильнике кто-то завелся. Только она к холодильнику после девяти вечера подойдет, только дверку откроет, только на колбасу нацелится, как сразу кто-то ее за руки кусает. Ну как — кусает... Следов никаких, но противно. И главное, обидно ведь. От этого у нее моментально портится аппетит. Вместо дежурного бутерброда ей приходилось есть печеное яблоко. Или натирать на терке морковь. И то — если без сметаны и сахара. Она это опытным путем выяснила: когда пробовала тянуться за сметаной, дело заканчивалось покусками. Кефир было можно. Однопроцентный. А сметану — нельзя. Ибо сразу кусали, без предупреждения. А кто кусал, зачем кусал, почему кусал — загадка. Однажды ей так обидно стало: купила себе любимых свиных сарделек, поужинала. А после девяти вечера вдруг добавки захотела. Ну прям хочется, и все тут. Наверное, по телевизору что-то вкусное увидела и сразу про сардельки вспомнила. Только она подкралась на цыпочках на кухню, только сунулась в холодильник, так ее чуть на куски не порвали. Вот тут она разозлилась! Злая старушка — это фурия. А если еще и голодная, то и подавно ведьма. Наутро выгребла все из холодильника и по шкафчикам разложила. И что же? Как только девять часов — к этим шкафчикам опять невозможно подойти! Эти, которые из холодильника, и туда забрались. Кусали еще злее, чем в холодильнике. И продукты начали портиться, и тараканы стали нагнать. Пришлось половину еды выбросить, половину опять засовывать в холодильник. «Да что же это такое?» — возмутилась старушка. А ей вдруг отвечают: «Контроль!» Тоненьким таким голосочком. «Какой еще контроль?» — закричала старушка. Она там еще много всяких слов кричала, но это неважно. «Диетический контроль», — отвечают ей наглые кусаки. — «Знать не хочу никакого контроля! Этого мне еще не хватало! Ишь! Не потерплю у себя в доме никакого контроля. Убирайтесь немедленно!»

Но в ответ над ней только посмеялись. Противными такими голосами: «Хи-хи-хи». — «Значит, их тут много развелось», — догадалась старушка и сменила тактику. Взмолилась: «Ну дайте хоть котика покормить?» — «Нет, — ответил диетический контроль, — нет у тебя никакого котика. Стыдно, гражданка, обманывать. Идите, съешьте, вон, грушу. Разговор окончен».

Короче говоря, от таких переживаний старушка вскоре изрядно похудела. Сбросила лишний вес — и про гипертонию забыла, и про сердце, и одышка прошла. По лестнице стала бегать, как молодая. А старушка неглупая была, у нее вообще-то высшее образование имелось. Даже два, если по дипломам считать. Так она в конце концов поняла пользу от тех, кто кусался. И вот приходит однажды на кухню и говорит громко: «Эй, диетический контроль, где вы? Выходите, не бойтесь. Я мириться пришла. Хочу вам спасибо сказать...» А ей отвечают не пойми откуда писклявыми голосами: «Да ты нас не разглядишь, мы маленькие!» — «А я очки надену». — «А и все равно не разглядишь: мы очень мелкие». — «Как микробы?» — «От бациллы слышим!» — обиделись кусаки. А старушка не обиделась. Наоборот, расхохоталась: «Так как же мне вас все-таки отблагодарить?» — Кусаки посоветовались и говорят: «Не выбрасывай старый холодильник».

Шли годы, старушка цвела, старушку было не узнать. Однажды она на прогулке была, и ей позвонила дочь — сообщила загадочным голосом: «Мама, придешь домой, там для тебя сюрприз!» Старушка пришла домой, а там новый холодильник. Красивый. Импортный.

И все. И больше никакого диетического контроля.

История седьмая.

Про старушку и зеркальце с колесиком

У одной женщины было зеркальце. Нет, не то, которое «свет мой зеркальце». Нормальное было зеркальце. Зеркальце как зеркальце. Только сбоку — колесико. Посмотрит в него женщина утром и, если что не так, крутит колесико. Чуть-чуть так



покрутит — и сразу порядок. И губки, и бровки, и фигура. Только нельзя было, чтобы в этом зеркальце чужие руки колесико крутили. Еще покойная бабушка строго-настрого предупреждала. Зеркальце это испокон веков по наследству передавалось. Строго от бабушки — внучке. А чужим в руки не то чтобы нельзя, но лучше не давать. Из-за колесика. А то мало ли что. Поэтому в сумочке у женщины всегда было два зеркальца. Бабушкино — и другое, новое. Это если лучшая подруга вдруг попросит. А лучшая подруга — она была такая, да. Была у нее манера — чуть что, сразу: «Дашь зеркальце на минуточку?» Попробуй не дай... Поэтому второе зеркальце было для подруги. Их в сумочке нельзя было перепутать. Они и по форме, и по весу были сильно разные. Ну и крутить на другом зеркале было нечего — колесика там не было. А подруга типичная холеричка была. Шило в попе. Вернее, сразу на две попы шило. И вот сидят они как-то вдвоем в крымском ресторане, заказали по морскому языку, пьют «Южную ночь», разговаривают. И вдруг подруга видит — за дальним столиком военный скучает. Настоящий полковник. Один. Она к мужчинам в форме всегда была равнодушна, а к морякам — так вообще. Особенно если на нее уже семь раз с интересом посмотрели и вот-вот подойдут знакомиться. Тут она сразу забыла обо всем на свете. «Так, — говорит, — кажется, надо привести себя в порядок...» И тянет свою сумочку. Чувствует, сумочка зацепилась за что-то, а не видит. Потому что в это время строит глазки и кроме полковника вообще уже ничего не видит. Тянет, а сумочка не тянется. Тянет — не тянется. Тогда она как дернет со всей дури! Ну холеричка же... А это была не ее сумочка. И зацепилась случайно за пуговицу. На другом мундире. Этот мундир был на другом военном, который как раз подошел знакомиться с ее подругой. Той самой, у которой зеркальце с колесиком. Ну вы поняли... Военный стоял как скала. И пуговица у него была пришита крепко-накрепко. Поэтому не оторвалась. Вместо этого сумочка вырвалась из рук. Ударила по тарелке с рыбой — и во все стороны полетело: и содержимое тарелки, и бокалы с вином, и содержимое сумочки. С треском. Военный стоит — весь в белом соусе, с морским языком на погоне — и улыбается. Машинально поднимает с тарелки зеркальце и спрашивает: «Хмм... Интересно, а зачем тут колесико?» Женщина от стыда за подругу не то что слово сказать, она вообще не знает, куда деваться. А военный тоже смутился, вертит зеркальце в руках и просто так колесико крутит, крутит, будто это ему часы командирские какие-нибудь. Ну и отломал своими ручищами колесико. Пришлось ему как военному хирургу и честному человеку на той женщине жениться. И жили они долго и счастливо. И даже когда она стала уже старуха, он все равно смотрел на нее так же влюблено, как в тот вечер.

Вот только внучке передать по наследству зеркало они не могли. У них три сына было, семь внуков и ни одной внучки.

История восьмая.

Про старушку и коврик с лебедями

Одна старушка купила себе коврик. Сама не поняла, как это получилось. Ей вообще-то на рынке другое нужно было. Но это неважно. Ей сказали: «Женщина, купите коврик, не пожалеете!» — она и купила. Хорошая вещь, между прочим. Красивая. Пруд там на коврике симпатичный: с плакучими ивами по берегам, крытая беседка с резными узорами. Флоксы, ирисы вокруг скамеек. И лебеди. Два лебедя. Черный и белый. Дороговато, конечно. Но лебеди ведь не могут стоять дешево. А еще там мальвы и подсолнухи... да. Короче, потраченной пенсии было не жалко. Пасторальный такой рисунок. Вроде как навевающий прекрасные грезы. В общем, не обманули старушку, не зря ковер нахваливали. А после оказалось, что он еще и сказочный. Почему сказочный? Ну-у... в прямом смысле сказочный. Настоящий. Волшебный то есть. Когда старушка садилась и начинала плакать, лебеди оживали. Нет, не вместе. Не оба сразу, а по очереди. Один раз белый, другой раз — черный. Белый — черный, белый — черный... И находили для старушки нужные слова. Белый лебедь очень ласковый был. Такой, знаете, приятный, уважительный, жалостливый. Накроет старушку заботливым крылом, голову к ней преклонит, в глаза своими красными бусинками посмотрит, слово доброе шепнет — и горечи как не бывало, и

сердце успокаивается, и на душе сразу легко-легко. И даже вроде как весело становится. Очень хорошо стресс снимал белый лебедь. Слезы сами собой высохли. А черный — тот вообще моментально помогал. Но у него метод другой был. Уж на что покойный муж старушки ругаться умел — он у нее всю жизнь военный был, царствие ему небесное (хотя, конечно, вряд ли), и матом не ругался, а разговаривал, — но даже от него таких слов не приходилось слышать. За все сорок лет совместной жизни. Истинная правда. В общем, черный лебедь нужные слова тоже находил. Грусть как ветром сдувало. Когда такие слова — уже не до грусти. Сразу бодрость такая возникла, что старушка от нее еще несколько дней аж дрожала вся. После черного лебедя горы свернуть могла. Вот как помогал ей черный лебедь. Хотя, что и говорить, характер у него тяжелый был. Не дай бог такое услышать лишний раз. Но эффект был, отрицать нельзя, был эффект. Даже еще лучший, чем от белого лебедя.

Старушка белого лебедя больше любила, а черного — уважала. В общем, приноворивалась к ним. Как придет черед черного лебедя, ей уж почти и не хочется плакать. Оно и понятно. Как подумает, каких слов от него ждать, так плакать вроде уж и ни к чему. А когда черед белого лебедя, старушка старалась подгадать что-нибудь этакое, особенное. Ну ясно же, чтобы лаской и сочувствием насладиться подольше. Бывало, готовилась к белому лебедю так, что аж сердце наперед замирало.

А старушка опрятная была, порядок и чистоту в доме любила. Пришло время, взяла однажды и постирала свой коврик с лебедями. Хотела как лучше, а только все испортила. Нет, коврик как был волшебный, так и остался. Только сломалось в нем что-то. Пружина какая-то с места стронулась, что ли... Старушка после на стиральный порошок грешила. Новый порошок купила на рынке, дешевый. А он и стирать не стирает, и коврик вот подпортил. Раньше строгий порядок был: белый — черный, белый — черный. А после стирки лебеди стали не пойми как оживать. Поди угадай, какой из них в другой раз откликнется. То ли белый приголубит, то ли черный...

Ну и как-то само собой вышло, что старушка перестала под ковриком с лебедями плакать. Приучила себя жить без драм. Оно как-то и поспокойней. Белый — он, конечно, приятный и сочувственный. Однако не дай бог лишний раз крик черного услышать...

История девятая.

Про старушку и смешные тапочки

У одной старушки были смешные тапки. Внутри сафьяновые, а с виду вроде как парчовые, с позументом, и, что характерно, носы загнутые. Посмотришь — смех смехом, чисто Хоттабыч в юбке. Обхохочешься. А так они вообще-то нарядные, узорчатые, хоть и не новые. Лет им было столько, что и памяти нет. Еще когда ейную бабушку хоронили, от бабушки узелок с вещами достался. Какой узелок?.. Обыкновенный. В старинную скатерку с петухами шапка, коврик да тапочки завернутые — вот и весь скарб. Наследство, завещанное на исповеди любимой внучке. А шаль козьего пуха да подушку с периной золовка забрала — ей, стало быть, нужней... А-а, нет! Не все. Там, в скатерке, еще блюдечко с голубой каемочкой было. Его сразу, как узелок развязывали, не заметили, оно на пол под ноги золовке упало — дзынь! — в ногах и разбилось. На мелкие кусочки. Точно-точно. Жалко его — оно хоть и простенькое, но аккуратное, красивое было. Тонюсенькое, тоньше скорлупы, и гладкое, будто зеркало... Помнится, сельский дьяк, бабушку исповедовавший, а после и отпевавший, еще про какое-то яблочко твердил. Золотое. Сердился, бородой тряс, по столу кулаком бил. Чуть до скандала не дошло. Да только никто того дьячка не слушал. Благо золовка дьячку хмельного зелья все подливала, подливала, так что дьяк скоро лыка уже не вязал. Никто и не понял, про какое яблочко он там с устатку себе до ночи под нос бубнил. Не было в бабушкином узелке яблочка. Ни золотого, ни простого. Да и нешто у бабушки в то время золото могло быть... У нее и коровы-то своей не было. Вся жизнь в бедности. Козой да огородом кормилась. Откуда... Померещилось дьячку. Ой, да ему, с мутной четвертью в обнимку, еще и не такое мерещилось. Бывало, бесов по селу гонял. Или, наоборот, черти его. Разве пьяного поймешь... И дьячка того уж давно нет, прибрал господь преподобного пьяницу



своего. Нет, никто того золотого яблочка не видел. В церкви купола да оклады — вот там золото, да. Там ему и положено быть, оно там и к месту. А так-то больше где еще... Разве только у золовки во рту. У нее-то полный рот золотых зубов был. Ну это она уж после забогатела. Известно, каким манером — спекулировала. На самогонном мезевике озолотилась. Скорей всего, ага. Хваткая девка была. Да...

Склянки? Это пузырьки, что ли? Были, да. Два пузырька было в узелке. Только... какое же это наследство-то. Наследством их никто не считал. В них лампадное масло было. Нет, не обычное — из города Ерусалима. Старушка его берегла, по капле три раза в году у образов жгла. Сила от него по всему дому расходилась, живая. В сочельник, в светлое Христово воскресение и на Троицын день. А когда мужа с войны домой помирать отпустили, она то масло, сколько было, все до последней капли ему на раны вымазала. Выжил, хоть золовка с фельдшером и возражали...

Скатерка, в которую бабушкины вещи завернуты были, после бабушки сразу на иконы пошла. Уж больно ветхая оказалась. Латана-перелатана. Да к тому ж — вся в пятнах. Хоть и не графья, а зазорно такую на праздники стелить. А в будни-то никаких скатертей не положено. Лишнее это. Чего зря соседей достатком злить... Сказать по правде, та скатерка на портянки — и то не годилась. Дыра на дыре. Однако же с кружевом. Ну так того кружева на образа лентами и отрезали. Красиво получилось. Вышло — будто праздник в доме: Николай-угодник и Богородица нарядные стали. Любо-дорого глянуть. Даже дух от них пошел такой, будто калачи из печи вынули. Вот и довольны были. Какая-никакая, а память бабушкина. А коврик — тот ничего, не дырявый был. Но тоже затертый, страсть... Гадали, гадали — не пойми какого цвета. А уж как золовка с него смеялась. Хоть и грешно над дареным потешаться, а и то верно. Персидский он или не персидский, того уж не разглядеть было. Не ковер, а, прости господи, рогожа. Сначала его в сенах под ноги бросили. Только после, как муж на нем сильно спотыкнулся да чуть не убили, полетел вверх тормашками, отдали от греха татарину-старьевщику. За медную копеечку. А шапка — та сразу куда-то подевалась. В узелке была, да. Потом, на поминках, вроде как ею позабавился кто-то, нахлобучил на пьяную голову. Видать, в шапке пьяный и ушел... Верно, верно! Тогда еще, на другой день, пастуха Илью всем селом искали — так и не нашли. Опосля говорили, то ли он в город в дворники подался, на легкие хлеба, то ли утоп пьяный в пруду. Которая тут правда — бог весть...

Так вот, значит, насчет тапок какая суть... Из-за тех смешных тапок старушке то и дело от взрослых внучек попреки. Позоришь, говорит молодежь, ты нас перед людьми. Мы, говорят, тебе кучу всякой обуви надарили, а ты... А старушка отмахивается и отвечает им только одно: «Мне, милые, до людей дела нет! Было б моим ногам хорошо, а соседи и не такое переживут. Я в этих тапках — как на крыльях. Мне в моих тапках и по дому легко, и куда выйти — нетрудно».

Оно и верно: старушке уж, считай, под сотню, а увидишь ее на улице — ну чисто скороход чешет.

История десятая. **Про старушку и портмоне**

Что такое — потерять портмоне?.. Портмоне, со всем его содержимым. Знаете?! А что значит — найти портмоне?.. Знаете?! Уверены?.. Угу, с одной старушкой такое случилось. Нет, у нее никогда не было своего портмоне. Поэтому она не могла его потерять — наоборот, она нашла. Случайно. В парке. Людей — никого, ни души, дождь накрапывает. Старушка аппетит на воздухе нагуляла, идет себе, торопится на свою уютненькую кухоньку. Поскорее бы к чаю. Вдруг видит — портмоне. Лежит на дорожке, у самого края. Пригляделась — ну точно, портмоне! Надо же! Аж сердце заколотилось. Красивое, а лежит некрасиво. Стала старушка караулить. Натура у нее была такая — не позволила спокойно пройти мимо. Забрать и быстренько, как ни в чем не бывало, уйти — тоже не позволила. Что делать?.. Вот она взяла и стала караулить. Караулила, караулила; дождь все сильнее. Старушка вся продрогла. «Подбирать чужое, конечно, неправильно, но бросить такое красивое портмоне просто так в луже — тоже нехорошо, даже еще хуже, — подбодрила себя старушка. — Такой

необычный случай, редкий. Надо же что-то делать...» И она еще покараулила. Она так целый час простояла под дождем. Если не больше. Ждала, ждала, когда испуганный хозяин примчится на поиски. Хотела посмотреть на того раззяву и сказать: «Где это вас, молодой человек, черти носят? Совести у вас нет! Столько времени! Я тут уже три часа стою, переживаю, волнуясь. Что это вы, молодой человек, себе позволяете? Что у вас за манеры вообще?! Бумажниками сорите... А там, небось, куча деньжищ... Может, вы олигарх? У вас, что ли, куры денег не клюют? Крупные купюры, небось... А еще и документы... Паспорт, небось, шоферские права... И карточки банковские с пинкодами... И фотография любимой женщины... Думаете, ей понравится, что вы тут бумажниками разбрасываетесь? Разве станет уважающая себя женщина жить с растяпой, который теряет где попало свое портмоне, с деньжищами и документами, и ее, красивую, в лужу бросает... Ладно бы на юге летом на пляже солнце напекло — можно понять. Или, на крайний случай, там, на вокзале — тоже куда ни шло. Но осенью, в парке и в луже — куда это годится... Да разве так можно! Это кем же надо быть, а?.. Смотрю я на вас и удивляюсь. Вы сами хоть понимаете, что творите? А если бы все это кто-то украл? Нет, вы вообще соображаете?! Представляете, чем это могло закончиться? Понравится вам такое? А вашей семье — понравится? А женщине этой, которая в луже уже раскисла вся?.. Хотите, чтобы бедные внуки за вашу глупость расплачивались? Не спорьте, молодой человек! За три часа в луже что хочешь раскиснет! А если бы кто-то на ваш паспорт взял кредит в банке? Да вы бы после всю жизнь с ипотекой не рассчитались! Так что не надо тут со мной спорить. Бедные были бы ваши внуки, бедные. И когда только вы умаразума наберетесь... Когда вас только жизнь научит... Разве этому вас учила ваша мать? Ведь не сирота же вы, нет? Была бы я ваша мать, вы бы у меня бумажниками с деньжищами и документами вот так запросто не швырялись бы. Уж я бы вас в строгости воспитала. Вы бы у меня в парках не знамо где и не знамо зачем не шлялись бы. И пинкоды на банковских карточках не выцарапывали бы. Не заставляли бы старушек переживать за вас, мокнуть тут под дождем. Совести у вас нет! А еще в очках и шляпе!»

Вот так бы она ему сказала.

Что верно, то верно: характер у нее был скверный, отвратительный. Вредная была старушка. Хлебом не корми — дай поскандальить. Она еще пять минут на что-то надеялась, постояла, постояла, расстроилась и домой пошла. А там еще долго не могла успокоиться, пила валерьянку с пустырником. Мысль о злосчастном портмоне никак не шла из головы. Нет, ну это же надо!.. Весь аппетит пропал.

А портмоне осталось там, где и лежало. Наверное, совсем размокло. Все — и деньги, и документы, и фотография...

Так-то вот. Старушка хоть и вредная, но совесть имела. Вот если бы поскандальить, душу вымотать — это сколько угодно, это да, это с удовольствием, это другое дело. А чтобы чужое взять — никогда. Нет. Зря только простудилась.



ДНЕВНИК БУЛГАРИНА. ПУШКИН

Главы из повести

Глава 1.

1.

Я вышел на крыльцо и захлебнулся. После жарко натопленного кабинета сырой майский ветер кажется заряженным лихорадкой, как пушка шрапнелью. Так и мечет в лицо. Прохожие льнут к стенам домов, караулят приподнятыми руками шляпы. Оставленный извозчик наконец тронул лошадей, подкатил. Запахнув плащ до горла, я сел в возок.

— Обратно едем, да поспешай!

Такой окрик обеспечивает обычную езду. А не скажешь — так и заснет на облучке...

Зачем он так топит? Сам ведь в глухо застегнутом мундире — и ни единой капельки, ни единого проблеска, кожа сухая, однако ж — румяная. Не болеет ли Александр Христофорович... Сколько ему лет — около сорока пяти?.. По манерам обычен, в разговоре скор так, что не всегда поспеваешь. Кстати, не было ли сказано чего лишнего?..

Здоровье у графа Бенкендорфа отличное, не то что у брата Константина — тот моложе, а, говорят, уже хвор. Тут перемен не ожидается.

Каждая встреча с Александром Христофоровичем — как экзамен. И не розог страшусь за неправильный ответ, страхи тут поболее. Точно ли ничего лишнего? Я перебрал в уме весь разговор — дела литературные, дела цензурные... Вроде бы ничего. И тон генеральский не менялся — всегдашняя ласковость и отеческая опека. Как бы испытать, что за этим сухим румяным профилем, за внимательными, иногда пустыми глазами... Куда они направлены в минуты этой пустоты? Какие планы там, в глубине, зреют?.. Испытать страшно, переэкзаменовки-то не будет. Слишком светский, политический человек Александр Христофорович. Такой улыбается-улыбается, а случись оказия — таким же ровным голосом пригласит: извольте в крепость, любезнейший Фаддей Венедиктович. Не сам, конечно, сам-то не решится, а высочайшего — испросит...

Жарко от этого. Вот от этого и жарко! От жерла разверстого... По склонам — гуляй себе, а на самом дымном верху — узкая дорожка: тут жар, а тут — обрыв. Ступить в сторону некуда и поддержки искать негде. И участия... Тяжело так-то жить. Один друг на свете остался — драгоценнейший Александр Сергеевич, и тот далече. Делами персидскими занят, да и сам в немилости, тут не до поддержки. За него



самого сердце щемит... Кто руку протянет? Греч? Пожалуй, что денег ссудит — на бегство, а потом еще — как с Кюхельбекером поступит...

Часто, слишком часто извив мысли тянет назад, в прошлое. Там навсегда остался верный друг Кондратий. Возврата нет, а как сладко представить, что Рылеев есть, а никакого Бенкендорфа — нет. А что, если бы переворот 1825 года удался?... Ведь был у них шанс... Хотя мизерный... И тогда не было бы Третьего отделения Его Императорского Величества Канцелярии... и самого величества могло не быть... Свобода, равенство, братство... Или кровавое торжество изобретения доктора Гильотена... Французы хорошо помнят, что так оно и было — вчерашние товарищи наполняли гильотинные корзины головами врагов и друзей поровну. Спасибо императору — остановил вакханалию. И это в цивилизованной Европе, колыбели просвещения! Что было бы у нас, с нашим, российским размахом... Кто бы у нас сыграл роль великого Буонапарта?... Нашелся бы новый Петр, умевший усмирить и направить народ русский? Или бы новое Смутное время началось — похлеще прежнего... Коли так, то была бы это не революция, а смена слабого царя сильным, то есть смена династий — Романовых на Пестелей... Как в той же Франции.

Как ни плохо монархия, а ничего лучше для России не придумано. Победы тогда Рылеев сотоварищи — народ бы не понял, что случилось, кто правит. Ему нужен один — помазанник Божий. Очень важно, что это за человек, что думает. Каким полагает свое предназначение. О чем мечтает, от чего мечты эти зависят, кто их ему дал...

А каковы мечты Александра Христофоровича? О чем может мечтать правая рука государя?... Впрочем, для человека честолюбивого и властного власти много не бывает. А кто правая рука самого Бенкендорфа?... Мордвинов? Фон Фок? Нет, пожалуй, не Мордвинов и даже не фон Фок. Но, допустим, был бы такой человек! Он бы влиял на Бенкендорфа, тот — на царя... тогда бы вышло, что человек этот тоже на царя влияет. И тот, кто на этого человека влияние имеет, влиял бы через него и на царя. Получается, что на самом могущественном человеке больше всего влияний и сходится... Забавная выходит арифметика. А если люди объединяются и действуют одной волей, одной идеей, их влияние возрастает, делается решающим. Переворот, в котором было замешано всего-то несколько сотен заговорщиков, не удался, но как России всю это всколыхнуло! Как царя ожгло: он теперь не то что на молоко дует — на ветер, на траву с подозрением глядит! Говорят, и во Французский театр потому не ездит, что его родина — корень свободомыслия. Или это Бенкендорф пугает?... Нет, Его Величество сам себе на уме, никто ему свою волю не навяжет. А вот чуть повлиять может, ведь тут важно не *что* сказать, а *как*, важно мнение. Чуть да чуть, да еще чуток... Вода камень точит. Вот так только и можно у нас в России действовать. А на площадь солдат вести — те времена миновали. Этот урок все накрепко усвоили. Только стоил он дорого. Ведь никто о расстрелянии не думал, не ждал. Был ли Кондратий Федорович повинен смерти? Кто смерти другого искал, да не простого, а венценосного... Поднялась бы рука?

Не с того начинать надо было. Нынче бы они уже генералы были, министры, камергеры. Вот бы и улучшали отечество по мере сил. Теперь тем, кто остался, издалека начинать приходится — чуть да чуть, да еще чуть-чуть... Добром надо, примером хорошим. А рассказать о хорошем должны писатели наши первые, журналисты. И это уже делается. И я свое слово еще скажу — печатное слово, такое, что не вырубишь топором. В начале было Слово — не стоит забывать об этой силе. И слово мое еще отзовется в счастливых потомках благодарностью... Тем и жив буду.

2.

Извозчик остановил коляску на Мойке, под стеной серого тяжелого дома.

Как же обманчива бывает внешность... За этой стеной, покрытой мелкими трещинами и глинистыми разводами вечной петербургской сырости, скрывается гнездо высокого искусства, плетения словесных кружев. Легких, но весомых, ежедневно меняющихся, но при этом оставляющих глубокий след в умах людей. Точное слово, ловко запущенный слух, отточенная до булатного острия колкость может изменить

репутацию человека, мнение общества. Мало кто это понимает так отчетливо, как я. Второсортная ныне профессия журналиста в скором времени по значению обгонит высокомерных братьев-писателей. Газета быстрее, дешевле, ближе к жизни, чем большинство романов. Начав как писатель, я потерял в глазах общества, перейдя в журналисты. Но что бы я стоил сейчас без моей «Северной пчелы»... Да и обратно путь не заказан — уже пишется, пишется *роман*...

Ловлю себя на подобных рассуждениях и дивлюсь — что за манера. Думал уже, старость подбирается со своими причудами — что толку все это городить в голове посреди бала, в присутственном месте, на крыльце какого-нибудь министра... Потом заметил, как слова эти складываются в ненаписанные еще статьи и повести, и понял, что болезнь не старческая, а профессиональная. Все лестничные марши, возки, застолья — пристанища самых разных мыслей и слов, колыбели журнальных полемик, пьес и романов.

Сотрудники знают мой обычай: как захожу в кабинет — полчаса никого не пускаю, даже Греча. Один только нетерпеливый Сомов сунулся в коридоре, но я лишь кивнул и прошел мимо. Это правило выработано годами, оно — следствие наблюдений над собой. Надумаешь так чего-нибудь в возке, особенно газетное, отдашь сходу приказ, а потом выходит нелепица или того хуже. Все придуманное на лестнице надобно еще подробно разложить, а потом уж в дело пускать. Горячность — она всегда вредит. Но у кого-то с молодостью она проходит, а у кого — сидит в крови, как у нас, поляков. Вот и друг драгоценнейший, Грибоедов, на Кавказ, а затем и в Персию не по своей воле попал, а по горячности. Принял участие в дуэли — секундантом, правда, ну да добром дело все равно не кончилось. На Кавказе, куда пришлось уехать, почти в ссылку, он встретился со вторым секундантом, Якубовичем. Они дрались, и Якубович искалечил Александру Сергеевичу руку. Но Грибоедов, благородная душа, его простил.

А ведь был случай, когда и мы с другом Рылеевым к барьеру встали. Вот что горячность-то делает! Кондратий Федорович молодецват был, никому усмешки не спускал, а я по несдержанности глупой эпиграмму на его стихи сочинил, да еще напечатать обещал. Вот и дошло дело до пистолетов, да на шести шагах. В последний момент я сказать успел: «Кондратий! На войне мы себя испытали — нечего тут ребячиться. Представь: пройдет пять, десять лет. Эпиграмму эту ты забудешь, а то, что друга своего убил — не забудешь никогда. Я в тебя стрелять не стану, так и знай», — и выстрелил вверх. Рылеев дернулся, словно кто его кнутом огрел, вскинул руку с пистолем, потом бросил и обнял меня. Но даже после этой истории Кондратий как-то в запале обещал мне на подшивке «Северной пчелы» голову отрубить. Странно — про дуэль я почти забыл, а эту фразу с «Пчелой» часто припоминаю. Кто знает, что было б, коли мятеж бы удался! Ну да об этом думано-передумано... А через пять лет после дуэли несостоявшейся, в роковом 1825-м, я Кондратию Федоровичу пригодился — последнюю службу сослужить взялся. С тех пор и несую потаенно.

Это потрудней будет, чем лоб под пулю подставлять. Даже отчаянный трус три минуты под дулом выстоит, а вот попробуй, как я — годами стоять. Такую закалку только на войне, в походах получить можно, когда бесконечные маневры и переходы изматывают до последней степени, когда на бивуаке, в поле, вместо подушки кладешь голову на тело поверженного врага! Вот от этого и научаешься терпеть, не обращать внимания на житейские неудобства и даже тиранство. А воевать мне пришлось с семнадцати лет.

Из памяти вдруг всплыло почти забытое... зря я вспомнил про *подушку*. 1807 год, окраина деревушки под Гейльсбергом. Лошадь подо мной убита, я прячусь от колонны французских драгун позади крестьянского дома, за дровами, выложенными стеною. В руках у меня единственное оружие — подобранная лейб-казачья пика. Выглядываю из укрытия и вижу отставшего от колонны драгуна, остановившегося подтянуть подругу. Я бросаюсь на него с пикой, он замечает, вскакивает в седло и направляет свою лошадь на меня. Всадник все ближе, он вырастает до невероятного размера. Здоровенный француз уже перегнулся из седла для удара, но я успеваю чуть раньше ткнуть его пикой в бок. От тяжести живого и судорожно дергающегося тела руки мгновенно немеют, в ушах звенит. И одновременно животный жар бьет в

голову — я жив! Огромный драгун сваливается с лошади и волочится, застряв ногой в стремя. Он ворочается, в его боку торчит моя пика, кровь льется толчками и сворачивается на дороге в пыльные шарики. Я снова берусь за древко, упершись ногой в бедро убитого Голиафа. Лезвие выходит с трудом, вытягивая наружу кусок розовых внутренностей. Я снова собираюсь в атаку — на лошади убитого и с этой отвратительной кровавой пикой наперевес...

Что не менее страшно — после этого, первого своего боя, я отломил у пики лезвие и положил в чемодан, на память!

Молодечество и бездушие ребенка, не понимающего своих поступков, превратилось с годами в кошмар. Вина, отвращение к себе тогдашнему дрожью ударили по нервам, вызывая приступ паники. Во рту образовался кислый привкус, словно я жевал трензель, его надо срочно заесть, забить, забыть.

В каждом звании, каждом сословии есть для человека счастливые минуты, которые приходят только однажды и запоминаются на всю жизнь. В военном звании, которому я посвятил себя с детства, три высочайших блаженства: первый офицерский чин, первый орден, заслуженный на поле сражения, и... первая любовь. Для человека, изжившего свой век, все это уже не трогает сердца. Юноша в первом офицерском чине видит свободу, в первом ордене — свидетельство того, что он достоин офицерского звания, а в первой взаимной любви — рай. Как я был счастлив, получив за Фридландское сражение Анненскую саблю. Не знаю, чему бы я теперь так обрадовался. Тогда ордена были редки, все рескрипты подписывал сам государь, и, получив такой, я в первый день затвердил его наизусть:

«Господин корнет Булгарин!

В воздание отличной храбрости, оказанной вами в сражениях 1-го и 2-го июня (1807 года), где вы, быв во всех атаках, поступали с примерным мужеством и решительностью, жалую вас орденом Св. Анны третьего класса, коего знаки препровождая при сем, повелеваю возложить на себя и носить по установлению, будучи уверен, что сие послужит вам поощрением к вящему продолжению усердной службы вашей.

Пребываю вам благосклонный Александр».

Все новые кавалеры собрались в Мраморном дворце, и шеф наш, Его Высочество цесаревич, вручил каждому рескрипт и орден и каждого из нас обнял и поцеловал, сказав на прощанье: «Поздравляю и желаю вам больше!»

А затем была и первая любовь. Из глубины памяти всплыло очаровательное личико Шарлоты: чуть приподнятая верхняя губка, черные локоны, матовая кожа... А глаза... глаза — сама живость, искренность, игривость, желание. О, как они могли передать все оттенки любовной игры — от легкой искры до глубокого темного пламени страсти! Как приятно было погружаться и всплывать, чтобы только набрать в грудь воздуха. Она хохотала над моими выдумками, лукаво шурилась или грациозно изгибалась. В неистовстве она хрипела, а на вздернутой губке выступали крошечные соленые капельки... Как счастлив я был тогда с ней!

Цирцея и Калипсо в одном лице — так, помнится, характеризовал ее полковник Талуэ. Лишь с третьего его намека понял я, что это Шарлота искала моего расположения, а не я ее (как думал!), и с корыстной целью — она оказалась коварной шпионкой. С течением времени прекрасная француженка превратилась в приятное, щеко-чущее чувства воспоминание, хотя тогда, в декабре 1807 года, ее разоблачение доставило мне немало горьких минут. Но что те минуты — злая приправа к европейскому изысканному блюду, в сравнении с месяцами, годами неутоленного чувства.

От шпионской мелодрамы мысли проскочили сразу в драму. Лолина, сжался надо мною! Всего месяц я смел ее так называть — да и в этот месяц не питал надежды хоть сколько-нибудь к ней приблизиться. Она меня звала по-польски — Тадеуш. От воспоминаний об этом коротком времени сразу бросает в трепет лихорадки. Один раз я держал ее в своих объятьях! Не по взаимному влечению, а благодаря божественному капризу римской весталки. Тогда решилось дело — ее просватали за богатого старика, она была в отчаянии... Я как сейчас помню ощущение совершенства, горячей кожи, болезненного воспаления чувств, за которым обморок, смерть. Воспоминания этих сладких судорог такие же острые, как толчки агонии, сотрясающей древко лейб-казацкой пики...



Моя *Лолина* — так я звал и зову ее только про себя. Лолина смеялась, играла, я робел и старался растопить ее сердце описаниями своих военных подвигов и мадригалами на польском языке. Что ей было до одного из поклонников, молодого, без состояния, без определенных видов на будущее. Тогда, в Париже, я был стеснен в средствах, только собирался поступить на службу к императору... Да и солдат был Лолине, верно, не нужен. Как оказалось после, нужен был генерал. Любит ли она своего Витта?..

Светская и страстная, все обещающая и ничего не дающая, искренняя и коварная, воспламеняющая и холодная, как медный пятак. Быстрый ум ее в сочетании с неодолимым очарованием приводили к непонятному онемению. В ее присутствии я с трудом подбирал слова, путался не то что во французском — в родном польском языке, неловкими движениями задевал всякие безделушки, которые она так любила. Впрочем, наверное, и теперь любит. Сильно ли она переменялась... Мы не виделись шестнадцать лет — целый пуд времени...

3.

Первым в кабинет, как обычно, зашел Николай Иванович.

— Какие новости? — спросил он сразу.

Греч, как и все, уверен, что я знаю больше других. Это дорогого стоит, когда ближайший помощник свято верит в твоё всезнание. Но как же трудно поддерживать такую репутацию! Хорошо, что до Александра Христофоровича я успел заехать в министерство иностранных дел и услышал свежие новости. Да пару сплетников повстречал. Есть люди, которые находят удовольствие в том, чтобы рассказать издателю газеты новость, какой он еще не знает. Удивитесь такому известно — и будете регулярно бесплатно получать целый ворох сплетен и пару новостей. Различить их просто: сплетни — подробные, обкатанные, с множеством красочных деталей, а свежие новости — путанные, обрывистые, их обязательно надо проверять и дополнять сплетнями. Так вашу газету будут читать непременно.

— В Нью-Йорке отпраздновали День благословения велосипедов, — сказал я.

— Американцы готовы поклоняться всему техническому, — заявил Николай Иванович. — Это не новость.

— В Дрездене умер Фридрих Август, король Саксонии.

— Какая потеря! — воскликнул Греч. — Ведь это один из самых знаменитых государей Европы. Недаром народ прозвал его Справедливым!

— Недаром. Я это знаю еще и потому, что он был герцогом Варшавским, — сказал я. — Но вот судьба: этот король всю жизнь стойко стремился к нейтралитету, а его солдаты воевали сначала против французов, затем за Наполеона. Саксонцы, шедшие с Неем на Берлин, были почти уничтожены в битве при Денневице, а в благодарность услышали от Нея обвинение, что благодаря им он и был разбит. Когда Наполеон оставил Дрезден, Фридрих Август с семьей последовал за ним — более как пленник, чем как союзник. Затем, в битве при Лейпциге, Фридрих Август был взят в плен уже союзниками, а его несчастная страна, сделавшаяся главным театром военных действий, невыразимо страдала и от французов, и от союзников.

— Но после войны король, необходимо отдать ему должное, старался залечить раны своей страны — и успешно, — глубокомысленно заключил Греч.

— А еще Англия и Франция готовы вместе с Россией выступить против Турции, — совершенно спокойно сказал я.

— Да ведь это сенсация! — воскликнул Греч. — Что же ты молчишь? Решение принято?

— Великие державы боятся, что Средиземноморье окажется во власти России, потому жадуют участвовать в антигуссарской коалиции. Теперь греческие патриоты могут рассчитывать на серьезную поддержку. Но это пока только сведения, — я покрутил пальцами в воздухе.

— Хорошо, я курьера пошлю к Родофиникину.

— Пошли, голубчик Николай Иванович. Ты уж сам все это отпиши да цензуре отправь.

Чем хорош Греч — усидчивый. Лучшего корректора я в жизни не видал, жаль только, что он еще и редактор. Тут от его слишком правильной русской речи одна статья поневоле делается похожа на другую. А доказать это автору первой «Пространной русской грамматики» нелегко.

В гранках оказались лишь две полосы, пришлось Николая Ивановича просить налечь на редактуру. Тут он всегда готов. А задержку образовал, как всегда, Сомыч.

— Что он там пишет-то? — спрашиваю.

— Критику на Полевого.

— Так гони его ко мне, я ему всыплю!

Тут дверь сама распахнулась, и в кабинет ввалился Сомов.

— На ловца и сом бежит! — не сдержался я и отвесил каламбур. — Орест, где критика, которую ты обещал... когда сделать?

— К полудню сегодняшнему, — быстро подсказал Греч.

— Но ведь нельзя так-то — по заказу, — выдохнул Сомов.

Он забормотал что-то про воображение, про вдохновение... Как утомили меня деятели, путающие журналистское ремесло с писательским делом. Не нужно никакого вдохновения, чтобы сообщить, что в дворянском собрании состоялся бал или на прошпекте столкнулись две кареты. Как и для изложения того факта, что Полевой в последнем номере «Московского Телеграфа» написал ерунду.

— Да и не это главное! — заявил вдруг Сомов.

— Про аванс даже не заикайся, — рявкнул я. — Чтоб через час...

— Нет же, — перебил меня этот нахал. — Пушкин приехал! То есть — приезжает сегодня! Меня знакомый известил.

— Тоже мне, новость сказал! Мне об этом третьего дня письмо из Москвы прислали, — сказал я, не моргнув глазом. Где это видано, чтоб редактор о приезде знаменитого писателя не знал!

— Так коли знаете, отчего ж...

— Что — тебя не просветил?

— Я в том смысле, что известить читателей, — насупился Сомов.

— Я вот сейчас только сел заметку писать, да тут ты со своей критикой отрываешь. Делом, делом занимайся, Орест. Чтоб через час твой Полевой был у наборщика!

— Хорошо, Фаддей Венедиктович.

— Смотри, Сомыч, оштрафую!

Сомов скрылся за дверью, а Греч тут же встал в позу:

— Что же это ты, Фаддей Венедиктович, и мне ничего не сказал?

— Пушкин и Пушкин — и бог с ним, — отмахнулся я, — Веришь ли, Николай Иванович, так закрутился, что позабыл совсем. Верно, пошумит — да обратно уедет. Государь-то его совсем не простил.

— Раз в столице пустил, то простил, — резонно заметил Греч. — И, кажется, я вправе спросить...

— Виноват, Николай Иванович, виноват, но, ей богу, позабыл! Да и письмо не третьего дня, а вчера только пришло, это я Сомычу так, для острастки сказал.

Оправдание вышло корявым, но легенда о всезнайстве главного редактора не должна быть поколеблена ни на йоту — вот основной постулат, на котором зиждется весь предыдущий разговор. Я и задуматься как следует не успел о том, кто приехал, почему, а уже все всем постарался объяснить. Греч остался недоволен, ну да я его приласкаю — похвалю за статью, да и дело с концом.

Пушкин, Пушкин... Значит, допущен к проживанию в столице. Полное прощение?.. Кто так близко знаком был с заговорщиками, полностью никогда прощен не будет. Подозрение останется. Это я по себе знаю.

Каков он?.. Вот и познакомимся. Верно то, что про него ранешнего рассказывают — все теперь не так. Но талант его в ссылке несколько не оскудел, это видно по стихам, вышедшим в Москве.

Кстати, а почему, собственно, я о приезде Пушкина не знал... Сплетники, допустим, не успели узнать, но Александр Христофорович — он-то наверное знает. Отчего же промолчал?..



От секундного колебания бросило в дрожь. Неужели я сказал что-то лишнее... Во второй раз лихорадочно перебрал в уме весь разговор с Бенкендорфом и даже припомнил последнюю записку для него. Нет, не было ничего — ни крамолы, ни двусмысленностей, ни намеков. Намеком, конечно, что угодно можно истолковать, но ведь генерал не может быть предубежден против меня — не за что. Ни одна его просьба мною не манкируется.

Стало быть, причина в другом... В чем же? Забыл? До сих пор ничего не забывал, а тут — забыл?.. Неспроста ведь Александр Христофорович всегда так ловко разговор ведет — он планчик себе заранее составляет, готовится — это уж наверное! И важного пункта он бы из своего плана не выпустил... Вот, вот ключевое слово — *важно!* Вернее всего, Бенкендорф считает неважным как приезд Пушкина, так и его самого — всего лишь одного из известных, да и только, литераторов. А Пушкин совсем не таков, от него много чего ждать следует. Тут Бенкендорф, к счастью, туп. Потому и имеет надобность в Фаддее Венедиктовиче. Я тот, кто пережевывает для него литературное мясо, обнажает костяк журнальной полемики, выявляет сочленения и связи жизни общества, превращая грубую пищу первичного слова в удобоваримые котлетки и прозрачный бульончик служебных записок. Александр Христофорович сам диетически питается и Николаю Павловичу из того же судка подает. На этой кухне я — шеф-повар. Говорят, что в восточной кухне высшим достижением считается такое блюдо, которое непонятно из чего приготовлено. Рыба похожа на свинину, грибы — на рыбу, водоросли — на овощи. Я достиг высокого искусства в подобной кулинарии, но если в такой «свинине» генералу, а тем паче царю встретится рыба кость — со мной и поступят по-восточному жестоко. Но пока они не могут сами переваривать свежего мяса, до тех пор им нужен Булгарин. И благодаря этой зависимости Александра Христофоровича от моих записок — легкой зависимости, надо в том отдавать себе отчет, — я сохраняю возможность маневра, держусь своей позиции, храню «Пчелу», пишу *роман*. Только площадка эта с годами сужается, а не расширяется. Почему так? Тому, кто управляет страной самодержавно, ненавистна мысль, что есть место, газетная или журнальная полоса, где нельзя все построить, расставить раз и навсегда. Сколько цензура ни марай рукописи, а слово живое всегда протиснется, свое место найдет. В наш век общество привыкло читать — как девицам остаться без мадригалов, чиновникам без новостей, военным без гимнов своей славе... А за ними купечество и остальной люд — все приучаются к слову. Чье слово читают, тот и велик. А у кого самый большой тираж в России?..

Что это я себя в повара-то произвел вдруг... Верно — обедать пора, а ведь тут еще дел гора. Я вдруг вспомнил о бумагах Бенкендорфа, достал из внутреннего кармана листки. Статья переписана писцом, да по первым строчкам понятно — фон Фок руку приложил, его стиль. Я невольно усмехнулся своим прежним рассуждениям. Не только меня читают — и его слово разлетается четырьмя тысячами экземпляров по России. Это дань Бенкендорфова. А ведь моими стараниями «Пчела» стала самой большой и влиятельной газетой Российской Империи.

Ладно, одной заботой меньше — Андрей Андреевич пишет складно, его можно и в наборе прочесть. Я отложил статью Ивановского к готовым, наклонился над столом и стал выводить: «Приезд знаменитого писателя! Из Москвы нам пишут о приезде в Санкт-Петербург неподражаемого поэта А. С. Пушкина...» Какое уж тут, к ляду, вдохновение, надо было Сомыча хоть расспросить аккуратно — что ему еще об Александре Сергеевиче известно...

4.

Истомина танцевала как всегда божественно, все аплодисменты по праву достались ей. Но внимание и испытующие взгляды были направлены на другую персону — Пушкина. После многолетнего отсутствия знаменитый поэт впервые явился на глаза столичной публики. Каков он?.. Кто знал Александра Сергеевича ранее, сравнивал поблекшие уже воспоминания с нынешней картиной, выискивая с помощью лорнета следы старения или прежнего молодчества. Кто не знал — не только смотрел, но и прислушивался к пересудам знатоков. Пушкин проявил себя, как следовало

ожидать, оригиналом — явился ко второму действию в кампании близких друзей, Дельвига и Плетнева, да не просто явился, а остановился в глубине зала, опершись локтем на бюст императора Николая. Позер — как о нем и рассказывали. Впрочем, так он ясно дает понять, что прекрасно знает свое положение и интерес, направленный на него. Но что за дело рассматривать героя издали...

Я сразу покинул свое кресло и подошел сквозь толпу к Пушкину, знакомиться. Барон Дельвиг отрекомендовал меня.

— А я угадал вас, — сказал Пушкин, скаля зубы. — Мне верно вас описали.

— Зато вас угадывать нужды нет — вы сегодня премьер! — в тон ему ответил я.

Дельвиг поморщился, а Александр Сергеевич совсем рассмеялся.

— Чтобы произвести сегодняшний эффект, мне пришлось провести несколько лет вдаль, в деревне. Согласитесь, быть кумиром четверть часа, между двумя па Истоминой — того не стоит!

— Царить четверть часа между биениями ножек Истоминой — об этом простой смертный может только мечтать.

— А вы большой шутник, Фаддей Венедиктович, — усмехнулся Александр Сергеевич. — Но ведь мы не простые смертные, — со значением добавил он. — В письмах об этом писать не с руки, а при знакомстве не могу не поздравить — вы за время моего отсутствия в столицах сделали замечательную карьеру.

— Спасибо. Как и вы.

— Не все так думают.

— Убедятся.

После обмена быстрых реплик Пушкин сделал паузу, которой я воспользовался, взял его под локоть и отвел от приятелей.

— Александр Сергеевич, вы, верно, в деревне не бездельничали, видел я ваши писесы в «Московском телеграфе», «Московском вестнике». Совершенно восхищен. Особенно этим:

Я помню чудное виденье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное мгновенье,
Как гений чистой красоты.

— Вы виденье и мгновенье местами поменяли, — поправил Пушкин недовольно.

— Верно, простите, память-то кавалерийская, все галопом! — смущенно хохотнул я.

— Ничего, — отмахнулся Пушкин, — главное — в газете не переврите.

— Ловлю на слове, Александр Сергеевич. Извольте и нам, в «Пчелу», что-нибудь предложить! Гонорар будет хороший, да и тираж, сами знаете, на всю Россию. Или ж в «Литературные листки».

— Так ведь ничего не осталось, все-все Полевой и Надеждин в Москве выпотрошили.

— Но в архиве-то, наверное, что-то оставлено? Про запас...

— Оставлено, конечно.

— Александр Сергеевич, хотите по семи рублей за строчку?

— Не всякий архив опубликовать можно... и даже хранить, — сказал Пушкин и вдруг посмотрел мне прямо в глаза. — Уж вы-то, Фаддей Венедиктович, лучше других это знаете!

— Цензуре подвержены... как все, — развел я руками.

— Да я не о цензуре, — тихо и куда-то в сторону, *по-театральному* сказал Пушкин.

— А о чем? О журнале «Северный архив»?

Александр Сергеевич мотнул головой.

— Архивы бьвают свои и чужие. Чужим распоряжаться сложнее. Верно?.. Извольте, Фаддей Венедиктович, пришлю стихов — из нового. Хотите поэму?

— По пяти рублей?

Пушкин снова развеселился.



— Я чувствую, мы с вами сойдемся! Да только не в цене — очень вы прижмитесь, Фаддей Венедиктович.

— Вижу, что негоже с вами рядиться, Александр Сергеевич, не тот вы человек.

— Вот и славно. Так ждите — пришло! — пообещал Пушкин.

Тут дали занавес — и мы расстались. Я занял свой партер, а Пушкин, дабы не смущать Истомуна незаслуженным видом затылков, прошел в одну из передних лож.

Глава 2.

1.

«Любезный Фаддей Венедиктович!

Уверенный в Вашем бесконечном добросердечии, обращаюсь к Вам так, словно Вы уже простили мои пустые обещания. Нынче я перед Вами чист — судите по толщине пакета! Это лишь толика того, что обещаю дать в ваши журналы после осени в Михайловском. О цене мы говорили.

Свидетельствую вам искреннее почтение.

Пушкин.

Санкт-Петербург, 17 октября 1827 года».

Можно ли дуться на человека, так владеющего пером и чувствами читателя... А вот Бенкендорф не отдает этой фигуре должного. Был бы Александр Христофорович в театре, понаблюдай он за публикой... Хотя, верно, о настроениях публики он получил донесение, и не одно, но счел это пустой сенсацией. Не понимает он, что сила строк, написанных талантливой рукой, может быть не меньшей, чем сила приказа главнокомандующего, бросающего полки на смерть. Как солдаты согласны идти в огонь, так и пылкие сердца готовы следовать слову кумира. И Пушкин тут прокладывает первую стезю.

Ну и хорошо, что не понимает... От греха — подальше.

Издатель — он первооткрыватель. Только путешественник наносит открытую гору или остров на карту и прославляет свое имя. А издатель — имя автора. Оттого у него рождается и прямо противоположное желание — сохранить открытие для себя. Возможно ли такое? Во всяком случае, не с Пушкиным; Пушкина, как говорится, в мешке не утаишь.

Поддавшись настроению минуты, я написал ответ.

«Дорогой Александр Сергеевич, с благодарностью принимаю Вашу посылку. Такое сокровище можно не то что месяцы, а и всю жизнь ждать!

Ваши пьесы прекрасны: какая глубина! какая смелость и какая стройность! Особенно хороши новые главы Онегина. Вы, несравненный Александр Сергеевич, как некий херувим, занесли нам песен райских, кои — воистину — итог божественного вдохновенья, а не расчета низкого.

Но и без низкого прожить — никак, потому подтверждаю, что готов опубликовать в «Пчеле» мелкие вещи по оговоренной ставке. На большие вещи не посягаю (в «Пчеле» они не поместятся, а в журналах я такую высокую ставку предложить не могу), ими вы, полагаю, распорядитесь дополнительно. Но оставляю за собой право написать хвалебную критику на все — так мне нравятся творения Ваши. Впрочем, никакая критика не сможет одним доступным ей инструментом, низкой алгеброй, понять, поверить Ваш священный дар.

С величайшим почтением,

Ваш слуга Фаддей Булгарин».

На минуту я даже размечтался: вот бы стать единственным издателем Пушкина! Для этого и газета, и журналы: «Сын Отечества», «Литературные листки», «Северный архив», «Талия» — есть где разгуляться... Да невозможно это. Наверняка друзья потянут его в «Северные цветы» и прочие альманахи. Да и рамок ему никто не задаст — не то что мы, грешные, а и Александр Христофорович... и даже государь.

2.

«Пушкин приехал!» — заорал в коридоре Орест Сомов. На этот раз он меня не удивил. Я успел отложить статью из иностранного отдела, писанную Гречом, встал из-за стола. Дверь распахнулась, в проеме возник Пушкин. Он мгновенно окинул кабинет и остановил взгляд на мне. Глаза смотрели остро, с доброжелательным интересом. Сразу начал шутить. Это всегдашняя у него манера или только со мной?..

— Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич!

— Добрый день, любезный Фаддей Венедиктович. Уж не намекаете ли вы, что я вам дорого обхожусь?

— Нисколько. Истинному таланту цены нет.

— У рукописи всегда мера найдется. Теперь бы и Гомера продали! Скажите, сколько бы вы ему за строчку дали? Почему у вас гекзаметры? Дороже наших ямбов с хорейми? — оскалился Пушкин.

— Так они и длиннее, Александр Сергеевич, — сказал я и жестом пригласил его в свое кресло, — вот, присаживайтесь, гранки готовы.

— Нет, увольте, на редакторское место мне рано. — Пушкин сгреб со стола приготовленные гранки стихов и устроился в кресле у низкого столика. — Вы позволите?

— Как вам удобно.

— И перо, пожалуйста.

Я подал свое, со стола.

— Длинной в гекзаметр, — сморщился Пушкин. — И вы такой оглоблей все-все отмахиваете?

— Этим я чужое режу, — пошутил я, но Александр Сергеевич, кажется, принял всерьез, кивнул и склонился над рукописью.

Меня для него больше не было. Он погрузился в текст, иногда шевелил губами, два-три раза сделал отчеркивания, что-то вписал. Я занял свое редакторское кресло, притянул вновь статью Греча, но исподтишка наблюдал за Пушкиным. Вот так он и работает?.. По крайней мере, отречение полное. Я хотел предложить ему чаю или кофе, но не решился отвлечь. Греч мне не шел, тогда я сообразил, что еще надо сделать. Влез в стол и достал пачку ассигнаций, отсчитал положенное — двести пятьдесят рублей. Коли он все про деньги говорит, значит, находится в безденежье. Помещик он, я слышал, небогатый.

В четверть часа все было кончено.

— Вот тут, Фаддей Венедиктович, — я быстро подошел, — надобны запятые, тут точка. А здесь заменить «влекомый» на «гонимый» — будет точнее, мне только что на ум пришло. А здесь две опечатки — обязательно поправить надо.

— Хорошо, Александр Сергеевич, все будет в точности исполнено... Извольте, вот гонорар.

Пушкин вскочил, взял деньги, сунул их в карман.

— Это кстати. Я обедать собирался, не хотите ли присоединиться? — просто сказал он.

— С превеликим удовольствием, — принял я приглашение через короткую паузу, — только распоряжусь.

Признаться, в эту секунду я пытался понять причину приглашения: внезапный порыв или замысленный расчет?..

Нашел в коридоре Сомова и отдал ему гранки с наказом проследить правку и сообщить Гречу, что сегодня, верно, уже не буду. После вернулся к гостю.

— Так едем, у меня и извозчик готов, — сказал тот.

Пушкин велел ехать к «Доминику». Дорогу мы потратили на болтовню об общих литературных знакомых. Пушкин был оживлен, сплетни его, казалось, искренне забавляли. В ресторане Александр Сергеевич спросил отдельный кабинет.

— Читаю в глазах ваших, Фаддей Венедиктович, род того удивления, какое бывает при том, когда певчий бас в литургии дает петуха.

— Не скрою, Александр Сергеевич, удивлен, но с приятностью.



— Считаю, что нам следует ближе быть знакомыми, ведь мы люди одного круга.

— Безусловно. Русская литература для нас...

— Правда ли, что ваш батюшка весьма родовитый дворянин?

— Что?.. Да. Наш род известен с конца XVI века. Основателем считается севский часник Василий Григорьевич. Старый князь Карл Радзивилл был опекуном моего отца, когда тот остался сиротой.

— А Радзивилл — королевского рода! Вот видите — хоть мои предки и постарше ваших, мы вполне можем ладить, — подмигнул мне Пушкин.

— Трудно понять, когда вы шутите, Александр Сергеевич, а когда — серьезно.

— Почти всегда серьезен.

— А мне кажется — напротив. Или вы все свои шутки дарите мне?

— Не обольщайтесь... Икры хотите?

— С удовольствием.

— И шампанского.

Пушкин заказал закуски, три перемены, сверх того — шампанского, много вина и просил меня не беспокоиться.

На первых закусках разговор затих, Пушкин выказал жадность к еде, словно пропостовал неделю. Расстегаи были особенно хороши, белужья икра свежая, а красная чуть солоня. Пушкин нравилось все, все хвалил, над всем причмокивал толстыми чувственными губами.

Первый тост подняли за литературу.

— Литература — призвание ваше, — молвил Александр Сергеевич, — но ведь начали вы с военного поприща — впрочем, как многие. Но когда вам пришлось в голову это занятие?

— У нас в корпусе был театр, стихи писались, — сказал я. — Да и военную карьеру мою в России, честно говоря, оборвала, в какой-то мере, литература — я же сатиру на полкового командира написал. На гауптвахту попал, но тем дело не кончилось. Впрочем, бывают и совершенно обратные карьеры, — закончил я рассказ.

— Как это? — заинтересовался Пушкин.

— Знал я двух молодых поэтов, которым пришлось идти в бой именно во искупление своих стихов.

— Расскажите, расскажите!

— Извольте. Было это в финскую кампанию. В корпус графа Каменского присланы были из Петербурга военным министром, графом Аракчеевым, поручики Белавин и Брозе, не помню какого пехотного армейского полка. И вот за что: общими силами они написали сатирические стишки под заглавием «Весь-гом». Осмелюсь напомнить, что прежде командовали: «Весь-кругом», — и что это движение, фронтом в тыл, делалось медленно, в три темпа, с командой — раз-два-три. А потом стали делать в два темпа, по команде в два слога: весь-гом. Эта маловажная перемена послужила армейским поэтам предметом к критическому обзору Аустерлицкой и Фриланской кампаний. В службе не допускаются ни сатиры, ни эпиграммы, и молодых поэтов наказали справедливо и притом воински. Военный министр прислал их к графу Каменскому без шпага, то есть под арестом, предписав: «Посылать в те места, где нельзя делать *весь-гом*». Эти офицеры были прекрасные образованные молодые люди. В первом сражении граф Каменский прикомандировал их к передовой стрелковой цепи, однако без шпага. Поэты отличились и, не смея прикоснуться ни к какому оружию, потому что считались под арестом, вооружившись дубинами, полезли первыми на шведские шанцы. Граф Каменский после сражения возвратил им шпаги и написал к военному министру, что «стихи их смыты неприятельскою кровью». Граф Аракчев позволил им возвратиться в полк, но они не согласились и остались в корпусе графа Каменского до окончания кампании, отличаясь во всех сражениях.

Пушкин совершенно забыл о еде и во все время рассказа, кажется, даже не шелохнулся, только глаза сверкали.

— Отличный рассказ. Вставьте куда-нибудь, — молвил поэт. — Стихи кровью смыты — вот образ поэтический, созданный поневоле Каменским... Впрочем, мне кажется, стихи не пятно, чтоб смывать, а доблесть, особенно если из-за них приходится рисковать головой... А что, страшно в бою?

— Нет, Александр Сергеевич, *после* страшно. А в бою есть хмель, кураж, такое упоение, от которого голова кружится. Даже рану человек на себе порой не замечает.

— Теперь некогда, а после, Фаддей Венедиктович, вы мне все про вашу Финляндскую компанию расскажите! Ваш рассказ тем хорош, что вы все подмечаете нашим, литературным глазом. Все черты, впечатления... А то спросишь бывалого человека, а он только и скажет: да, мол, было дело, ходили в атаку пять раз; потом победили (или проиграли) — и весь сказ. Интересный собеседник — это большая редкость. Я по молодости, бывало, резко менял круг знакомых, так что даже друзья обижались. Нравилось мне быть рядом с тогдашними светскими львами — Орловым, Чернышовым, Киселевым. Киселев в тридцать один год стал генерал-майором, он умел одновременно быть другом Пестеля и доверенным лицом императора Александра. Чем не типаж?... Орлов состоял, как потом открылось мне, в Ордена Русских Рыцарей и мечтал о военном походе на Москву. А генерал-адъютант Чернышов имел многочасовые беседы с Наполеоном и прекрасно знал окружение французского императора. Что мне были сетования Пущина, что это не близкие нам люди... Так расскажете о Финляндской кампании?

— К вашим услугам, Александр Сергеевич.

— Я и сам бы хотел участвовать в какой-нибудь кампании... В детстве, в Лицее, мы же все об этом мечтали — участвовать в сражениях. Шла кампания двенадцатого года, мне было тринадцать лет. Александр Раевский, ровесник мой, был уже поручиком, правда, в дивизии отца. Раевский старший был генералом, а мой — только майором... Простите, простите, Фаддей Венедиктович, может быть, вам неприятно? Ведь вы тоже участвовали... *там*. Не примите, ради бога, на свой счет... — Пушкин даже, кажется, смешался.

— Я несколько не обижен, — я постарался улыбнуться самым любезным образом, отметив пылкий взгляд Александра Сергеевича. — Совесть моя перед Россией чиста — хоть я и сражался на французской стороне, но в основном легионером в Испании. А с русской службы я ушел в 1809 году, после Тильзитского мира, когда Россия с Францией была не только в мире, но и в дружбе. Кстати, я присутствовал при встрече высочайших особ — правда, не близко.

— Все равно, вам повезло, вы стали свидетелем великой эпохи. А я всю войну провел в стенах Лицея, мечтаю о славе с такими же, как и я, мальчишками... А как все после повернулось, кого какая слава нашла... Представьте, Фаддей Венедиктович, я ведь пятого дня видел Кюхельбекера! — Пушкин наклонился ко мне через стол, зрачки его расширились, ноздри большого носа трепетали, в этот момент он совсем стал похож на хищную птицу.

— Как это возможно?... — известие меня поразило. — Ведь Вильгельм Карлович есть один из самых... то есть... монаршая милость безгранична, но как никто о том не знает?

— Милость тут ни при чем, — горько сказал Александр Сергеевич, — мы встретились на дороге, его везли куда-то из крепости. Есть такое место — Залазы. Там к станции подъехали четыре тройки с фельдъегерем. Я решил, что везут арестованных поляков, и подошел ближе. Если бы Вильгельм не оборотился на меня, я бы его мог не узнать. Мы кинулись друг к другу, а жандармы нас растащили. Кюхельбекеру сделалось дурно... я ему даже денег не смог передать. Представьте: он осунулся, оброс черной бородой... Вы Кюхельбекера хорошо помните, Фаддей Венедиктович?

— Конечно, мы знакомы были достаточно. Да и однажды увидев — Вильгельма Карловича не забудешь: высокий, всклокоченный, подслеповатый, нескладный, восторженный... Мы хоть и не были близки, но всегда уважительно относились друг к другу. Очень жаль... Увлечение ложными идеями погубило многие таланты.

— Вы так верно его описали, — заметил Александр Сергеевич, — что он живой встает рядом... Выпьем здоровье Кюхли, пусть его дальний путь будет по возможности легким.

Пушкин наконец стал серьезен. Мы выпили.

— Доведется ли когда свидеться вновь! — вздохнул Пушкин. — А вы, вы ведь тоже потеряли в этом деле друзей?



— Одного, но драгоценнейшего, — произнес я.

— Вы были близки с Рылеевым, я знаю. Я по возвращении из ссылки был в гостях у Натальи Михайловны. Печальное зрелище. Она много и с благодарностью говорила о вашем участии в судьбе ее и детей. Вы действуете так, сказала вдова, словно вам диктует и завещает сам Кондратий Федорович.

— Это долг мой.

— А я вот хочу Кюхельбекера печатать. Поможете? — вдруг в лоб спросил Пушкин.

Я помолчал, потом ответил.

— Нет, увольте. Долга у меня перед Вильгельмом Карловичем нет, а рисковать до такой степени ради услуги даже для вас, дорогой Александр Сергеевич, не могу. Вы же знаете мои обстоятельства. В каком-то смысле за моими изданиями цензура следит даже строже, чем за, так сказать, более вольнодумными. Потерять газету или журнал за один такой случай... цена слишком высокая. Да и для него самого, Кюхельбекера, если бы это было вопросом спасения, тогда риск обрел бы смысл, а так — лишь одно утешение, не более... Извольте — денег передам, это в сибирском краю подороже журнальной славы будет.

— Хорошо, я подумаю, — кивнул Пушкин с самым серьезным и задумчивым видом. — Спасибо за столь прямой ответ, Фаддей Венедиктович. В этом больше добра, чем в пустых обещаниях иных доброжелателей.

Он протянул мне руку в знак приятствия и словно подвел рукопожатием итог какой-то мысли, после чего вдруг развеселился.

— Часто ли вы в театрах бываете? Коей из балерин предпочтение отдаете? Телешовой? Или друг Грибоедов не велит? — Хохоча, Пушкин наполнил наши бокалы.

— Я человек женатый, в театрах с супругою бываю, — степенно ответил я, но на веселье Пушкина сие не повлияло.

— Я, знаете, Истомину ценю — вы, верно, стихи мои в «Онегине» помните. Но и Телешовой должно отдаю — в ней есть своя изюминка. Но про нее молчок, я понимаю — имущество отсутствующего друга должно остаться в неприкосновенности. Выпьем здоровье Катерины Александровны!

— Странно слышать ноты циника в словах первого романтического поэта.

— Я, знаете, ни тот ни другой. Я — человек настроений, — признался Пушкин.

— Верно, самых крайних, — сурово сказал я, не видя оправданий насмешкам Александра Сергеевича, — если позволили себе сочинить такой гадкий пасквиль, как «Гавриилиада».

— Дорогой вы мой человек! — вдруг без всякой логики обрадовался Пушкин. — Фаддей Венедиктович! Дайте обнять вас за золотые ваши слова!

Александр Сергеевич обошел стол, я встал, он меня обнял и расцеловал с такой искренностью, что я невольно улынулся.

— Что же вы меня за брань целуете?

— Так ведь за дело, за дело... Я и сам не рад, что написал сию поэму. И признать в ее авторстве бывает стыдно, а что делать... Вот и вы ж не сомневаетесь в бойкости именно моего пера... А что написано пером... Но вам, друг мой Фаддей Венедиктович, во второй раз благодарность моя за прямоту и честность. Всегда вашему слову доверял, а теперь вижу, что на него, как на скалу, положиться можно! — Пушкин поднял бокал. — За вас!

— Спасибо за панегирик, Александр Сергеевич. В ответ пью ваше здоровье!

— Так и я вам прямо скажу, — продолжал поэт, усаживаясь на место и вновь с жадностью принимаясь за еду. — У вас, Фаддей Венедиктович, также много дрянно-го написано, и критика бывает ох как неточна.

— Нет у нас в критике другого Пушкина или Жуковского. Критика больше правильных вопросов ставит, чем дает правильных ответов, в том ее и сила, и слабость. Ответы даете вы, писатели.

— Только без обид, Фаддей Венедиктович. Я ведь просто сказал, по-дружески. Мне кажется, диалог наш уже приблизился к дружескому камертону. Иль нет?

— Сердечно рад сблизиться с вами, Александр Сергеевич.



— Ну так давайте без церемоний! Я рад найти в вас человека знающего и искреннего. Выпьем еще... Вот и молочный поросенок поспел!

Слуга принес запеченного в румяную корочку кабанчика с петрушкой в пасти. Пушкин опять был голоден, он отхватил половину задней части и набросился на нее. Его аппетит раззадорил меня, да и хмель требовал своей жертвы. Поросенок был испечен на славу, к нему потребовалась еще бутылка вина. Александр Сергеевич стал очень мил, рискованно больше не шутил, болтал об общих московских и петербургских знакомых, особо выделяя таких, как Зинаида Волконская и Толстой-Американец. Подобные персоны всегда имеют повод стать предметом досужих разговоров. Толстого поминали в связи с его дуэлями.

— А правда ли, что Грибоедов встретил на Кавказе сосланного Якубовича, и они возобновили дуэль как бывшие секунданты? — спросил Пушкин.

— Это верно. И тот поступил нехорошо. Зная, какой отличный пианист Александр Сергеевич, Якубович, кажется, нарочно прострелил ему руку.

— Если так, то это подлый поступок. Увижу — руки не подам, — скривился Пушкин.

Больше мы неприятных тем не возобновляли, и конец вечера пробежал незаметно в самой дружеской и непринужденной беседе. Александр Сергеевич настоял самому заплатить за ужин, а напоследок сказал:

— День сегодняшний считаю началом настоящего нашего знакомства, Фаддей Венедиктович. Вижу, что мы можем сойтись ближе, если хотите. В любом случае, уважаю вас и ценю среди самых избранных людей. И говорю так прямо не из лести, а чтобы и вы, Фаддей Венедиктович, поверили в мое искреннее расположение.

Я поблагодарил Пушкина в самых любезных выражениях и в ответ выразил удовольствие пригласить его к себе на ужин.

Льстить Александр Сергеевич ни в чью пользу не расположен, знаю это твердо. Тем приятнее слышать его слова, размышлял я, едуци домой. Но в пути винные пары стали улетучиваться, и в словах Пушкина мне стало мерещиться высокомерие. Он предлагает свою дружбу так, словно уверен, что от такого дара не только не отказываются, а обязательно принимают с поклоном. А если в нем говорит не сомнение, то, опять же, предложение высказано в таких выражениях, что отказаться совершенно невозможно. Что это, как не навязчивость? К чему она? Неужто добрая застольная беседа может стать таким основательным фундаментом...

А почему нет?.. Не потому ли, я слышал, Пушкин легко сходится с самыми разными людьми?..

3.

Я тороплюсь по лестнице, полы шубы заплетаются в ногах, словно бегу в воде. Загрянув жжет горячий пот, стекающий из-под бобровой шапки. Хватая ртом тепловатый коридорный воздух, долго звоню в дверь. Наконец по ту сторону шаги, дверь распахивается, на пороге сам Рылеев.

— Кон-дра-тий, на-ко-нец-то... — медленно, по-рыбы выговариваю я.

— Здравствуй, Фаддей! — друг взерошен, серьезен. — Как ты?

— Да я с ума схожу! Что происходит? Я извозчика не нашел, все от канонады попрятались, пешком шел. Сначала на Сенатскую, потом сюда.

— Я тебя ждал.

Я делаю шаг вперед.

— Мне сейчас некогда, — перегораживает путь Рылеев.

— Ты же говоришь — ждал...

— Знал, что придешь. Но ко мне тебе нельзя, — Кондратий отстраняет меня чуть-чуть назад. — погоди.

Сам скрывается в квартире и тут же выныривает с толстым портфелем, словно заранее заготовленным.

— Со мной кончено, а ты должен жить, Фаддей, и сохранить вот это! — с нажимом сказал Рылеев.

Я заглядываю другу в глаза, мне жарко, тошно, ноги слабеют.

— Кондратий... что же сделать?



— Что — я сказал; больше нечего, — Кондратий обнял меня одной рукой, потом оттолкнул другой и быстро закрыл дверь.

У меня брызнули слезы — какие бывают в детстве от внезапной острой боли или обиды. Я закусил руку и сдержал озверелый крик.

Чего на лестнице-то кричать?..

— Фаддей, Фаддей! — позвал тихий голос. Я прынул к нему, помня сон, но голос был не Кондратия, а жены.

Это Леночка гладила меня по щеке и тихо звала.

— Ты кричал. Тебе приснилось плохое... Подать воды?

— Да, спасибо, Ленхен.

Только ответив жене, я окончательно пришел в себя и почувствовал, что весь мокрый, только пот против сна не горячий, а холодный. Это мост из сна в реальность — липкий, противный, как сам сон. Давно этот кошмар не снился. Надо бы свечку поставить да молебен заказать на помин души раба Божия Кондратия... Чего пришел тревожить? Кто звал?.. После казни долго каждый день снился... и больше всего — эта последняя встреча. Я почувствовал боль, посмотрел на руку и увидел следы зубов. Бывало, что и в кровь прокусывал. Леночка обязательно хлопотала, перевязывала, разговорами увещевала. Вот и теперь — принесла воды, пошептала что-то ласковое, подала сухую рубашку.

— Спасибо, друг мой, ты спи, мне уже хорошо.

Ленхен легла, перекрестив подушку. И я уставился в потолок бессонными глазами.

Тысячу раз спрашивал себя — что можно было тогда сделать? После самой семеновской истории — уже ничего, конечно, раз Рылеев стоял в самом центре. А вот раньше... Тоже в тысячный раз даю себе ответ. Кондратий любил говорить о свободе, борьбе с тиранами, приводил в пример Соединенные Штаты Америки. А о том, что мы не в Америке, и слушать не хотел. А я не понимал — как можно из одной страны сделать другую... Это же как свою старую кожу заменить на новую. Приживется ли она?.. Рылеев всегда убедительно говорил, и я, пока его слушал, невольно, бывало, поддавался обаянию страстного оратора. Но стоило мне попытаться по-своему изложить его мысль — смысл исчезал, логика разрушалась, суть ускользала. Оставались одни фигуры красноречия. Я чувствовал, что Кондратий не договаривает, но беседы по душам не получалось. Он отдалялся от меня и все больше погружался в заговор. По сути, он захлопнул передо мной дверь не в последнюю встречу, а гораздо раньше. Отдалял. Готовил в душеприказчики?..

Кажется, я все это довольно передумал, так отчего же опять снишься, друг-Кондратий? Кто тебя звал?.. Пушкин! Это с Пушкиным мы тебя *наговорили* вчера. Он все о Кюхельбекере сетовал и о тебе напомнил. Вильгельм Карлович, с виду нелепый чудак, повел себя умнее и расторопней многих «друзей 12 декабря» — как называет их император. Пока разговорчики сидели по домам и ждали ареста, а то и сами являлись в канцелярию градоначальника, Кюхельбекер бежал — и так ловко, что его долго не могли найти. Греч как-то проболтался, что его тогда вызвали прямо к Бенкендорфу составлять словесный портрет беглеца. Делать нечего — составил. Да и то — куда деваться в такой-то момент, когда каждого подозревали! Ведь я тоже под допросом был. Призвали бы меня описание беглеца делать, может быть, и я бы не извернулся. У власти всегда есть чем человека ущучить, так что грех Греча не столь уж велик, как кажется сразу. Тем более неизвестно — помог ли тот словесный портрет... Кюхельбекер человек все-таки неловкий, мог и сам себя выдать.

Тут я перед Пушкиным чист, друга его ловить жандармам не помогал. Но есть другая винишка — свою кость Бенкендорфу, чтоб не кусался, и я кинул. Это касается пушкинского «Годунова». Грех грызет... а что делать, кто без греха...

— Ленхен! Ты спишь еще? — раздалось вдруг за дверью спальни. Проснулась тетка-фурия, тут уж не до воспоминаний, сейчас весь дом переполошит. Родилась бы мужиком — стала бы унтером. Каким-то солдатам тут повезло.

Пора вставать и в редакцию ехать, про Полевого подумать. Такой занозой стал этот купчик, нет на него никакого резону.

4.

С момента приезда в Петербург Пушкин жил в гостинице Демута. Я знал это, но не представлял, что знаменитый поэт обитает в столь спартанской обстановке. Две комнаты его были обставлены скудно, их надо бы отдельно показывать тем, кто говорит, что Александр Сергеевич живет на широкую ногу. Если только не подразумевать под этим выражением большие картежные проигрыши. Здесь Пушкин действительно превосходит многих.

Я заехал для того, чтобы прояснить вопрос публикации его стихов, которую он приостановил своею запиской. Корректурa была выправлена, но печатание Александр Сергеевич вдруг отложил.

Было далеко за полдень, а Пушкин встретил меня в халате, у письменного стола.

— Засиделся, Фаддей Венедиктович, — объяснил он. — Я специально, пока работаю, не передеваюсь, чтобы не сорваться куда-нибудь гулять.

— Разве это возможно, Александр Сергеевич, среди работы мысли, будучи погруженным в мелодию стиха, сочетая эти две сложные материи, — разве возможно вот так встать и идти куда-то?

— Почему нет? — просто сказал Пушкин. — Все, что придумано — я помню, а придет время — продолжу. Да и не буду же я вас томить ожиданием ради того, что муза порхает где-то рядом! В конце концов, в гостинице и другой литератор сыщется, которого ей можно посетить.

— А то и свалится случайно на неповинную голову, после чего какой-нибудь заезжий стряпчий в присутственном месте вдруг заговорит стихами.

— Славная шутка, — рассмеялся Пушкин.

— А моя муза, признаться, не так легка. Мне надобно время, чтобы настроиться на сочинительство, да и беречься, чтоб никто не сбивал...

— Так вы и пишете, я слышал, романы. А это многословный труд, не то что стихи... Я все-таки переоденусь, — сказал Александр Сергеевич, выходя в соседнюю комнату. — А вы пока что-нибудь полистайте... там свежий неразрезанный «Вестник»... Ах, боже мой, простите, вовсе не хотел портить вам аппетит моим другом Вяземским, а он там очень возможен. Извините, не подумал! — сказал Пушкин, при этом ничуть не смущенный своею неловкостью.

— Ничего, я этот номер уже получил и прочел, — пробормотал я, впрочем, ничуть не обидевшись. Манера Пушкина так искренна, что злиться на него — то же, что копить обиду на заигравшегося ребенка.

— Я закажу закуску в номер... или вы хотите отобедать? — спросил Александр Сергеевич, являясь уже в приличном платье. — И еще раз простите за Вяземского — вовсе не хотел вас дразнить.

— Признайтесь, что хотели, — вдруг сказал я, еще ясно не понимая своей цели.

— Но...

— Признайтесь, что ваша мысль быстрее языка — и в последний момент она настигла его, вы могли сдержаться, свернуть, запнуться, но в оставшуюся долю секунды вы решили: скажу, там посмотрим, что будет! Признайтесь же, Пушкин! Я не обижусь.

В начале моей тирады брови поэта грозно слились над переносицей, а в конце он вдруг расхохотался:

— Признаюсь, так и было, а я даже не сразу вспомнил — это так мимолетно... И как вы узнали?

— Между «свежий» и «Вестник» вы вставили еще слово «неразрезанный» — длинное слово, такое длинное, что пока его произносишь и готовишься к следующему, то не только «Вестник» вспомнишь, но и все его содержание. Кроме того, мне кажется, что удобнее сказать «свежий “Вестник”, неразрезанный», чем «свежий неразрезанный “Вестник”». Потому, скорее всего, «Вестник» смутил вас еще на слове «свежий», вы заколебались, вставили длинное «неразрезанный», чтобы дать себе подумать, и уже без колебаний заключили — «Вестник»!

— Ни на чем не основанный, а потому блестящий анализ! — воскликнул Пушкин.



— Я уверен также, что сказано так не для того, чтобы меня обидеть, — продолжал я с некоторым чувством, сродни вдохновению. — А дабы напомнить и себе, и мне, что рядом с вами всегда будет витать это имя, что вы ни в коем случае не собираетесь от него отдалиться, даже зная мое к нему отношение. И если мы будем дальше приятельствовать, то оба должны к этому обстоятельству приспособиться. В общем, такая проверка и предупреждение.

— Пожалуй, точно. Даже если у меня такой мысли и не было, то отношения вы, Фаддей Венедиктович, передали верно. И опять подтвердили свой дар тонкого наблюдателя. А Вяземский...

— Вот, вы продолжаете!.. Я потому так горячо это говорю, что, поверьте слову, хотел именно сказать, что в нашем разговоре это имя обязательно должно быть вами повторено. Упоминание «Вестника» дает к тому основание. А я в таком случае должен либо продолжить разговор как ни в чем не бывало, либо прекратить. А сейчас я скажу — давайте изберем предмет более интересный, чем князь Петр Андреевич.

— А вы бы разве отказались от старого товарища ради нового? — спросил Пушкин.

— Нет, конечно, Александр Сергеевич, потому и не обижаюсь на ваш маневр. Но, по правде, из старых друзей у меня только ваш тезка — Александр Сергеевич Грибоедов. Его ни на кого не променяю.

— Давно не видались?

— Он на Кавказе с 1824 года, а в прошлом году его подвергли аресту по семеновскому делу, привезли в Петербург. Тут, после освобождения, мы с Александром Сергеевичем вместе жили на даче, гуляли, говорили. Война его изменила, он стал жестче, целеустремленнее, а прежде был гусар веселый... Я в этом узнал и себя — война быстро взрослит, огрубляет. Хорошее было время, но короткое. Спустя месяц он вновь уехал на театр военных действий.

— Я недавно видывал друга Кюхельбекера, но его путь не на Кавказ лежит, а в Сибирь, откуда надежды на возвращение нет. Бунт против царя, дай бог Николаю Павловичу долгих лет, даже и следующий государь не простит. Я по тому делу потерял двоих — еще и Пушина. А вы — Кондратия Федоровича... Его-то уж, наверное, безвозвратно. Сочувствую вам, Фаддей Венедиктович, ну да что тут скажешь — про старые дрожжи не говорят трюжды, все перемелется — будет мука. И то, что я задумал сделать для Кюхельбекера, не нужно уже Рылееву... Хотя у погибающего поэта всегда есть неопубликованные стихи.

— Стихи-то, может, и найдутся, — туманно ответил я, вспомнив портфель, набитый бумагами, — да только одно подозрение на его имя несет издателю угрозу...

— Дадите прочесть? Спрашиваю прямо, поскольку вы меня достаточно знаете — я сам не только написал много запрещенного, но и прочел еще больше. Кстати, мой архив для вас открыт, Фаддей Венедиктович. Я вам вполне доверяю.

— И я вам, Александр Сергеевич, но не чужие тайны.

— У человека есть тайны, а у поэта, как уже говорилось, только рукописи. А они ждут своих читателей. Ведь, согласитесь, то, что написано вдохновенно, должно передать заключенный в пиесе жар сердца другим людям. В том и состоит ценность и смысл нашего ремесла. Поэт пишет... и даже складывая бумаги в стол, питает надежду, что кто-то повернет ключ, достанет ящик, перечтет, разложит по пачкам, сопроводит комментарием, да и в конце концов отдаст в печать! А вам, издателю, и карты в руки, вы даете нам жизнь, превращая рукописные буквы в тысячи журнальных оттисков.

— Красиво сказано!

— Это мы можем, — рассеянно сказал Пушкин, словно думая о чем-то другом. — Так я все-таки закуски прикажу?..

— Не стоит затрудняться, Александр Сергеевич, я не голоден. Я ведь по делу.

— Слушаю вас, Фаддей Венедиктович.

— Вы остановили публикацию...

— Верьте слову — не по своей воле, — сказал Пушкин, приложив руку к сердцу. — Так обстоятельства сложились. Прошу вас подождать с этими стихами. Если публикация не получится — готов заменить эти стихи любыми другими.



— Хорошо, Александр Сергеевич, как вы посмотрите на предложение опубликовать четвертую главу «Онегина» в «Пчеле»? А затем и пятую... Они ведь готовы для печати?

— Я в Михайловском начал седьмую. А сейчас только, признаться, решал вопрос — соединятся ли Евгений с Татьяной... А вы как думаете, Фаддей Венедиктович?

— Не смею советовать в таком деле... Впрочем, несчастливые истории дают больший простор страстям, чем счастливые финалы, и, верно, лучше помнятся. Оттого Шекспировы трагедии прожили века и еще проживут.

— Очень верное замечание. Ну а как же счастливое воссоединение Одиссея и Пенелопы, которому уже более тысячи лет?

— Воссоединение в старости. Это история не Руслана и Людмилы, а Финна и Наины. Встреча чрез двадцать лет — это или комедия, или трагедия. Потому я никогда не бережу свое прошлое.

— Признайтесь, а у вас была своя Наина? Холодная, своенравная красавица, которая вами пренебрегла?.. Так частенько бывает... Ну, признайтесь! Как ее звали?! Она была полька или другой национальности?

После некоторого молчания я решил быть по возможности честным.

— Угадали — полька.

— Как ее звали? Быть может, мы знакомы?

Имя Лолины я назвать все-таки не мог. Ведь она не осталась в Париже, а живет под Одессой.

— Верно — знакомы. Она проживает в южных краях, где вам была уготована ссылка.

— В Одессе? Или, может, Кишиневе? — быстро спросил Александр Сергеевич. — Я, наверное, ее хорошо знаю! Вы меня заинтриговали.

— Я это не для примера сказал, а просто так. Я не люблю вспоминать, не то на сожаления весь оставшийся век уйдет.

— Простите, Фаддей Венедиктович, если заставил вас говорить о неприятном предмете. Я любовь воспринимаю скорее как игру, чем роковое событие в жизни, — сказал Пушкин. — У кого было много романов, тому ожидать единственную роковую встречу не стоит — он уже всего повидал, и новый роман хоть в чем-то напомнит какой-нибудь старый, а значит, и финал его будет предрешен. Вы, кстати, не из таких, вам рок еще грозит, не правда ли? И верно, я слышал от общих приятелей, что такая роковая встреча случилась у вашего друга Рылеева в его последний год?

— Не знаю, — только и мог я высказать на бесцеремонность Пушкина. Он мгновенно заметил охлаждение.

— Простите, простите еще раз, что болтаю. Не принимайте к сердцу, все ваши тайны пусть остаются при вас... Я оттого спрашиваю, между прочим, — заметил Александр Сергеевич, — что вы мне очень интересны, но я про вас ничего не знаю. Вы, газетчики, пишете о других, а не о себе, как мы — поэты. А я, кроме того, еще и живу открыто, так что про меня всяк все знает и свое мнение имеет. О себе-то мне и рассказывать нечего... Хотите о моем последнем романе?.. Нет? Рукописи к вам и так попадут... Вот, могу рассказать о том, как Его Величество Николай Павлович цензурировал моего «Графа Нулина». Я представил ему такой стих:

Monsieur Picard ему приносит
Графин, серебряный стакан,
Сигару, бронзовый светильник,
Щипцы с пружиною, урыльник
И неразрезанный роман.

Николай Павлович прочел, зачеркнул «урыльник» и вписал — «будильник»! Вот замечание истинного джентльмена! Где нам до будильника, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой!

Пушкин захотел так весело, что я невольно улыбнулся этой его истории, слышанной мною от нескольких лиц. Александр Сергеевич не устает ее рассказывать, при этом хохочет, как школьник. А ведь ему уже почти тридцать лет! В некоторые



моменты он совершенный ребенок с чертовыми искорками в глазу — того и гляди состроит рожу или стрельнет пулькой из жеваной бумаги. Эта непосредственность и дает, наверное, ему легкость и свежесть восприятия, многообразие и яркость красок, коими наполнен его поэтический язык.

Литературные анекдоты вернули нам легкое настроение, а в итоге Пушкин обещал подумать о публикации очередных глав «Онегина» в «Пчеле». Быть может, я и стану издателем Александра Сергеевича.

Дабы закрепить наше взаимное расположение, я пригласил к себе в гости Пушкина и заодно его вечного оруженосца — барона Дельвига.

5.

В назначенный час на званный обед Пушкин явился один. Я вышел его встретить.

— А что же Антон Антонович?

— Застрял в дороге, — пояснил Пушкин. — Ему надобно было посетить аптеку, а я их не люблю. Барон обожает эти заведения и может там хоть час пробыть в полном восторге от новых заграничных микстур и капель, а я и четверти часа не выдерживаю. Антон Антонович некстати расхворался... нет, нет, ничего такого, — успокоил Александр Сергеевич, — не серьезно, а то бы я его не оставил. Прикупит пару пузырьков и будет с нами. Верно, обед еще не остынет!

Пушкин прошел в залу. Я представил ему жену. Александр Сергеевич вел себя очень мило. Ленхен отошла распорядиться, что обед чуть запоздает, а мы с гостем удалились в кабинет — выкурить по трубке.

Пушкин оказал почтение голландскому табаку, а я — английскому. Пушкин заметил, что оба выращены не в тех странах, по которым мы их знаем. И так со многими вещами: название их сильнее сути и представляется в этих вещах главным. Я ответил, что замечал через газету, как, дав разъяснение какой-то вещи, утверждаешь его для целого общества.

Пушкин о чем-то задумался и пропустил мимо мой рассказ о последнем анекдоте, случившемся с Крыловым. Потом вдруг сказал:

— Я все эти дни вспоминаю встречу с Вильгельмом. Да и разговор наш. Верно, что деньги ему важнее, чем слава, тем более — тайная. Ведь стихи его можно публиковать только под другим именем, и об этом никто и не узнает, кроме узкого круга посвященных. Но он жив, и есть надежда, что будет прощен или допущен к печати на общих цензурных основаниях. Совсем другое дело — ваш друг Рылеев. Его уж не воскресить. Ему посмертная память — самое дорогое, что осталось. Мы оба можем ей способствовать, причем по-разному. Так сложилось, что я вхож в такие издания, куда вам путь заказан. От вас там не возьмут ни строчки, а мне помогут, соблюдая полную и вечную тайну. Понимаете, куда клоню?

— Нет еще. Продолжайте. — Я нарочно решил выслушать Пушкина до конца, а уж потом решаться.

— В литературном отношении — не сердитесь, Фаддей Венедиктович, а признайтесь, что так оно и есть! — мне ближе, чем вам, литературные круги, которые были сродни и Кондратию Федоровичу. Я могу передать им для публикации его стихи. При этом вы, как их хранитель, останетесь в тайне не только для цензуры и... правительства, но и для тамошних редакторов — они будут знать одного меня. Обращаться я буду только наверное, тайна останется тайной. Ну, что скажете?

— Да с чего вы взяли, что у меня что-то есть?

— Вдова рассказала, — просто ответил Пушкин.

— Ну... тогда скрывать нечего, — после краткого молчания сказал я. — Вот тут архив, который отдал мне на хранение Кондратий.

Я достал из тайника приметный коричневый портфель. Пушкин привстал.

— Позвольте взглянуть?

Я заколебался.

— Честно говоря, я не мог разбирать эти бумаги — были свежи воспоминания... И потому я знаю их не слишком подробно. Оттого передать вам их...



В эту секунду в прихожей зазвонил колокольчик, давший мне необходимый предлог. Я решительно убрал портфель обратно.

— Сейчас неудобное время — Антон Антонович пришел.

— Я ему полностью доверяю, — быстро и с досадой сказал Пушкин.

— Я, безусловно, тоже, но позвольте же мне самому прежде отобрать то, что может быть пригодно для печати.

— Хорошо, — сказал Пушкин. — Я вашу тайну сохранию даже от Антона, но прошу вас, Фаддей Венедиктович, пригласить меня на просмотр бумаг Рылеева в ближайшее время.

— Обещаю, Александр Сергеевич. Спасибо за ваше намерение сохранить его имя для потомков.

— Полно, Фаддей Венедиктович. Он сделал бы для меня то же в подобной ситуации. Как и вы — я уверен.

— К вашим услугам, — я театрально склонил голову.

— Благодарю, — ответил Пушкин, обретая прежний беззаботный вид, — надеюсь, что душеприказчик мне потребуется не ранее чем через четверть века.

Мы вышли в залу, куда через другие двери немедленно вошел барон.

— Сердечно рад, Антон Антонович! Надеюсь, вы теперь в добром здравии. А то Александр Сергеевич извещил о вашем недомогании.

— Я полностью здоров, Фаддей Венедиктович, — ответил Дельвиг, сморкаясь. — Александру от волнения за меня показалось...

— Вот и прекрасно.

Я представил барона жене, и мы перешли в столовую.

Составляя меню, я подбирал блюда с оглядкой на то, чем потчевал меня Александр Сергеевич в ресторане «Доминик» — хотелось сделать приятное его вкусу. Но и от себя ко «Вдове Клико» и бургундским я прибавил испанское легкое вино (пристрастился в испанскую кампанию), а в блюдах — перепелов, миньоны из парной телятины да стерляжье уху.

Александр Сергеевич был весел и, по обыкновению, шутил. Антон Антонович был настроен флегматично, но кушал с аппетитом и за беседой следил внимательно. Заметно было, что больше его интересуют слова друга. Когда говорил Пушкин, барон обращался к нему и от внимания переставал жевать. Сам он говорил немного, но все дельно. Со мною был предупредителен, поднимал тосты за хозяина дома, хозяйку и их благоденствие. За Ленхен Пушкин пил стоя, делал ей приятные комплименты. Но жена нас скоро оставила под благовидным предлогом. Литературные беседы ей скучны, а наш круг постоянно в них впадал.

Пушкин, судя о стихах и прозе, выказывал полное знание предмета — он, оказывается, следит и знает обо всем. Я даже осмелился проверить, испросив его мнение об одном малоизвестном авторе. Александр Сергеевич немедленно дал ему короткую полную характеристику. А это противоречит мнению, что он только игрок и волокита — по крайней мере, он еще и большой ученый.

Наблюдая всезнайство Пушкина, мне вдруг пришла странная мысль — знает ли он об истории с его «Годуновым»? Ведь и самые тайные вещи иногда бывают узнаваемы. Государственные секреты разглашаются, что говорить о частностях... Но нет, что за глупости — зная, он бы не пришел! Он бы счел меня своим первым врагом. Сколько он всего искреннего наговорил мне в последнее время... нет, нет, невозможно! Даже если кто-то вокруг него, тот же Вяземский, строил догадки, он ни минуты в них не верил, иначе бы не пришел ко мне в дом. А рассказ о Кюхельбекере... Ведь Пушкин признавался мне, что хочет его, государственного преступника, печатать — это ли не доверие!.. Или, напротив, проверка? Сообщил о намерении и будет ждать — последует ли официальная реакция?.. Да нет, это слишком, Пушкин вовсе не политик, он поэт... и отнесится к человеку, полагаясь на чувство. Александр Сергеевич, похоже, хорошо постиг природу людей, он чувствует их отлично. Вот и тут, со мной, он уверен, что я не хочу ему зла — и он прав. Тем более когда он знает об архиве Кондратия. Я готов поступиться даже в чем-то своем, чтобы ему не навредить. Неосторожен Пушкин во мнениях и трудах своих. Да и я рисковал, открывая ему тайну архива, однако не мог не проявить через доверие симпатию к Пушкину.



Я так задумался, что даже пропустил шутку Александра Сергеевича, которой он сам же от души расхохотался, чем пробудил меня от размышлений.

— Приятно мне у вас, дорогой Фаддей Венедиктович. Вот был давеча у Крылова: вкусно, но скучно. Иван Андреевич кушать любит больше, чем говорить.

— Это не грех, — отозвался я, — литераторы обычно так много говорят, что несколько молчунов среди них только бы установили равновесие.

— И верно. Барон, скажи, почему люди, которые каждый день пишут, еще и говорят каждый день?

— Пишут — недоговоренное, говорят — недописанное, — пробормотал Антон Антонович.

— Ха-ха-ха! — снова рассмеялся Пушкин. — Точно! Начнешь, бывало, читать какую-нибудь критику — ни начала, ни конца... и мысль как будто отдает бутылкой.

— А ведь мы все также пишем критики, — напомнил я. — Предлагаю поклясться накануне соблюдать обет молчания.

— Это гарантирует только начало критики, — напомнил Дельвиг. — А что делать с концовкой?

— Еще не знаю, Антон Антонович, — признался я.

— Да очень просто, — сказал Пушкин, — обещать окончание в следующем номере, а там сызнова начинать! Одна напасть — как же соблюдать обет молчания? Вы оба, допустим, можете вечер провести с женами. Между супругами обычно уже так много сказано, что и помолчать не грех. А как быть мне — холостяку? А ведь прежде чем с дамой молчанием заняться, нужно же водопад слов пролить, да не просто, а о последних течениях, поэтических тонкостях. Поневоле оскоромишься и что-нибудь из завтрашней статьи приведешь... Впрочем, — в серьезной манере закончил Александр Сергеевич, — именно из-за того я больше люблю иметь дело с гризетками...

Я хотел возразить, но Антон Антонович взглядом показал, что не следует. Верно, Пушкин находится сейчас в конце очередного романа и думает о женщинах мрачно.

— Так выпьем же за жен! — заключил поэт. — Это лучшие женщины. Должно и я когда-нибудь женюсь. Может, не скоро, сил к таким обильным возлияниям уже не будет, так я скажу ей: милый друг, я столько выпил в вашу честь, что пора бы знать честь... нет, не так... что трезвость моя — утлый плот, влекомый выпитым бургундским... Лучше стихами:

Что же? будет ли вино?
Лайон, жду его давно.
Знаешь ли, какого рода?
У меня закон один:
Жажды полная свобода
И терпимость всяких вин.
Погреб мой гостеприимный
Рад мадере золотой
И под пробкой смоляной
Сен Пере бутылке длинной.
В лета красные мои,
В лета юности безумной,
Поэтический Аи
Нравился мне пеной шумной,
Сим подобием любви!
Ныне нет во мне пристрастья —
Без разбора за столом.
Друг разумный сладострастья,
Вина обхожу кругом.
Все люблю я понемногу —
Часто двигаю стакан,
Часто пью — но, слава богу,
Редко, редко лягу пьян.



Антон Антонович предложил тост за эпикурейство.

— Кстати, ваше испанское вино прелестно освежает, — заметил Пушкин. — Вот поэтому все испанцы должны быть веселы и беззаботны.

— Они пьют это вино прямо из бурдюков: подставляют рот под струю и льют в горло, не глотая. Я этому научился, когда воевал в Пиренейских горах.

— Вот я говорил уже, что у вас острый глаз! Учись, Дельвиг, все подмечать, а не «что вдали блеснуло и дымится? Что за гром раздался по заливу?» Но при такой наблюдательности у Фаддея Венедиктовича есть еще один волшебный дар — фантазия. Помнится, читал я ваш рассказ о странствиях в ХХІХ веке. Творится там невероятное: на военных маневрах аэростаты поднимают в небо сотни солдат, которые прыгают вниз и плавно опускаются на землю — благодаря, кажется, парашютам. По улицам ездят повозки без лошадей, люди употребляют заводные калоши, по небу летают воздушные дилижансы. Зрительные трубы позволяют рассмотреть не только, что делается в далеком городе, но и услышать разговор жителей, а особый лорнет видит человека насквозь, работу сердца и других органов. Люди заселили Луну, а пищу получают со дна морского.

— Однако как вы все точно запомнили, Александр Сергеевич! — воскликнул я.

— Я недавно перечитывал... Если хорошо обдумать и развить это направление, то может получиться интересно. Вы не собираетесь ли продолжать писать такие небылицы?

— Нет, я теперь больше увлечен историей и современностью.

— Однако ж вы описали будущее не без сарказма, — заметил Пушкин, — замечив там всеобщее обращение французского языка арабским. Да еще назвали язык Вольтера однозвучным и беднейшим из всех языков!

— Я припоминаю, что и горожан вы не пожалели, — добавил Антон Антонович. — У вас там дома стоят из чугуна, и жители вынуждены ходить по железному городу в шляпах с громовым отводом и металлической цепочкой для сплыва электрической материи на землю.

— Да, это смешно, — хмыкнул Пушкин. — Стоит представить на моем цилиндре еще и железную палку с цепочкой!..

— Если будет такая мода — то и будете носить, — уверенно сказал я.

— Вы и моду не раз вышучивали, Фаддей Венедиктович. Ваше счастье, что дамы не читают пока невероятные небылицы, а то бы они вам этого не простили.

— Верно, потому вы, Фаддей Венедиктович, и не отыскиали своих произведений в библиотеке ХХІХ века! — хохотнул барон.

— Это говорит только о скромности нашего хозяина, — вступился за меня Пушкин. — Да и кто знает, может быть, мы еще успеем в оставшейся жизни написать что-то, что переживет века.

— В вас-то я не сомневаюсь, Александр Сергеевич, — ответил я комплиментом.

— Ваши машины для делания стихов и прозы также превосходны, а особенно то, что они изобретены в наше время и передаются по секрету от безграмотного к бестолковому и обратно. Верно, что головы у некоторых наших писак устроены гораздо проще любой машины и работают скорее механически, чем вдохновенно. И вполне допускаю, что такие же писаки будут встречаться и в будущем. Но неужели вы верите в то, что, хоть и через тысячу лет, на юридическом факультете университета появятся отделения — добрая совесть, бескорыстие и человеколюбие?

— Я верю в просвещение, — сказал я твердо.

— Я тоже, но скорее, мне кажется, осуществится другая ваша поразительная выдумка: потомки уничтожили все леса, и дерево у них ценится так высоко, что из него делают деньги. Каково — деревянные рубли! Такое я даже вообразить не в силах!

— Спасибо! Превосходить первого романтического поэта в воображении, да по его собственному признанию — величайшая похвала!

— Уверяю вас, Фаддей Венедиктович, это не самое удивительное дело, — заметил барон Дельвиг. — Пушкин всех хвалит, это не штука. Вот когда он начнет вас ругать, это значит, что вы добились настоящего его внимания и расположения. Меня он начал критиковать лишь недавно, а ведь мы с детства друзья.

— Это точно, с Лицея, — подтвердил Пушкин. — Вот было время золотое — друзья, науки, первая любовь, горячка в крови. Надежды... Я ведь, знаете, мечтал о гвардии, а отец сказал, что денег у него нет, что он меня экипировать лишь в армию может. Пришлось с мечтой расстаться и пойти в службу по Министерству иностранных дел. Вечно так... Давеча мать зазывала в Москве в гости, обещая печеную картошку. А что еще она может?.. — лицо Александра Сергеевича скривилось гримасой то ли злости, то ли презрения. — А отец в надзиратели метил, когда я в Михайловском был в ссылке! — с горечью добавил он. — Обещался властям за мною присматривать... А что ваш батюшка, Фаддей Венедиктович, притеснял вас?

— Ничуть, — сказал я. — Отец мой очень обо мне заботился, он был человек добрый, но неровного характера. Однажды мальчиком я заболел. Случилось это так: ночью меня разбудил ужасный рев. Комната моя была освещена наружным блеском. Няньки не было в спальне; я подбежал к окну, взглянул — и вся кровь во мне застыла. Вижу: во всю длину улицы тянутся какие-то страшилища в белой и черной длинной одежде, по два в ряд с факелами, и режут во все горло. А посередине, между множеством знамен, эти чудовища несут гроб. Это были всего лишь похороны настоятеля католического монастыря. Но няньки и служанки натолковали мне прежде о ведьмах, чертях и мертвецах и тому подобном, в моем разгоряченном воображении представилось что-то ужасное, я упал замертво. У меня случилась горячка, и я девять дней пролежал в беспмятстве и бреде. Выздоровление тянулось медленно, через три недели я с трудом ходил по комнате. От испуга за сына отец решил закалить меня от такой впечатлительности. Ни слезы матушки, ни советы докторов и друзей не могли смягчить его на этот счет — не постигаю, как я остался жив, после всех пережитых мной испытаний! Например, он будил меня ото сна или ружейными выстрелами над самой моей кроватью, или холодной водой, выливаемой на меня. Сказав мне однажды, что только бабы и глупцы верят в чертей, колдунов, ведьм и бродящих мертвецов, он посылал меня одного в полночь, зимой и осенью, на гумно, приказывая принести пук колосьев или горсть зерна. Надобно знать, что за нашим гумном было сельское кладбище. Один взгляд отца заставлял меня безмолвно повиноваться. Слез он терпеть не мог и отговорок не слушал. С первого раза, когда меня облили в постели холодной водой, я заболел лихорадкой... и от первого ружейного выстрела над головой едва ли не лишился употребления языка, но в полгода привык ко всему и с радостью бегал в темную ночь на гумно, забавляясь страхом матушки и сестер. При этом отец приучал меня к самой грубой пище; брал с собой на охоту, на которой мы проводили иногда по нескольку дней в лесу — и, будучи только семи лет от роду, я галопировал за ним на маленькой лошаденке, даже стреляя из ружья, нарочно для меня сделанного. Отец мой торжествовал, а матушка каждый день боялась за жизнь мою и со слезами повиновалась ему. Он страстно любил матушку, но в воле своей был непреклонен. Хотя эта внезапная перемена в моем физическом воспитании не только не повредила мне, а напротив, послужила пользой, я, однако ж, сам не следовал этой системе, да и никому не посоветую следовать.

— Э-э, да ваше детство, Фаддей Венедиктович, было потяжелее моего, — сочувственно сказал Пушкин. — Я это очень хорошо чувствую, отец ваш был настоящий деспот.

— Нет, Александр Сергеевич. В оправдание его жестокости могу сказать только, что сам отец вырос сиротой, — сказал я. — Все это делалось не со зла. И это я понял чуть позже, когда отец попал под следствие и сильно душевно переменялся. Все наносное, бравурное ушло, осталась одно чувство привязанности. Оказавшись под домашним арестом, отец не отпускал меня от себя ни на минуту. Он, как дядька, ходил за мной, играл со мной, и я даже спал в его комнате... Он, кажется, предчувствовал нашу вечную разлуку и мое сиротство. Скоро его арестовали, а я попал в Сухопутный шляхетский корпус. Там я испытал мучения гораздо большие, был там один... впрочем, и имени его произносить не хочу... А батюшка любил меня, да бог не дал нам снова увидеться, отец умер без меня...

Глава 3.

1.

Впервые за долгое время у меня эйфорическое настроение. Я сдал выпускной экзамен с получением похвалы от инспектора Клингера. При выходе из классов кадеты моей роты окружили меня, стали поздравлять и обнимать. Я чувствую восторг. Мы строимся, чтоб идти в столовую, но тут появляется мой кошмар — полковник Пурпур. Его каменный взгляд приводит меня в ужас. Не говоря ни слова, он берет меня за руку и ведет в умывальню. Я падаю на скамью, слышу свист розог, прутья рвут незажившие прежние шрамы, боль проникает до сердца, готового умереть. Я кричу зверем, извиваюсь, но град ударов припечатывает меня к скамье, которая мокнет от крови. От страха меня тошнит, я глухну от своего последнего визга и уже не слышу свиста орудия пытки. Рот открывается беззвучно, отчаяние сдавливает горло, призывая смерть — как избавленье. Наконец она наступает...

Просыпаюсь на спине и перекатываюсь на живот, ожидая боли от рассеченной кожи. Ее нет, но предошущение той давней боли страшнее ее самой. Были раны и другие боли, но ни одна не связана неразрывной цепью с таким тоскливым ужасом и мертвящим страхом.

Пурпур был начальник моей роты в Сухопутном шляхетском корпусе. Он строго смотрел за чистотой. Каждое утро перед отправкой в классы он осматривал нас. Всякого кадета, допустившего неначищенную пуговицу, расстегнутый крючок, чернильное пятно на лацкане, он отправлял в умывальню, где один угол всегда был завален свежими розгами. Пурпур никогда не простил ни одному кадету ни малейшего проступка, слезы и обещания его не трогали. Мы прозвали его Беспардонным. Я никогда не видел, чтобы Пурпур улыбался или кого-нибудь хвалил.

Я был обычной жертвой его розголюбия. Будучи все-таки барчуком, я никак не мог справиться со всеми застежками и крючками, убережись от чернильных пятен. И от этого сделался для Беспардонного *bete noire*, *черным зверем*, как говорят французы, и он, охотясь беспрестанно на меня, довел до того, что я почти окаменел сердцем и возненавидел все в мире, даже самого себя!

В день экзамена он избил меня до полусмерти; меня отнесли в госпиталь. Я слышал после, что директор сделал Пурпуру строгий выговор и даже погрозил отнять роту. Но от этого мне было не легче. В госпитале я провел целый месяц и от раздражения нервов чуть не сошел с ума. Мне беспрестанно виделись, и во сне, и наяву, Пурпур, и холодный пот выступал на мне... Я кричал во все горло: спасите, помогите! Вскакивал с кровати, хотел бежать — и падал без чувств... Кошмар этот снился мне и после. Был случай, когда через четыре года по выходе из корпуса, встретив в обществе человека, похожего лицом на Пурпура, я вдруг почувствовал кружение головы и спазматический припадок. Я никогда не забуду предание о Медаузине голове, испытав смысл его на себе!

Много лет не было Пурпура, откуда же он выскочил чертом... Постой-ка! Опять мы с Пушкиным наболтали! Вот тоже — фигура... В том возрасте, когда я по плацу маршировал да под Пурпуровы розги ложился, Александр Сергеевич у себя в Лицее французские эротические романы читали-с да мечтали-с о геракловых подвигах. Пусть это зло, но ведь — правда. Это Пушкин — барчук московский, а не я, и Лицей — заведение для барчуков: это вам не корпус с его муштрой и битьем. Царскосельский Лицей ведь создавали, чтобы наследников престола воспитывать! Так что в однокашниках Александра Сергеевича только случайно не оказались великие князья — он бы теперь, может, с ними знакомство водил, а не с бароном Дельвигом. Сочувствует Пушкин, что отец мне над ухом стрелял? Так он же меня один по-настоящему и любил. Ни Шарлота, ни сестры, ни даже мать родная не были такими близкими и родными. С любовью мне не особенно везло — сестры ревновали к младшему брату, любимчику родителей, как им казалось. Потом, после ареста отца, мать отдала не знавшего русского языка, домашнего воспитания сына в кадеты и два года даже не приезжала поглядеть на меня! А как приехала — в обморок упала,





потому что я певчим в православной церкви стал. Это для нее предательством веры показалось... А как же то, что она бросила — не предательство ли родительского долга?! А батюшка, сказывали, умер, меня вспоминая. Без него я истинно осиротел.

Что за дар у Пушкина, этого легкого веселого светского человека, вызывать из небытия забытые кошмары... Ведь что ни разговор, то в большое место попадает. Или это уж у меня старость пришла и нервы сдают? Жалость к себе одолевает... Рано еще. Я в одном шаге от вершины, от исполнения моего плана. Раскисать не время, осталось не так много пройти.

А Пушкин, верно, даже не подозревает о своем свойстве пробуждать воспоминания. Во всяком случае, пользоваться этим он вряд ли может, как с такими тонкими материями управиться...

Надо же, Александр Сергеевич вспомнил мою повесть о ХХІХ веке, которую я и сам-то почти позабыл. Что за прок от дальних мечтаний...

И верно.

Я рывком поднялся с постели, сделал туалет и, не дожидаясь, когда встанет Ленхен, не завтракая, отправился в редакцию. Приехал туда уже голодный.

— Митька! Чаю с бутербродами, — крикнул посыльному мальчишке из коридора.

На голос вместо Митьки явился вдруг Греч. Он в редакции с утра до ночи торчит, словно повинность отбывает. Это и понятно — редакция в его доме расположена, ехать не надобно — ходи из двери в дверь. Но рукописи его отменно аккуратны и выправлены. Я так не умею — у меня перо брызжет, абзацы скачут, концы строк съезжают, в черновике — движение непрерывное, в чистовом листе — колебания, описки. Скучно себя отделять до лоска. А Николаю Ивановичу все одно — округло по буковке выводит да выводит. К вечеру набирается столько, сколько у меня к полудню. В это утро он мне сразу две статьи приготовил — иностранные новости да разбор новоиспеченного поэта.

— Слыхал, Фаддей Венедиктович, во Франции опять волнение!

— Да не может быть! — притворно удивился я. — Все то же, что и месяц назад? Или это новое волнение?

Николай Иванович задохнулся шуткою.

— Как ты можешь так говорить! Я, кажется, не давал повода...

— Не сердись, друг мой, угощайся вот...

Расторопный Митька уже притащил блюдо с бутербродами, которое я и протянул Гречу в примирение.

— Чаю давай, — поторопил Митьку Николай Иванович, принимая бутерброд и присаживаясь к столу. — Ты же знаешь, я шуток в работе не принимаю.

— Знаю, знаю, любезный друг, — кивнул я, уплетая хлеб с ветчиной. — Я не со зла, а от настроения хорошего. Больно комично, ты, Николай Иванович, губы поджимаешь в праведном гневе. Не сердись, сделай одолжение! Я ведь верю тебе как себе, даже больше. Я и спутать могу, и погорячиться, а ты нет, ты — кремь.

— Гулял, верно, вчера, Фаддей Венедиктович? — заговорщицки спросил Греч. — Веселый вечерок?

— Пушкина с бароном принимал, — с неутаенной ноткой самодовольства признался я. — И ответно приглашен к Дельвигу! Надеюсь, что они оба опять будут нашими постоянными авторами. О семеновском деле забываться стало, так отчего нам не дружить?

— Но их партия... Она, как бы сказать, далека от тех правил благонравия, которым надлежит следовать... э-э-э...

— Государь благоволит Пушкину, обещал лично быть его цензором. А до остальных — что нам за забота? Они все вместе одного Пушкина не стоят.

Митька принес чай.

— Пушкин — это да, это конечно, — подтвердил Греч. — Такой автор был бы важным приобретением для любого издания.

— Что там у нас сегодня? — покончив с бутербродами, я приступил к делу. — Иностраный отдел готов, как я понимаю, а «Смесь»? Есть ли у нас новые моды или

какие-нибудь происшествия? Не все же нам прибавляться описанием званных обедов.

— Курьер министерский еще не был, — развел руками Николай Иванович. — Ждем-с...

2.

Следующий день начался с приятного известия. Александр Христофорович пригласил к себе, дабы сделать сообщение относительно высочайшей милости, снизошедшей на меня. Помчался как на крыльях. Наконец мои старания замечены!.. Что же это за награда?

— Его Императорское Величество, — торжественно сказал генерал Бенкендорф, — соизволил благосклонно отозваться о «Пчеле», особо указал на передовицу с рассуждением о воспитании патриотических настроений среди молодежи. Государь отметил старания ваши, Фаддей Венедиктович, и полезность русскому правительству, просив передать, что уверен в преданности вашей и радении Престолу.

— Всегда рад служить Его Величеству, правительству и российской словесности! Все силы мои, состояние и перо мое безраздельно отданы на службу государю!

На том аудиенция и завершилась. Проводить меня вызвался Мордвинов — личный помощник Бенкендорфа. Чин небольшой, а, как я слышал, удостоивается особых поручений генерала. Мордвинов так ловко меня направил, что вместо передней я оказался в его маленьком уютном кабинете, расположенном по соседству с приемной генерала.

— Александру Христофоровичу точно известно, как вы радуете за государственные интересы, — сказал Александр Николаевич, усадив меня в кресла. — Поверьте, его высокопревосходительство всегда благодарен вам за всякое ваше суждение и мнение, потому как мало кто так хорошо, как вы, знает Россию. Вы умеете сочетать сердечное чувство россиянина и острую отстраненную наблюдательность иностранца. — Тут впервые за визит я поморщился. — Сам государь — вы слышали! — со вниманием относится к словам вашим. Ваше талантливое перо сухой факт превращает в убедительную картину, придает ему должное освещение и значение. Мы — чиновники, Фаддей Венедиктович, и лишены способности к такой игре ума; наш удел — циркуляры, статистика — алгебра жизни, если так можно сказать.

— Это сравнение, прошу прощения, — произнес я, — говорит о том, что вы лукавите, любезный Александр Николаевич, и вам не чуждо понятие литературной гиперболы — это не сухой факт, а поэзия. Не вижу перед вами затруднения ни в чем, хоть роман напишите — он станет сразу первым в русской литературе.

— В стихах? — тонко улыбнулся господин Мордвинов.

Я хихикнул, и тут меня кольнуло первое сомнение.

— Это уж как вам будет угодно, Александр Николаевич, — отвечаю. — По моему разумению, вы, с вашими талантами, во всяком деле преуспеете.

— Я так думаю, что каждый должен делать свое дело, Фаддей Венедиктович. От этого и порядок будет, и толк.

— Что же вы хотите, Александр Николаевич? — не сдержался я от прямого вопроса. Ясно же, что у Бенкендорфа была преамбула, а вот тут начинается дело. А благосклонный отзыв государя тут и вовсе ни при чем.

— Только совета вашего благоразумного, — живо отозвался Мордвинов. — Так уж сложилось, что далеко не всем писателям мы можем доверять. Одни якобинствуют, другие преданы, да без ума и таланта ни к чему не способны.

Личный помощник Бенкендорфа сделал паузу, ожидая вопроса, но я молчал, внимательно глядя на лицо Александра Николаевича. Он даже на секунду отвел взгляд.

— Дело касается того обстоятельства, что литературная жизнь протекает так, что среди литераторов постоянно возникают кружки и партии. Хорошо, когда объединяет их чистое вдохновение, а вот когда взгляды да идеи... Особенно печально, что в таких литературных партиях участвуют представители нашей коренной аристократии, в то время как, казалось бы, гораздо уместнее была бы их прямая служба пре-



столу. Да что я рассказываю, когда вам это лучше меня известно! В обществе сложились две партии — русская и немецкая. Первая нападает на престол, воспитывает недовольство в обществе, а вторая — стоит на страже интересов престола, защищает его. Она состоит в основном из остзейских дворян, преданных Его Величеству. Вы уже как-то писали об этом предмете, но слишком коротко. Вот бы поподробнее да обстоятельнее, чтобы ясно представить сложившуюся картину. Важно указать, что члены этой «русской партии» ведут себя неподобающе. К счастью, есть кому им противостоять. Вам, как очевидцу литературной полемики, это должно быть особенно наглядно. Вы можете прояснить их мнения, довести их до высочайшего слуха. Вы меня понимаете, Фаддей Венедиктович?

— Отлично понимаю, Александр Николаевич, — ответил я, задумавшись. — Верно, литераторы исповедуют идеи, ведь их дело — сочетать живое чувство и мысль. Важно, чтобы основу того и другого составляла любовь к престолу. Мне кажется, что множество литераторов именно так замышляют свои произведения. Однако некоторые открыто предлагают мысли и идеи, противные монархическому устройству. Такие взгляды, я думаю, должны быть осуждаемы и наказуемы в первую очередь. К примеру, Николай Алексеевич Полевой высказывает такие крамолы, что... — я развел руками, — и повторить-то невозможно! Мне кажется...

— А мне кажется, я ясно выразил мнение, — с нажимом сказал Мордвинов, давая понятие, что это не его мнение, а мнение, толкованию не подлежащее. — Полевой для нас опасности не составляет, а, напротив, является в некотором смысле союзником противу... сами понимаете... — Александр Николаевич словно бы смутился. — В общем, Александр Христофорович очень рассчитывает на вашу помощь и компетентное мнение.

Мордвинов стал добавлять какие-то комплименты, а я вдруг поразился догадке: причиной его смущения является действительная оговорка. Ай да Александр Христофорович! Верно — это его идея сделать своим орудием Полевого с его «Московским телеграфом». Смело! И ведь на ум никому такое не взбредет. Только как же ему удалось государя убедить терпеть выскочку Полевого с его революционными намеками? Неужто Николай Павлович настолько боится всего, связанного с историей четырнадцатого декабря? Сильно они его напугали! Тогда истинное чудо, что Его Величество так благоволит Пушкину, дружившему с самыми активными деятелями семеновской истории. Вот действие настоящего таланта! Он способен склонить к симпатии и самое жестокое сердце...

Однако и Полевой, наш трибун демократии, хорош — считает, что в борьбе с противником все средства хороши. Потому и пускается он во все тяжкие, что удалось ему убедить Бенкендорфа в собственной полезности против Пушкина. Однако осторожности он совсем не имеет. Вся игра стоит лишь на том, что его, яростного критика, почти революционера, представить в сговоре с правительством ни у кого фантазии не достаёт. Признаться, и я бы долго еще не замечал очевидного, кабы не оговорка господина Мордвинова. А Александр Христофорович мудрей — у него, значит, влияние есть во всех лагерях и мнения разные ему служат, и репутации. Как все хитро заплел! Теперь с двойной оглядкой все делать надобно...

А как все это некстати... Я ведь завтра зван к Дельвигу. Знает ли о том Бенкендорф?.. Не знает, так узнает — тайну тут не сделаешь, кто-то сообщит. Впрочем, далеко ходить-то не надо: может быть, и сегодняшний вызов — вовсе не совпадение. Даже скорее — не совпадение! Эх, Николай ты Иванович! Старая ты сволочь... Это я тебе запомню... Это урок мне.

Греч с фон Фоком, управляющим Третьим Отделением, старые приятели, знакомы с 1812 года, когда Максим Яковлевич служил директором Особенной Канцелярии министра внутренних дел. Вот с тех пор Греч *сообщает*, а фон Фок протекцию обеспечивает. Непроста же Гречу позволили выпускать «Сына Отечества» в том самом военном году. О такой мелочи, как встреча литераторов (не тайная, совсем не тайная) докладывать самому Бенкендорфу — глупо, а сообщить старому знакомцу — никогда не лишнее. А уж узнав о встрече, Александр Христофорович дал Мордвинову поручение провести со мной беседу. Чтоб я знал, на какие моменты в разговоре с Пушкиным обратить внимание, о чем спросить... А «высочайшую ми-

лость» генерал так припелел, для приманки мотылька. Для них она — разменная монетка. Знал бы Николай Павлович, как они словом государевым разбрасываются.

Право, надоело мне в своих записках расхваливать остзейских карьеристов во главе с Бенкендорфом. Раз он сам дает мне возможность прямо припасть к государеву уху, то, быть может, следует воспользоваться и нашептать? Как бы так написать, чтобы и государь понял, наконец, что бескорыстная преданность бывает только в романах вальтерскоттовских. Пусть царь их осадит. Коль совсем не ссадит!

— Фаддей Венедиктович! Дорогой мой! — ласково позвал Александр Николаевич, заметив мою задумчивость. — Не слишком ли для вас обременительна моя просьба? У вас ведь столько хлопот!

— Нет, нет, нисколько, — быстро сказал я.

— И газеты, и журналы на вас. Да еще вы наш известнейший писатель, который готовит нам не один сюрприз.

— Что вы, что вы, Александр Николаевич, ваша просьба для меня перее любой личной надобности.

А Мордвинов словно не слышит:

— Вы, верно, заняты судьбой своего нового произведения, Фаддей Венедиктович? Прекрасный роман вы задумали, я читал в отрывках и отзывы лестные уже слышал о вашем «Выжигине», просто не хотел смущать преждевременными похвалами. Роман — как дитя, его ведь выносить надобно, создать, да и то еще не конец — и цензура впереди, и хлопоты по изданию. Кто знает, как судьба-то распорядится вашим детищем?

— Для меня ваша просьба — честь, — пробормотал я, пугаясь вдруг оборота со словом «судьба». Хорошо знаю, кто у нас вершителем судеб является! — Малейшая возможность оказать услугу Александру Христофоровичу для меня — закон, требующий неукоснительного исполнения, в благодарность за его внимание и покровительственное снисхождение.

— А он, — отозвался господин Мордвинов, — уверен в вашем добром внимании к нашим нуждам и благодарен в том.

Александр Николаевич проводил меня до дверей, одарив новым ворохом комплиментов. В моей исполнительности он уверился, а вот как мне теперь вести себя с Пушкиным... Предупредить? Он свое положение и так знает, а мою услужливость может счесть за навязчивость... или, хуже того, особого рода хитрость. Вот ведь как нам наше приятельство выходит...

3.

С нелегким сердцем явился я на завтра к Дельвигу. Хозяева встретили радушно и проводили в гостиную, где Пушкин так вольготно расположился на диване, что, казалось, он тут живет. Впрочем, как я слышал, так оно отчасти и есть — Пушкин с Дельвигом почти неразлучны. Талантом они не равны, но так обычно и бывает — двум медведям в одной берлоге, как говорится...

— Здравствуйтесь, здравствуйтесь! — радостный Пушкин вскочил с дивана и обнял меня. — Фаддей Венедиктович, а мы тут с бароном поспорили: кто в Европе более знаменит и почитаем — Карл XII или Петр Великий? Антон утверждает, что Петр, а я думаю — Карл. Какого вы мнения?

— Добрый день, Александр Сергеевич, — сказал я. — Думаю, что прав Антон Антонович...

— Но я вовсе не спорил о... — начал Дельвиг и осекся.

— ... а также и вы правы, Александр Сергеевич, — закончил я.

— Объяснитесь! — вскричал Пушкин, в его глазах сверкнули искорки интереса.

— Карл был блестящий государь, который с самого юного для полководца возраста приучил Европу к своим победам. Он, как позже Наполеон, был непобедим, причем, на первых порах, и для русского оружия. Потому Карл долго был первой звездой европейского небосклона. Никто не верил в возможность его поражения. Тем ярче было впечатление от стремительного заката его звезды. Но от этого же зажглась новая звезда — Петрова. Европа, мне кажется, не сразу приняла в своем



мнении Петра. Но по итогу его дел, по усилению влияния России на Европу даже самые консервативные умы не могли не отдать ему первенство перед Карлом.

— Блестяще! — зааплодировал Пушкин. — Вам бы, Фаддей Венедиктович, царедворцем быть! Представить прямо противоположные мнения одинаково верно — дорогого стоит!

— Простое рассуждение, Александр Сергеевич, не более того, — сказал я.

— Господа, прошу к столу, — пригласила Софья Михайловна.

Мы перешли в столовую и расселись за овальным столом. Само собой вышло, что Пушкин оказался во главе, а Дельвиг — рядом с ним. Впрочем, к такой диспозиции в семействе Дельвигов, видимо, привыкли. Сразу оговорюсь, что разговор за обедом повелся столь интересный, что череду блюд и тостов я попросту не отметил.

— Кстати сказать, — продолжил я, не задумавшись о том, куда заведет беседа, — Карл квартировал в доме моей бабки в 1707 году, о чем она мне лично рассказывала ровно сто лет спустя, в 1807-м.

— Однако! — крикнул барон Дельвиг. — Не знаю, чему больше дивиться — знакомству вашей родственницы со шведским королем или ее долгожительству! Сколько же ей было тогда лет?

— Сто десять. Сразу могу сказать, — ответил я, — что она умерла ста пятнадцати лет от рождения, скоропостижно, но не от болезни, а от испуга, когда в 1812 году партия казаков внезапно и с шумом въехала ночью в ее двор. Была она необыкновенно высокого роста, держалась всегда прямо и всю жизнь управляла сама хозяйством, вела переписку, не употребляя очков. Во всю жизнь свою она никогда не была до того больна, чтоб лежать в постели.

— Завидное здоровье! — воскликнул Дельвиг. — Заслуживает тоста.

— А что же Карл? — спросил Пушкин.

— Карл, рассказывала бабушка, который напугал весь свет, сам был смирен, как ягненок, и скромн, как монахиня. Он был довольно высокого роста, тонок и поджар. Лицо у него было маленькое, совсем не соразмерное целому туловищу и даже голове. Красавцем он не был, лицом рябоват. Зато темно-голубые глаза блестели как алмазы. Волосы у него были каштанового цвета, легко напудренные, остриженные коротко и взбитые вверх, а с тыла связанные в небольшую косу. Он всегда был в синем мундире с желтым подбоем и красным воротником, в желтом лосинном нижнем платье. Плащ его, лосинные перчатки, доходившие до локтей, огромные сапожищи с пребольшими шпорами были вовсе не по его росту, и бабушка насмехалась над этим *гошафовским* вооружением. Ее родители говорили: «Рассматривай короля! Это великий муж, как наши Ян Собиеский и Стефан Батори!»

— Вот! Вот это премилое сравнение! — вставил Пушкин.

— Бабушка запомнила, что Карл вина не пил никакого, а на ужин съедал большой кусок хлеба и выпивал стакан сладкого молока, примешав в него соли. Когда бабушкино семейство узнало о несчастье Карла под Полтавой, то душевно сожалело о нем, а когда пришла весть о смерти короля — все плакали... Но удивительно еще и то, что бабушке пришлось познакомиться и с победителем Карла — Петром. Можно сказать, что она узнавала героев эпохи с той же последовательностью, что и Европа.

— Призываете в подкрепление своего рассуждения бабушку? — молвил барон Дельвиг. — И кто же ей больше пришелся по душе?

— Карл!

— Вот! — рассмеялся Пушкин. — Бабушка на моей стороне! Но чем же ей наш Петр не угодил?

— Видимо, бабушке по нраву были тихие с виду люди. Петр же, говорила она, был человеком *популярным*. Встреча с ним состоялась в Слуцке в 1711 году, куда царь прибыл с царицею. В честь этого был устроен бал. Петр, рассказывала бабушка, был великан ростом, молодец собой и красавец, с черными усами и орлиным взглядом, только огромный парик весьма вредил его красоте. Он был в синем мундире и казался ловок и развязен. Говорил громко, шутил и смеялся. Ему было уже под сорок лет, но по лицу он казался моложе. Бабушку поразило, что у царя, точно как и у его соперника, Карла, лицо, относительно роста, казалось несоразмерно малым.

Царица, рассказывала бабушка, была очень недурна собой, с большими черными глазами и прелестными плечами, белыми как снег. Она была в белом атласном платье, с малиновым бархатным верхом, вся в бриллиантах и в жемчугах и увенчана маленькой алмазной короной.

Петр, увидев бабушку, подошел к ней, похвалил ее рост, а потом промолвил, что если она хочет замуж, то он доставит жениха по ее росту. Потом позвал гренадерского офицера, такого же великана, как он сам, и представил его бабушке. Понимая шутку, она отвечала, что, напротив, хочет маленького мужа. «Чтоб держать в руках, не правда ли? — сказал царь, улыбаясь. — Ой вы, польки!»

За столом царь пил вино из большого бокала. Когда дошла очередь до знаменитого польского тоста, «kochanymu sie», все встали, по старинному обычаю, и начали обниматься и целоваться; царь также целовался и обнимался со всеми. Поляки царя полюбили и жаловались ему на любимца его, князя Меншикова, который забирал у них драгоценности. Царь сказал, что все зло делается против его воли и что Меншикову не пройдет это даром.

— Замечательно, что вы все это помните, — сказал Пушкин. — Эти живые детали, взятые от очевидца — настоящее сокровище. Обязательно запишите все и тем сохраните для следующих поколений. Кстати, никогда не встречал рассуждений о сходстве Карла и Петра. Видно, острота глаза досталась вам от наблюдательной бабушки вашей, Фаддей Венедиктович.

— Может быть, Александр Сергеевич.

— Исторические сведения, наблюдения очевидцев важны тем, что помогают понять ход всей истории, движение страны. Казалось бы, отдаленные события имеют к нам прямое касательство. Петр изменил лицо России, потомки его часто сменяли друг друга на троне силою оружия, а при Александре созрело новое недовольство. И по смерти императора вылилось в прямой бунт против нового государя. Все на свете имеет свои причины и следствия, — заключил Пушкин.

— Но вряд ли семеновская история отразится на судьбе России, — осторожно сказал я. — Его Величество, мне кажется, крепко держит в руках кормило российского корабля.

— Теперь — да, но коли победили бы заговорщики, то каково было бы их правление?

— Я полагаю, республиканское, хотя... — задумался я.

— Уверен, что для России лучше монархии ничего нет, — твердо сказал Пушкин. — И заговорщики бы к тому же пришли. Как вы полагаете, Фаддей Венедиктович, какая бы правящая династия возникла — Рылеевская? Вы можете судить, вы близко знали Кондратия Федоровича.

— Нет, пожалуй. Впрочем, душа у него была истинно русская, не глядя на польские корни.

— Стоит ли говорить теперь об этом? — заметил Дельвиг.

— Стоит, барон, — отозвался Александр Сергеевич с душевным волнением. — Для меня этот разговор — событие, безусловно, значительное, хотя бы потому, что могло в корне изменить мою судьбу. Окажись я тогда в Петербурге, я бы наверно пошел на Сенатскую площадь и стал бунтовщиком! — сказал Пушкин. — Так уж вышло, что в заговоре участвовали многие мои друзья; если бы они позвали меня, то я не мог бы им отказать. Чувство дружбы здесь преодолело бы различие во взглядах. Получилось, что опала и следствие ее — ссылка, которые я проклинал, сидя в Михайловском, спасли меня от более страшного проступка и более страшного наказания.

— Провидение спасло вас, Александр Сергеевич, — сказала, потупившись, Софья Михайловна, прежде молчавшая.

— Провидение и заяц! — вдруг расхохотался Пушкин, переходя в веселое состояние. — Вы знаете, господа, со мной ведь какой случай произошел: я намеревался ехать в Санкт-Петербург, уже поехал, да вдруг дорогу мне заяц перебежал — прямо перед санями, на глазах. А поскольку я отличаюсь крайним суеверием в этом вопросе, так сани-то и повернул. Вот ведь что удивительно!



— Памятник такому зайцу поставить надобно! — воскликнул Антон Антонович.

— Дурацкая идея, барон, памятники надлежат только героям.

— Тогда давайте выпьем за зайца, спасшего поэта! — предложил я.

Бокалы были дружно сдвинуты, вино выпито с усердием. Пушкин с Дельвигом стали шутить о судьбе зайца, послужившего орудием провидения, может быть, живущего еще в лесу или застреленного каким-нибудь охотником — возможно, из числа поклонников поэзии... или даже самим же Александром Сергеевичем. Я же задумался о том, что я сам, как тот беляк, могу сыграть роль провидения. Стоит мне только доложить в правильном истолковании слова Пушкина о том, что он готов был выйти на Сенатскую, как с кружком литературных аристократов будет покончено. Ах, какой соблазн! Так одним ударом можно избавиться от целой кучи недоброжелателей и самого язвительного из них — Петра Вяземского. В конце концов, Пушкин — человек неблагонадежный, знакомство с ним может доставить неприятности, а вот пользу... А тут — верный шанс сам плывет в руки...

Додумать мысль до конца я не успел, был отвлечен явлением неожиданного гостя — Авторовы. С его приходом разговор стал совершенно литературным, но, редкий случай, мне эта тема не доставила удовольствия. Даже сообщение Пушкина, что он считает дрянью Гнедичеву идиллию «Рыбаки», казалось пресным в сравнении с тем, что он сказал ранее.

Как же все-таки поступить? Донести на Пушкина и тем рассчитаться со всем его кружком, с ненавистным Вяземским? Вот шанс, о котором я полгода назад и мечтать не мог!..

Глава 4.

1.

«Милостивый государь Александр Сергеевич!

Сердечно признателен за Ваше приглашение быть у Вас, но не могу принять его, поскольку завтрашний вечер занят у меня неотложным делом. Отказ мой извинителен, поскольку работа издателя сродни государственной службе — мы, журналисты, почти что чиновники особых поручений, каковые находятся в деле и днем, и ночью. Вам, человеку служившему, должно быть, это хорошо известно и уважаемо. Потому прошу простить мой внезапный отказ. В любое другое время я в полном Вашем распоряжении.

С истинным высокопочитанием честь имею пробить Вашим покорнейшим слугою,

Фаддей Булгарин».

Тон записки я выбрал нарочно. А намеки на мои государственные занятия и его службу, которой он всегда тяготился, не оставляют сомнения в том, что я не намерен впредь продолжать приятельские отношения. И желание выяснять причины отказа они также отобьют.

По чести сказать, лучше так кончить, чем увязнуть в подобном знакомстве. Я почувствовал уже, как приятельство с Пушкиным связывает мне руки. Принимая его, я одновременно принимаю на себя и обязанности добросовестного товарища в помощи и поддержке близкого мне человека. Именно так и только так я понимаю дружбу. Мое положение издателя, доверие Бенкендорфа дают мне возможность оказывать Пушкину услуги, но услуги эти совершались бы за счет моих собственных интересов. Манкировать ими я не могу (хотя бы из-за компаньона Греча, который следит за каждым шагом), да и не хочу. Влияние мое и возможности не безграничны, вдруг потребуется употребить их сразу на два дела, для Пушкина и для себя — какое же тогда выбрать?... А если все мое влияние потребуется на то, чтобы добиться разрешения на публикацию моего романа, а тут забота о делах товарища потребует иного употребления влияния... Если бы мы принадлежали к одному кружку, вполне сошлись во взглядах — тогда не было бы противоречия, у нас были бы одни интересы. Но так сложились обстоятельства, что принадлежим мы к разным стаям, ведем их, а вожакам пристало драться за свое место, за свою стаю.



Предвидя все эти сложности и чувствуя на себе все растущий магнетизм Пушкина, я решил оборвать наше близкое знакомство, сменив его прежними отношениями уважающих друг друга литераторов. Так покойнее, так Александр Сергеевич может говорить и писать обо мне все, что позволяют рамки приличий, мои руки также останутся свободными.

Неприятное решение о разрыве с Пушкиным, на которое было так нелегко отважиться, мне помог принять генерал Бенкендорф.

Он вызвал меня спустя неделю после подачи записки, касающейся значения русской и немецкой партий.

— Весьма благодарен вам, Фаддей Венедиктович, за вашу записку. Уверен, никто лучше вас не справился бы с такой задачей. Очень рад, что вы сами изъявили желание написать рассуждения по данному вопросу.

— Я вовсе не...

— Я непременно доложу об этом государю, — с благожелательной улыбкой твердо сказал генерал.

— Благодарю вас, ваше превосходительство, — осталось мне ответить с поклоном.

— Вы верно описали саму расстановку сил, указав, что среди «русской партии» мы видим зародыши якобинства, а также то печальное обстоятельство, что проводниками ее идей являются в первую очередь литераторы и журналисты... Все верно, Фаддей Венедиктович, умно, тонко. Только отчего же вы останавливаетесь на полдороге и не называете имен злоумышленников? Где тут Киреевский, Соболевский, Титов, Шверев, князя Вяземский и Одоевский?.. Пушкин, наконец...

— Есть ли смысл в том перечислении, когда вы, Александр Христофорович, и так наизусть знаете список? — сказал я.

— Есть. Его Императорское Величество не имеет времени входить в тонкости, которые известны мне по долгу службы. А знать имена неблагонамеренных подданных ему надобно. Теперь мы поправим это, а впредь прошу учесть это обстоятельство, Фаддей Венедиктович, — с довольной улыбкой закончил Бенкендорф.

— Всенепременно, ваше высокопревосходительство, — сказал я, сообщая, чему он так радуется. Кажется, ничего сверх того, что фон Фок просил, я не написал. А что было указано — наверное было с самим Александром Христофоровичем согласовано. А про откровения Пушкина я и не заикнулся. Так чему же все-таки так радуется царский любимец?..

Я поймал себя на мысли, что пытаюсь угадать замыслы Бенкендорфа относительно Пушкина. И пока я мысленно не порвал с Александром Сергеевичем, так и будет, сколько бы я ни твердил себе, что следует думать о своем. Что мне до него... Пушкинское доверие я не предал, прямой удар ни ему, ни Вяземскому (вот бы кого прибить не мешало!) не грозит. Остальные замыслы генерала меня не касаются, так как он меня в них не посвящает. Так что пусть все идет своим чередом — Бенкендорф задумывает интриги, Вяземский пишет статьи, Пушкин — стихи. Я же буду делать свое.

Простившись с цветущим генералом (у него опять румянец во всю щеку), я отправился домой, где меня ждала записка от Пушкина с приглашением завтра пожаловать в гости в гостиницу Демута на ужин. Я вспомнил веселящегося Бенкендорфа и написал отказ. Александр Сергеевич — милый человек, искрометный талант, многие ищут его общества... и я, признаться, полюбил проводить с ним время, но все это — пустое. Если вдуматься, встречи с Пушкиным приносили мне только неприятности, ночные кошмары и лишние вызовы к начальству. И Пушкину от этого знакомства ничего хорошего не будет.

2.

Греч затеял самолюбивое дело — отметить свои именины, совместив сей день, 6 декабря, с празднованием выхода в свет «Грамматики». Тираж он, правда, отпечатал за свой счет, но торговля обещает быть бойкой — недорослей-то у нас несчетно. Небывалое собрание гостей, шестьдесят два человека, наверняка сделает событие



запоминающимся. Званы все известные литераторы и поэты, начиная с самых первых — Крылова и Жуковского, а также ученые и отличные любители словесности. Знакомых было так много, что я не успел даже со всеми поздороваться. Тем более что у меня на званом обеде были и обязанности — Николай Иванович зазвал меня в число главных поздравителей и распорядителей праздника. Речь я написал короткую, уже одним этим обеспечив ее благосклонный прием. Ну и конечно, произнес все заслуженные Гречом комплименты. Его трудолюбие и усердие, опыт и знания того стоят. Кажется, Николай Иванович остался мною доволен.

Эти хлопоты должны скрасить некоторую отстраненность между нами, которая возникла после разговора с фон Фоком. Греч, мне кажется, ее уловил — он старался вечно быть рядом, но я больше не делился с ним ничем, кроме мыслей о работе. Он не оставлял попыток снова сблизиться — с настойчивостью мухи, таранящей стекло. Но я был чист, прозрачен и тверд — доверять свои дела агенту фон Фока я не собирался. Наконец он устал и начал соблюдать заданную мною дистанцию. Однако не знаясь со своим компаньоном я тоже не мог. Мне необходимо придумать такой ход, чтобы не я зависел от Греча, а чтобы он боялся делиться сведениями обо мне. Раз предавшего усовестить нельзя, он может снова проявить слабость. Значит, нужно сделать так, чтобы его интересы совпадали с моими — себя-то он предавать не станет!

Обед получился в меру пышный, а по мере продвижения — даже и веселый. Но разговор за столом, я заметил, велся самый благонамеренный. Орест Сомов, выпив вина, схватился по привычке за бумагу и тут уже сочинил куплеты по случаю:

В отчаяньи уж Греч наш был,
 Грамматику чуть-чуть не съели:
 Но царь эгидой осенил,
 И все педанты присмирели.
 И так, молитву сотворя,
 Во-первых, здравие царя!

И еще три куплета, которые я уже не запомнил. На разогретые головы гостей стихи эти произвели самое хорошее впечатление. Куплеты государю повторялись всеми с восторгом и несколько раз. Тотчас после стола куплеты начали списывать на многие руки. А передо мной вдруг возник улыбающийся Пушкин.

— Добрый день, Фаддей Венедиктович.

— Здравствуйте, Александр Сергеевич.

— Прекрасную речь сказали, — похвалил Пушкин. — Главное — короткую, чем выгодно выделили себя.

— Спасибо.

— Очень удачно, что я вас тут встретил, Фаддей Венедиктович.

— Александр Сергеевич, я...

— Нет-нет, Фаддей Венедиктович, не подумайте, пожалуйста, что я в обиде за ваш отказ и собираюсь предъявлять вам мое уязвленное самолюбие. Ничего подобного, Фаддей Венедиктович. Я так часто страдал и страдаю от чужих несправедливых мнений, что взял за правило: каждый человек имеет право поступать, как ему заблагорассудится, лишь бы это не задевало моей чести. Здесь о ранении чести речи нет. Поскольку я успел узнать в вас человека разумного и благородного, уверен, что отказ ваш имел причину. Я хочу лишь спросить: не является ли этой причиной мое неосторожное поведение в отношении вас? Не сочли ли вы себя задетым каким-то словом? Уверен, зная друг друга ближе, мы не стали бы особо обращать внимание на пустяки, его не заслуживающие. Итак, не обидел ли я вас ненароком, Фаддей Венедиктович?

— Положа руку на сердце — нимало, Александр Сергеевич.

— Вы сняли с моей души тяжесть, Фаддей Венедиктович. Ибо я не хотел бы доставить вам, человеку, мною глубоко уважаемому, малейшую неприятность. Тем паче что сам я нахожусь в хорошем расположении духа. Прошу вас, не сердитесь на меня, не лишайте меня своего общества. И отбросьте любые причины, мешающие этому, прошу вас! Мне кажется, что наше знакомство неслучайно, что оно имеет



твердую основу в схожести душ, служении одним музам. Что мешает нам впредь быть товарищами? Нет, я не спрашиваю, я только прошу вас еще раз мысленно взвесить эти неизвестные мне причины, их следствие, и, напротив, то чувство удовлетворения, душевную радость, доставляемую нашим общением. Мы лишь познакомились, а я чувствую, что мне уже не хватает вашего мнения, точного наблюдения, участия... Загляните себе в душу — если вы испытываете схожие чувства, то не глушите их, пусть даже доводами разума. Это доводы ложные, поскольку мешают нам вольно проявлять свои чувства, испытывать чистую эмоцию общения, дружеского тепла, радости от того, как вольно сплетаются мысли в разговоре, как игра ума свежит, вострит мысль, приводит к новым открытиям и прозрениям. Отбросьте пустое, давайте знатья как прежде! Не требую ответа, но жду от вас известия — где вы брали то замечательное легкое испанское вино? Благодаря вам я стал его поклонником... Простите, моя очередь списывать куплеты — свезу их показать Карамзиной. До свидания, Фаддей Венедиктович!

— Пойдите, Александр Сергеевич! — попросил я. — Ваши слова, поверьте, глубоко меня трогают, но мнения не изменяют. Я по-прежнему буду отдавать долг прежде делу... и после — дружбе. И хоть испытываю схожие с вашими чувства, прошу больше не искать во мне дружеского расположения. Судьба расставила нас по разные стороны барьера.

— Вот как?! — пушкинские глаза побелели от ярости. — И это ваш ответ на мои искренние излияния? Хорошо... Коли мы у барьера — я сделаю вам вызов!

Пушкин удалился к столу, на котором лежали куплеты.

Я не мог разрушить репутацию Греча, как не мог, без ущерба для своего имени, рассказать о своих разговорах с Бенкендорфом. Тут уж лучше стать уважающими друг друга врагами, чем недомолвками омрачать начинающуюся меж нами дружбу.

Глава 5.

1.

От последнего нашего разговора с Пушкиным прошло месяца четыре. Вызов он мне не прислал, да я и не ожидал этого. Злость его, видно, была велика, но стреляться оттого, что ему отказали в дружбе — затея унизительная для самолюбивого поэта. Да и повод неподходящий. Вот оскорбление, ядовитая шутка, косой взгляд — это отличный случай призвать к барьеру, а прямой и вежливый отказ приходится переживать про себя.

Пушкина я видел несколько раз в театре, но мы не здоровались. Это заметил даже Греч и бросил неуклюжий намек. Я сделал вид, что не заметил его слов, а Николай Иванович как-то пристально посмотрел на меня. Что ему там померещилось — бог весть, но он еще пару раз пытался расспросить меня о Пушкине. Я ответил молчанием.

Постепенно я привык к отсутствию Александра Сергеевича в моей жизни и более не переживал из-за этого. Должно быть, я успел вовремя оборвать опасную дружбу, не успев всерьез привязаться к нему. А возможно, опустевшее в моей душе место заняла приязнь другого свойства. Последнее время я поглощен ею полностью и ни о чем другом думать и помнить не могу.

Как и в дружбе с Пушкиным, отправной точкой рассказа следует считать забот Сомыча в мой кабинет. Можно сказать, что в моей истории Орест играет роль вестника из греческой трагедии.

— Фаддей Венедиктович, мне совет нужен по статье о Дельвиговых стихах.

— Изволь, Орест Михайлович.

— Нет-нет, к вам сейчас важная дама приехала, так я завтра лучше...

Я вскочил и стал натягивать сюртук, который за работой сбрасываю.

— Так в номер завтрашний опоздаешь!

— Зато уж как припечатаю его! — погрозился Сомов и исчез, я и цыкнуть еще успел.



Только я привел в порядок платье, как дверь снова распахнулась, и в кабинет вошла светская дама, что сразу было ясно по манере держаться и изящному наряду, подчеркивающему статность фигуры. Лицо ее было скрыто вуалью.

— Здравствуйте, Фаддей Венедиктович.

Голос произвел на меня ошеломляющее впечатление. Дама откинула вуаль — и сомнений не осталось! «Боже мой, это Лололина!» — закричало мое сердце. Мне показалось, что я покачнулся.

— Пан Булгарин, я ваша землячка, — по-польски сказала она, — и потому так запросто осмелилась вас побеспокоить. — Дама подошла, протянула руку и любезно улыбнулась. И сквозь эту светскую гримасу я отчетливо увидел ту улыбку, что грезилась мне много лет.

— Я очень рад, — пробормотал я и приложился к руке, затянутой в кружевную перчатку.

— Я, Каролина Собаньская, прошу вас пожаловать ко мне послезавтра в салон. Я решила принимать у себя в первую очередь земляков, ведь в Санкт-Петербурге живет много поляков.

— Чтобы оказаться в вашем обществе, теперь всякий будет зваться поляком.

Каролина рассмеялась жемчужным смехом. Я невольно любовался ею. Она ничуть не стала хуже — если когда-то я знал барышню, то теперь передо мной была зрелая женщина в самом расцвете красоты. Она привыкла к обожанию, как артист к аплодисментам, который механически делает для них паузу — и отвела несколько секунд на восхищение собой. Затем продолжила:

— Я пока не знаю здешнего общества, так как третьего дня приехала в столицу из Одессы. Думаю, что здесь найдется много знакомых — старых и новых.

— Одного вы уже нашли. Буду весьма рад, — пробормотал я, все еще не оправившись от невероятного явления свое первой любви и не понимая — помнит ли она меня?

— Я также рада, что мой земляк занимает столь известное положение в литературном и журнальном деле Российской империи.

Я поклонился и хотел возразить, но пани Собаньская не дала мне говорить.

— Не отрекайтесь — это так, иначе бы я не явилась к вам неизвестной просительницей. Я все о вас знаю! И у меня к вам дело.

— Внимательно вас слушаю, — я подождал, пока дама сядет, а потом опустился в свое редакторское кресло и почувствовал, что устал от сковавшего меня напряжения.

— Вне света я люблю говорить по существу, — сказала Собаньская. — А в данном случае это еще и сократит неловкость... Как я уже сказала, я пришла к вам просительницей — и надеюсь, что просьба моя не будет обременительной. — Каролина сделала паузу. Я ждал. — Мой брат, Генрих Ржевусский, недавно по наущению Адама Мицкевича решил стать литератором. Пан Мицкевич разглядел в нем талант и дал брату несколько полезных советов. Вас он упоминал как человека знающего и отзывчивого. Вот почему я решила обратиться к вам напрямую, без посредников.

— И правильно сделали. Я готов служить вам.

— Брат написал первый роман под названием «Воспоминания Соплицы». Прошу вас стать рецензентом, а при благополучном исходе дела — подобрать русского переводчика и издателя. Ведь вы всех знаете.

— Тут и знать никого не нужно, — воскликнул я, — рецензия моя будет самой благожелательной, а переводить роман вашего брата буду я сам. Если талант в нем видит Мицкевич, то этому мнению наверное можно доверять — я хорошо знаю Адама, у него отличный вкус.

— Я бы не хотела затруднять вас, Фаддей Венедиктович. Ведь ваше время дорого...

— Ничего подобного, — возразил я, — я перевел и опубликовал множество поляков даже без всяких просьб с их стороны, неужели же откажу брату такой... просительницы, — я вдруг запнулся и не решился сделать комплимент. — В общем, дело с переводом решено. Осталось определиться с изданием романа... Я владею несколькими журналами — ваш брат может ими располагать. Что же касается изда-

телей... я похлопочу. Если польское издание выйдет раньше и будет иметь успех, то и хлопоты не понадобятся, любой издатель такую книгу возьмет с радостью. Впрочем, я все вам доложу, как только узнаю.

Только после ее ухода я почувствовал, как бешено бьется мое сердце. Оно, оказывается, свое еще не отскакало! А я-то, дурак, думал, что ничто уж не может меня так разволновать.

2.

Буквально в один день я повстречался с несколькими издателями и заручился их поддержкой нового талантливой автора. Моей рекомендации, подкрепленной мнением Мицкевича, для этого вполне было достаточно.

Через два дня я облачился в парадный сюртук и отправился на прием к Каролине. Устроилась она на широкую ногу — сняла просторный дом, в котором можно было не только приемы, а и балы устраивать. Я не переставал любоваться Собаньской: как она по-королевски держится, как она равно мила со всеми — все мне кажется в ней замечательным. Она приветствовала меня с очевидной радостью.

— Фаддей Венедиктович, вы мой самый желанный гость!

Я поклонился.

— Надеюсь таким и останься — я с хорошими вестями, пани Собаньская.

— После переговоров, Фаддей Венедиктович, — сказала Каролина, расточая улыбки свежим гостям, — останьтесь после приема.

Светские приемы — не моя стихия, хоть, казалось, где же журналисту место, как не в эпицентре сплетен... Но я не охотник. Обычно это дело пустое: обсуждают то, о чем уже написано, или чаще — о чем писать не след. Но в этот вечер я не скучал — глаза мои были наполнены образом, по которому скучали столько лет. Решительно — если Каролина и изменилась, то только в лучшую сторону. На ней был красное с глубоким багряным оттенком платье — цвет византийских императоров! — и газовый шарф, своей прозрачностью смягчающий королевское величие. Все-таки польки — аристократки от рождения, убеждаюсь я не в первый раз, а Каролина — первая среди них.

Проводив гостей, Собаньская пригласила меня в маленькую гостиную, скорее будуар, где был накрыт чай.

— В Одессе я пристрастилась к крепкому чаю, — сказала Собаньская, усадив меня за маленький круглый столик на двоих. — Или вы предпочтете вино?

— Пусть чай, — согласился я.

Пока Каролина ухаживала за мной, я обежал комнату глазами. Она была со вкусом обставлена в темных и золотистых тонах. За бархатными шторами пряталась дверь, верно — в спальню. «Преддверие тронного зала», — почему-то пришло на ум.

— Я переговорил с несколькими издателями — все готовы способствовать вашему брату. Особенно господин Смирдин — он вообще любит новые прожекты устраивать. Если же он вдруг откажется, то у моего компаньона Николая Ивановича Греча есть типография — в том доме, где вы были с визитом, — он никогда не откажет в помощи и издаст книгу на самых льготных условиях. Ну и мои журналы...

— Я вам благодарна от всего сердца, Фаддей Венедиктович. Вы так быстро все устроили... Чем я могу отплатить вам?

— Это ничтожная услуга, какие могут быть счета, — сказал я. — Мне было приятно хлопотать для вас.

— Спасибо, Тадеуш, — тихо сказала Собаньская.

Я вздрогнул, как от крика.

— Так вы... узнали меня?

— С первой минуты, Тадеуш. Но у вас был такой неприступный вид — я подумала, что вы или забыли, или не хотите вспоминать прошлое. Извините, если я невольно напомнила то, о чем хотелось забыть.

— Нисколько, — отрывисто сказал я. — Это дорогие для меня воспоминания.

— Я сама ничего не забываю. Я помню молодого польского офицера, который чувствовал себя Наполеоном — перед ним лежал мир, который предстояло завое-



вать. Это прекрасное чувство... жаль, что с годами оно проходит — ведь полжизни уже прошло, а полмира еще не объято!

— Это вы чересчур — полмира, — меня самого захватили воспоминания. Я словно опять стал молодым, исполненным надежд, думавшим, что одной смелости достаточно, чтобы взнудать судьбу. — Даже в мыслях я не залетал столь высоко. Мои мечты были скромнее, но и они не исполнились — и вас не удержал, и карьеры большой не сделал. Журналистика — ремесло презренное в свете. Я ведь мечтал носить эполеты.

— В Европе журналисты стоят выше — то же будет со временем и здесь, — Собаньская повторила мои собственные мысли. — А в журналистике вы — генерал.

Каролина отпила чаю.

— Я часто вспоминаю то время, потому что и сама о многом тогда мечтала. Но у женщины гораздо меньше свободы для исполнения мечты.

— А на что же мужчины — вам стоит только приказать...

— Серьезно, Тадеуш, у вас теперь есть мечта?

— С тех пор как увидел вас — даже две.

— Перестаньте, столько лет прошло.

— Я тоже так думал, но сейчас понял, что время не имеет абсолютной власти. Во всяком случае — не всегда.

— Давайте лучше поговорим о первой мечте... Разрешите, я угадаю? — спросила она со внезапной живостью.

— Пожалуйста, — улыбнулся я.

— Я помню, в честь кого отец назвал вас Тадеушем — его кумиром был Костюшко. Вы сын своего отца — это я тоже помню... Значит, и вы мечтаете о свободе своей родины!

— Нет, вы ошиблись, Каролина. Такая бесплодная мечта свела бы меня в могилу.

— Поляк не может так говорить! — возмутилась Собаньская. — Наша родина под игом российского самодержавия — каждый должен думать о ее свободе. Польша — славная и сильная страна. Вспомните историю: поляки даже в Кремле гостили — вот какие были у нас предки! Теперь нужно только освободить свои границы. Вы давно были на родине? Давно слышали польскую речь вокруг себя? Там по-прежнему множество патриотов, которые готовы отдать жизни ради свободы Речи Посполитой. Неужели вам не снятся белые орлы, неужели вы не с нами, Тадеуш?

Речь Каролины взволновала меня. Я увидел ее в новом свете. Ее образ приобрел еще большее величие, она — настоящая патриотка. Находясь, как я слышал, сама в зависимости от графа Витта, она жаждет свободы не для себя, а для несчастной родины. Такая целеустремленность, сохраненная до зрелых лет, говорит о цельности натуры, сильной воле, подчиняющей жизнь раз и навсегда выбранным идеалам.

— Так вы с нами, Тадеуш?

— Я довольно гонялся за белыми орлами, но даже сам Наполеон не смог дать свободу Польше. Если она и грядет, то не на нашем веку, — сказал я честно, что думал.

— И чем же вы тогда живете? — Каролина наклонилась вперед и смотрела на меня в упор. Лицо ее пылало возмущением.

Я не знал, что сказать, но чувство мое было подкреплено убеждением, которое зародилось в июле 1812 года под деревней Клястицы, на дороге между Полоцком и Себежем.

3.

Я залпом выпил чашку чая, собираясь с мыслями.

— Да, Каролина, я мечтал о свободе Польши и честно воевал за нее. Наполеон обещал после покорения России вернуть Рече Посполитой независимость, поэтому поляки были самыми отчаянными храбрецами в его армии. Я служил в Восьмом Польском уланском полку в составе корпуса маршала Ундино. Именно ему прочили

славу героя этой кампании. Ундино исполнял обычную тактику Бонапарта — в каждой войне, в каждой стране он старался быстрым броском захватить столицу государства. Корпус маршала отделился от основной армии и, не доходя до Смоленска, двинулся на север — на Санкт-Петербург. Провидение было за нас — корпус насчитывал двадцать восемь тысяч солдат, тогда как Первый пехотный корпус графа Витгенштейна, преграждавший нам путь, составлял семнадцать тысяч человек. Помимо этого совместно с Ундино действовал корпус маршала Макдональда, который численностью также превышал армию русских. Макдональд и Ундино должны были прижать отряд Витгенштейна к левому флангу основных сил французов и уничтожить. Цель была ясна, а победа — как никогда близко. Стоило очистить дорогу на Псков и Петербург, как столица Российской империи сдалась бы нам без боя, а возможно, вместе с ней пал бы и император Александр. Как я узнал позже, в Петербурге думали так же, поэтому заранее начали эвакуировать государственные учреждения.

Витгенштейн, видя, что поражение неизбежно, решился на отчаянный шаг — он бросился на корпус Ундино прежде, чем тот соединился с Макдональдом. Но и здесь у него, казалось, не было шансов, нас было больше почти вдвое. Я вступил в сражение 18 июля у села Якубова. Бой за село длился с четырнадцати часов дня до одиннадцати вечера, с переменным успехом. Гродненские гусары генерала Кульнева бросались на нас из леса, как стая волков, но мы вцепились в Якубово и удержались там. Подо мной убило двух лошадей, я застрелил казака, поймал его лошадь и снова бросился в бой. Я столько рубился, что правая рука совершенно онемела, тогда я взял саблю в левую и продолжал убивать. Одни русские валились, на их месте вырастали новые; цепи все шли, кавалерия насакивала волнами — я чувствовал себя человеком, сражающимся со стихией. Эти волны накатывали, и хоть мы стояли твердо, но словно все больше погружались у пучину. Руки не двигались, легкие, отравленные гарью, не могли дышать — изнеможение было полным. И в этот момент я впервые подумал, что русский бог сильнее, что русские, дерущиеся с таким упорством, не отступят. Короткая передышка, которую я провел на земле, будучи не в силах искать более удобного ночлега, не вернула сил.

В три часа ночи сражение возобновилось. Русские теснили, словно это нас было меньшинство. Якубово мы бросили. Маршал Ундино отступил к Клястицам и велел сжечь единственный мост. Но русские бросились вперед и по пылающему мосту! Артиллерия, ударившая по мосту, не остановила их — сражение продолжилось. Поляки бились отчаянно, они бросались в самое пекло, своими телами останавливая движение русских, но это не удавалось. Авангард Кульнева, найдя брод, стал обходить наш фланг. Ундино понял, что Клястицы не удержать, и приказал снова отступать. На следующий день, попав в засаду, был разбит авангард Кульнева; сам генерал погиб, но, преследуя врага, наш Вердье наткнулся на основные силы русских, что стоило нам двух тысяч пленными. Дорога на Петербург была заперта, и до осени Ундино не продвинулся на север даже после того, как император прислал ему в помощь свежий корпус Сен-Сира. В то время, когда Наполеон победоносно двигался на Москву, мы уже знали, что эту войну суждено проиграть... Позже мы присоединились к отступающей Великой армии и ушли из России; вместе с польскими уланами ее покинула и надежда на освобождение Речи Посполитой.

— Это уже история, — сказала Собаньская, потрянув головой. — Точно так же можно вспомнить, что после Смутного времени в составе Польши оказались смоленские и черниговские земли. На родине выросло новое поколение патриотов, для них свобода — не пустой звук.

— Если мой рассказ вас не убедил, то прошу вас прислушаться к доводам рассудка — Россия сейчас сильна и объединена жесткой волей царя Николая. Бунт двадцать пятого года был единственной возможностью поколебать самодержавие, она упущена, быть может, на целый век. Это то, что я знаю наверняка. Новое восстание в Польше будет обречено.

— Это не важно. Правда не в рассуждениях о свободе, а в действиях, ее приближающих, — сказала Каролина. — И нельзя целому поколению сказать: «Подождите полвека!» — они готовы действовать и будут действовать сейчас!

— Каролина, вы рискуете...

— В ваших силах уменьшить этот риск.

После колебания я спросил:

— Что вы хотите?

— Есть препятствие, которое сдерживает нас; для его устранения я и приехала в Петербург. Хлопоты по делу брата — это только предлог, хотя я благодарна вам за участие в судьбе Генриха безмерно. Итак, дело касается Рылеева, поэтому я обращаюсь за помощью к его близкому другу, пану Тадеушу Булгарину.

— Но Рылеев давно казнен!

— Зато остались его бумаги.

Я вздрогнул. Архив Кондратия не давал мне покоя.

— В свое время польские патриоты пытались скоординировать с русскими заговорщиками время восстания. Они готовы были поддержать Северное тайное общество, если бы Рылеев обещал в будущем дать Польше свободу. После поражения восстания в России многие польские заговорщики, боясь арестов, уехали в Европу. Теперь они мечтают вернуться, но бояться — вдруг их имена известны по бумагам Рылеева... Тогда их ждет арест. Значит, и восстание будет сорвано. Вы — самый близкий Рылееву человек, вы должны знать, у вас должны быть его бумаги, поэтому я прошу помощи.

— Я остался на свободе только потому, что стоял вне заговора, поэтому мне никакие его подробности неизвестны, — сказал я. — Что касается бумаг... не стану вам лгать, бумаги у меня есть, но это стихи, черновики — литература, одним словом. Все остальные бумаги Рылеева хранятся, как говорят русские, за семью печатями.

— Эти бумаги необходимо достать!

Каролина в этот момент была прекрасна: глаза ее сверкали, обычно матовые щеки залил румянец, вся ее фигура выражала уверенность в победе.

— Невозможно, — сказал я. — С вами шутит дурную шутку горячая польская кровь.

— Я в отчаянии, — отвечала Собаньская. — Я должна помочь заговорщикам, но не знаю как. Я боюсь сделать оплошность и провалить дело. Вот сейчас я, например, раскрылась перед вами, уповая на прошлую дружбу, но люди с годами меняются.

— Каролина, я никогда не предаю вас! — воскликнул я. — И готов сделать все, чтобы вам помочь!

Польская кровь и со мной сыграла злую шутку — я ввязался в авантюру не только бессмысленную, но и опасную. Впрочем, сожаление о том, что, помимо воли, эти слова вырвались, длилось одно мгновение. Ведь Каролина так посмотрела на меня!.. В ее взгляде были и благодарность, и надежда, и восхищение, и обещание... Я разглядел в нем все, что только желает увидеть влюбленный мужчина в глазах женщины.

Я почувствовал, как меня тоже заливают румянец; лицо мое горело, тело напряглось, словно уже сейчас нужно было идти в бой. Голова чуть кружилась — точно так же, как когда я пришпоривал коня и выхватывал саблю, несясь на врага. В эту минуту всегда веришь в победу, и я мгновенно представил, что все может получиться. Когда-то я не смог завоевать эту женщину, но теперь, в расцвете сил и славы, я могу взять реванш...



Алесь АДАМОВИЧ
Василь БЫКОВ

Диалог в письмах*

Ответы В. Быкова на вопросник А. Адамовича 22.4.72 г.

Я не эпик, не романист, скорее, я новеллист, но, поскольку пишу на одну тему, все эти мои локальные повести, каждая в отдельности — момент, эпизод, частность. Чтобы сложить по ним какое-то представление о предмете, надобно рассматривать их в целом, в совокупности, хотя, впрочем, я не знаю, надобно ли это делать и зачем это делать. Я никогда не задавался целью отразить дух, сущность, историю прошлой войны, меня в ней интересовали какие-то частности, прежде всего, разумеется, те, которые наименее преходящи и наиболее важны для данного времени. Поэтому субъективно я не осмысливал все это как цикл, более того, я не знал, заканчивая какую-то повесть, за что возьмусь дальше и возьмусь ли вообще, но нередко получалось так, что последующие вещи как бы вытекали из предыдущих. Конечно, «Альпийская баллада» — поиск в другой области, попытка попробовать свои силы в лирико-романтической прозе, однако она же дала почувствовать автору, что это не его стихия. Самый жесткий реализм меня привлекает больше и тут, чувствую, я бы преуспел гораздо, если бы он был возможен в современной л<итерату>ре.

Обращение к партизанской теме объясняется тем, что фронтовая тема во второй половине 60-х годов была основательно прижата, и хотя таила в себе массу самых интересных и неотраженных л<итерату>рой моментов (нравственных и военных), в ней уже ничего серьезного нельзя было сделать. Тогда я обратился к теме еще большей стихийности — партизанской. Здесь, как известно, тоже масса всякой всячины — настоящей жизни. Однако... За «Обелиск» я взялся, действительно, после «Круглянского <моста>», в котором коснулся проблемы высокого героизма (комбриг Преображенский), и тут меня поразила одна вещь: я не нашел прототипа. В католической Польше был Корчак [1], в Югославии учитель из Крагуеваца, а в Белоруссии таковых не оказалось. Вершина нашего духа — Матросов, в состоянии аффекта дерзнувший на самопожертвование, а осознанного, трезвого самопожертвования такого рода у нас не оказалось. И я понял почему: наша мораль к этому не была готова, более того, такого рода героизм она не признавала за героизм, она еще не дозрела до него. Вот почему я возвратился в «Обелиске» к этой теме и написал то, чего недоставало в жизни. Сделал я это вполне сознательно — полемически, пропагандистски — как угодно, но мне кажется, что это оч<ень> существенное и недостающее (выпавшее) звено высокой духовности народа, которое надлежит хотя бы осознать, если не возместить.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2013, № 10.



Другое дело — «Сотников». Эта повесть целиком созрела в настоящем, нашем времени. Я кожей, нервом почувствовал (что понятно), что значит жить в ситуации, когда ничего не можешь, лишен всех возможностей не только как-то влиять на обстоятельства, жизнь, но и хотя бы с ничтожною долей на успех сохранить свою независимость от этого злобного и хищного мира. И я построил сходную модель на материале партизанской войны (вернее, жизни в оккупации), взял Сотникова и Рыбака и показал, как оба обречены, хотя оба — полярно противоположные люди, — такова сила обстоятельств. Не скрою, здесь замысел — от экзистенциализма, каким я его представляю.

Относительно нынешней «Войны и мира» я пессимист, — подобные вещи сейчас невозможны, как невозможен эпический жанр вообще, для которого необходима вся правда общества или хотя бы максимум правды. Но кто ее позволит? А без такой большой правды какая же эпика? Ведь в недавнюю пору маленькая повесть потому и получила такое распространение и так много выразила только потому, что она довольствовалась кусочками правды, частностями нашей жизни, деталями ее, в которых, однако, видна была сущность всего. Но ведь для романа этого мало. Конечно, всякий бывает роман, но речь об эпосе, о «Войне и мире».

С «лесенкой», пожалуй, согласен. Так оно и есть.

Я никогда не заглядываю далеко, не только в 82-й, но даже в завтрашний день — что поделаеть, плохо так, но это привычка молодости, с войны. Не люблю и не хочу. Я уже не знаю, что и как — сегодня, чувствую, что реалистической литературы делать нечего, надобна литература другого рода, типа Салтыкова-Щедрина, Булгакова, отчасти Достоевского, но кто ее позволит. Эпикой Толстого ничего не возьмешь, не отразишь и части того, что есть. А вообще я думаю, что литература скоро отомрет за ненужностью, происходит мощное, глобальное роение человеческих сил, и все дело будут решать расы, ракеты, идеологии. Искусство будет терпимо лишь как средство пропаганды, не более. Впрочем, это уже есть. А что еще будет...

Что делать, я пессимист, страстно желающий оказаться неправым в этом своем пессимизме, ни в литературе, ни в истории я не вижу ни единого проблеска впереди. И моим евангелием является «Чума» Камю, другого пока я не знаю. Толстой прекрасен, но он старомоден, он не жил в атмосфере, в которой десятилетия (а то и столетия) приходится жить его потомкам, никто больше и яснее А. Камю не сказал, как надлежит быть честному человеку в таких условиях. Впрочем, нам уже не так много осталось, через 2 года мне 50 — и хватит. Ничего радостного впереди никого не ждет. Жаль только наших детей. В то же время, как ни странно, переживаемый нами период (с после войны) — пожалуй, самый счастливый в истории человечества. Другого такого не было до и не будет после.

Впрочем, хотелось бы что-нибудь написать еще. Но — не очень сильно...

Больше хочется лета, солнца, тепла... Вот те ценности, которые хотя и изменчивы, но реальны.

.....

А тебе спасибо! Написал ты обо мне умно, подробно, пространно и, конечно, более глубокомысленно, чем я того заслуживаю. Я читал с некоторой даже неловкостью — не привык. Жаль будет светлой твоей головы и твоих рук, если все это останется все...

Обнимаю, В.

На обороте листа А. Адамовичем сделана запись:

«Написано по прочтении статьи (для «Вопросов литературы») [Статья: Адамович А. Торжество человека (Новые повести В. Быкова) // Вопросы литературы, 1973, № 5] и как ответ на мой «вопросник».

«Лесенка» — моя оценка, «расстановка» быковских повестей по их художественной значимости.

А. Адамович».

1. Корчак Янош (1878—1942) — польский писатель, педагог, врач.

[Ялта — Минск.] 18—20 сентября 72 года

Дорогой, милый Саша!

Только что прочитал твою «Хатынскую повесть» и весь еще у нее в плену, под ее властным, сладостным и трудным впечатлением. Повесть великолепная, я просто не знаю, с чем ее можно поставить рядом. У нас, по крайней мере, о партизанах так не писали — ты первый. Хотя и предыдущая твоя книга вполне хороша, но эта — что-то особенное. Этот герой твой и его одиссея, корова в ночи, стадо побитых коров, сожжение людей, пленные каратели, этот твой бой по кругу — что-то апокалипсическое, не меньше. Множество великолепных деталей, точно переданных состояний. А каковы образы!

Прекрасная во всех отношениях повесть.

Как на мой вкус, так я бы подрезал сцены сегодняшнего, но, я понимаю, они нужны для осмысления, для публицистики. И публицистика эта по высшему сорту — умно, честно, тонко.

И еще — название.

Названия у тебя вообще не блистают ни новизной, ни вкусом — тут тоже. Само слово «Хатынь» слишком уже захватанное, не новое, что-то в нем от официальной терминологии. А у тебя ведь такая свежая, новая, многокрасочная вещь... Я бы назвал иначе. Не знаю как, но иначе.

И еще — жаль, что она в «Дружбе народов», а, скажем, не в «Новом мире», который бы она украсила, несомненно. Но что в «Маладосці» — хорошо. Пусть! Перевод хорош, вполне белорусская вещь. Никто не усомнится. Надеюсь, что порусски она звучит еще лучше. Хотя и по-белорусски прекрасно. Те, которые тебя упрекали в отступничестве от национального, теперь будут довольны.

Я очень рад, что ты написал эту вещь, особенно после двух твоих последних повестей [1], которые не всем нравились. Думаю, что эта понравится всем. Да и не может она не понравиться — разве что какому-нибудь идиоту.

Словом, я очень рад за тебя, поздравляю, немножко по-хорошему завидую. Теперь, дружище, если ты еще начнешь хоть немножко пить, то действительно тебе не будет цены, как сказал К. [2]

А пока — хоть будь здоров.

Обнимаю тебя,
твой Быков.

P.S. Сердечный привет твоей маме, а также Вере (которую поздравляю с награждением Почетной грамотой Верховного Совета БССР) и Наташе-студентке. [3]

P.P.S. Начал писать в Гродно, заканчиваю в Ялте, в Доме творчества. Природа хороша, похуже погода и еще хуже — люди, которых тут так много...

1. «Асия» и «Последний отпуск».

2. *Кислик Наум Зиновьевич* (1925—1998) — белорусский поэт, переводчик, друг А. Адамовича.

3. Дочери А. Адамовича.

[Гродно — Минск.] 7 июня 75 г.

Саша, дорогой дружище!

Посылаю тебе письмо, которое должно показаться тебе небезынтересным, автор мне не известен, но пишет хорошо.

Как живешь ты? — не имею никакой информации. Книгу вашу [1] только держал в руках, достать так и не смог, прозевал, когда была в продаже. Но, возможно, еще добуду. Только что закончил читать «Берег» [2], не знаю, как все это осмыслить, но думается мне, что вещь — значительная. Многие места просто блестящи, общая идея вполне доброспорядочна. Хотя есть разные места и мысли. А вот роман Бакланова [3] мелковат, и, несмотря на прекрасные места и отличную идею, раздражает даже своей обывательской дотошностью, семейными сентиментами. Так мне кажется. Хотя, может быть, я и ошибаюсь — это первое впечатление по прочтении.



Завяз в кино [4] и никак не могу вытащить из него ноги. Просто надоело до чертиков. Тем более что заранее знаешь, что ничего путного в итоге не будет — одна морока.

Сердечный привет твоей семье, а также твоим соавторам.

Обнимаю, Василь.

P.S. Может быть, приехал бы в Гродно? Повозил бы по Неману. А?

1. Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник «Я з вогненнай вёскі» («Я из огненной деревни»).
2. Роман Ю. Бондарева.
3. Роман «Друзья».
4. Речь идёт о телефильме «Долгие вёрсты войны» белорусского режиссёра А. Карпова.

[Минск — Гродно.] На штемпеле конверта: 10.06.75 г.

Василь, приветствую тебя!

Хорошо бы и самому так думать о своей работе, как тот странный энтузиаст!

Но вот о литературе (в т<ом> числе и своей) я думаю похоже. Что-то с ней действительно происходит, с нашей военной литературой. Мы ненавидим войну, но так втянулись в роль ее «летописцев» и разоблачителей, что уже начинаем (а многие давно начали) любить свою память о войне. Украшательство, эстетизация войны через разоблачение (которое стало любимым занятием) — вдруг вот как это поворачивается.

Как избежать этого?

Думаю, единственный путь есть — с него и начинали в свое время. Доставать так далеко, что как бы действительно возвращаешься на передовую. И риск уже реальный, а не далекий, в воспоминании. У тех самых баб нет и намека на то, чтобы они любили свою память о войне. Это и есть урок, к<отор>ый я во всяком случае извлек. Но применить куда труднее, чем извлечь.

Неман — это здорово, но там у тебя не поработаешь. А надо! Академия съедает время. Еду в Коктебель.

Хорошего тебе лета!

Адамович.

[Гродно — Минск.] 16.XII.75.

Саша, дорогой дружище!

Трудно тебя заловить в Минске, все ты в разъездах — видно, дела твои пошли на поправку. Читал твою работу о М. Горьком [1], превосходно ты написал, как всегда. Глубоко, пространно, богато. Дай Бог тебе!

Посылаю свою новую повесть [2] — будет время и настроение — почитай. В ней нет ничего особенного, так, два дня войны, но в белорусском варианте ее дочиста выпотрошили, и мне не хотелось бы, чтобы ты читал по «Маладосці». Лучше прочитай в переводе. Хотя и тут не убереглось кое-что — красные поправки — это литовские [3] изъятия при подписи в свет. Но редакция и редактурa отнеслась благородно, спасибо им.

Недавно был в Москве, говорили о тебе с Лазарем [4] и Богомоловым [5] — последний все меня уверяет, что «Саша — оч<ень> хороший человек». Он тебя любит. Я процитировал ему Наума <Кислика>, кот<орый> сказал когда-то, что «если бы С<аша> пил, ему бы цены не было». Но Б<огомолов> ведь сам почти что не пьет...

Повесть посылаю обратно не надо, можешь дать почитать ребятам.

На этом — будь здоров!

Обнимаю тебя — Василь Б.

Привет твоим дамам — В., Н. и маме тоже.

1. «Врата сокровищницы своей открываю...» — роман-эссе, серия литературоведческих статей о творчестве М. Горького. *Горький Максим Иванович* (1893—1938) — белорусский прозаик, драматург, литературовед, переводчик, фольклорист. Академик АН Беларуси. Репрессирован, расстрелян.



2. «Его батальон».
3. Цензурные сокращения.
4. *Лазарев Лазарь Ильич* (р. 1924) — русский литературовед, критик, друг В. Быкова.
5. *Богомолов Владимир Осипович* (1926—2003) — русский прозаик.

[Минск — Гродно. Конец 1975 г.]

Привет тебе, брат мой!

Прочитал сегодня ночью «Батальон» — хотя и голова болит, и снова полное возвращение к уже знакомому Быкову.

Значит, опять есть то новое, ради чего вещь стоило писать.

Думаю, что это хорошая точка ко всему (!) циклу. Потому что «Волчья <стая>» на это не тянула.

Не мое дело тебя останавливать, учить, «переводить стрелки» на другие темы. Но если хочешь знать, так это ощущение многих твоих сторонников: «нужно Василию здесь остановиться и начать в другом месте!» Тогда и возвращение к такой вот войне прозвучит совсем ново.

Лично я могу еще и еще радоваться твоим новым военным повестям (хотя тоже хотел бы прочитать, чем ты грозился: детство колхозное и т. д.) Однако, что замечаешь и <не> замечать не можешь: хорошо наезженная военная колея не стимулирует автора на шлифовку фразы, слова. Поскольку и без того получается, иными средствами берешь читателя, держишь, тащишь. А вот если бы начал о чем-то более обычном, бытовом (детство, отец, мать) — тут потащил бы себя к деталям, шлифовке фразы.

Скажу откровенно, я начал «Батальон» читать в «Маладосці» и просто удивился ощущению, что слова, фразы самые случайные, просто что под руку попали. В русском тексте лучше, но прочитал (всё — честно, искренно) — и опять ни одной фразы, которая застряла бы в памяти. Фразы, фразы! — мне бы твои заботы! — скажешь ты и разгневаешься.

Но ведь когда-то нужно и это оружие пускать в ход, всё другое ты уже умеешь, в другом ты сильнее многих и многих, а здесь — слабее многих и многих, значительно более молодых. (Пишу об этом, потому что это и моя беда и забота, и вина перед литературой, — про себя больше пишу, нежели про тебя!)

Слушай, Василь, может все это неожиданно слышать от человека, писавшего о вечевом звоне, который не повторяется.

Но все же жаль, если Быков, успокоенный, так и не сможет всего, что он может.

Конечно, историки и наследники всему найдут оправдание. Но сам ты больше знаешь, что можешь.

Лучше посидеть над вещью три-четыре года, пока есть силы, да объявиться заново — совсем новой вещью, новым уровнем. Нет необходимости снова и снова подтверждать себя — прежнего. Прежний виден уже издалека.

И вот «Батальоны» сдвигают все акценты на лучшие повести — на этом можно было бы и завершить (пока) цикл. Чтобы не отступать назад. (Это оставь Айтматовым, у них больше азиатского опыта.)

Как красиво было бы, неожиданно и сильно: вдруг новый Быков, совсем новый по материалу, прежний по пафосу — пусть! Но новый, который умеет остановиться у цвета, у простенького переживания, факта, слова...

Интересно, чтобы я сам сказал, если бы мне такие советы кто-то давал? Во всяком случае обижаться не стал бы. Может, лишь только подумал: много вас и без тебя!

Желаю тебе здоровья и настроения — поскольку же Новый год! А что надо делать — каждый сам себе советчик.

Наде и ребятам привет!

Адамович.

[Гродно — Минск.] 22.XII.75

Саша, дорогой дружисе!

Спасибо тебе за письмо и за прочтение «Батальона». Конечно, ты прав, с этим надо кончать. Я так и намерился — поставить точку и не только в военной теме, но и вообще. Литература сходит на клин, а тема войны уже сошла, в рамках дозволенного уже ничего не осталось. К тому же я понимаю, что по-белорусски пишу плохо, т. е. другие и в другом материале пишут гораздо красивее. Военная же тема, как известно, — дело языка русского, ее переложение на белорусский, как бы там ни было, — подделка, фальшивка, и степень удачи здесь в прямой зависимости от способностей фальсификатора. Но я плохой фальсификатор и плохой стилист. Что верно, то верно.

Что же касается воспоминаний детства, то увы! Не ко времени. Пусть уж весь мой клин остается залежью... С осени начинаю дожидаться весны, лета; зимой трудно жить на этом неуютном свете...

Желаю тебе здоровья и все-таки еще написать что-то. Хотя, на мой взгляд, ты напрасно казнишься-каешься, в литературе ты работаешь хорошо, и никакой твоей вины перед ней нет. Другим бы с твоё!

А со здоровьем надо бы как-то сладить. Ведь ты же не лечишься всерьез. А надо бы. Может быть, обратиться к травмам. У меня есть знакомый гомеопат, лечит все. Оч<ень> хор<оший> доктор. И мне сильно помог с астмой. Подумай и напиши.

И — будь.

Спасибо,

обнимаю — Василь.

Надя Вере шлет сердечный привет. Я тоже.

[Гродно — Минск. 1976]

Саша, дорогой друг!

Поздравляю тебя с премией [1], заслуженной давно и присужденной недавно. Я очень рад, что, наконец, посчастливилось стать в полный рост на собственном, сложенном тобой, пьедестале. Стой там как можно дольше, и посмеивайся тихонько, зная, какую еще книжечку ты держишь за своей спиной.

Пуускай позавидуют!

Обнимаю — твой Василь Быков.

1. В 1976 году за «Хатынскую повесть» А. Адамович получил Государственную премию БССР имени Якуба Коласа.

К письму приложен рисунок В. Быкова.

[Гродно — Минск.] 13.X.76

Саша, дорогой дружисе,

спасибо тебе за толстую, нарядную твою книгу [1], нафаршированную умными мыслями и хорошими словами, многие из которых я с наслаждением перечитал еще раз. Почему-то больше всего трогает меня очерк о М. Горьком и заключительная статья в книге, которые можно перечитывать еще и еще. Конечно, я уверен, что ты напишешь еще не одну такую, будут у тебя и толстые и тонкие, и дай тебе Бог критики и прозы и кино тоже.

Будь здоров. Привет Вере.

Твой Василь.

1. «Издалика и вблизи. Белорусская проза на литературной планете».

[Гродно — Минск.] 28.II.76

Саша,

я думаю, что ты отнесешься серьезно к этим лекарствам и лечению, потому что средство это безотказное и, если ты исполнишь все как следует, то давление у тебя придет в норму. Это категорически! А деньги я потратил небольшие, и если ты в



Минске при случае поставишь мне сто граммов или кружку пива, то мы будем в расчете.

Так что лечись.

Написали мне хлопцы из Москвы про Совет по бел<орусской> л<итературе> [1]. Я подивился только, что ты еще не потерял охоту участвовать в таких мероприятиях...

Ну, что ж...

Поклон твоей матери и Вере.

До встречи с тобой — здоровым!

Твой Василь.

1. Имеется в виду Совет по белорусской литературе при Союзе писателей СССР.

[Минск — Гродно.] 18.12.79 г.

Дорогой Вася!

Я не дождался твоего звонка и решил воспользоваться почтовой бандеролью. Это необычная, очень спорная и резко талантливая, на мой взгляд, книга [1]. Игорь [2] работал над нею десять лет. Он очень просил тебя прочесть ее и написать ему хоть несколько слов.

Теперь о другом. Ты, вероятно, знаешь, как тяжело и безнадежно болен Гриша Березкин [3]. Вот уже полгода он по существу живет с отключенным мозгом. Я никак не могу с этим смириться. Он несколько раз снился мне, веселый, разговорчивый. Я все повторяю ему: «Гриша, вы выздоровели, выздоровели!..» И — просыпаюсь. Дальневосточники достали редчайшее японское лекарство — гомолон. Но и оно, увы, не помогло. Говорят, что еще может помочь время. Хочу надеяться на это.

Но помощь нужна не только Грише. Осталась Юля [4], остались ребята. Все согласны, что Юлю нужно устроить на работу, об этом даже говорили на секретариате. Но, как говорится, воз и ныне там. Киреенко [5], к примеру, просто категорически отказался взять ее (хотя профессиональные качества Юли вне сомнения), другие отнекиваются и отмахиваются. Один Толя Кудравец [6], к чести его, оставил ей какую-то надежду. Сейчас он вернулся из Америки, приступил к работе и, наверно, нужно как-то укрепить его в этой мысли. Для Юли — это просто последняя и единственная возможность. Я думаю, Вася, что и твое слово могло бы сыграть тут немалую роль.

Именно об этом хотел я поговорить с тобой при встрече. Но коль скоро она не состоялась, пришлось выложить на бумагу.

С Новым годом, с новым десятилетием тебя, Вася, и всех твоих близких!

От души!

Твой Саша.

1. Речь идет о книге И. Дедкова «Василь Быков».
2. *Дедков Игорь Александрович* (1934—1994) — русский литературный критик.
3. *Березкин Григорий Соломонович* (1918—1981) — белорусский литературный критик.
4. *Канэ Юлия Михайловна*, жена Г. Березкина (р. 1931) — белорусский литературный критик, переводчик.
5. *Киреенко Константин Тихонович* (1918—1988) — белорусский поэт, прозаик, в то время — главный редактор журнала «Польмя».
6. *Кудравец Анатолий Павлович* (р. 1936) — белорусский прозаик, переводчик, в то время — главный редактор журнала «Неман».

[Планерское (Коктебель) — Минск] 8.8.1983 г.

Дорогие Василь, Ирина [1]!

Сижу после моря и пишу красными чернилами, а на бедрах моих красно пылают лампасы подаренных Быковыми шортов, вызывающих зависть других членов СП — особенно Кислика и Тараса [2]. (Они здесь, и мы только что вернулись из похода в далекую Тихую бухту, а возглавляет нас — в этом и в застольях, как вчера ночью, — сам Черниченко Юрий Дмитриевич [3], человек-комбайн, всё могущий и делающий.)



А утром (в 4.30) я поднимаюсь и даже что-то стараюсь делать — чтобы потом ничего не делать с чистой совестью.

Ну, а вы как — патриоты Минска и Волги (в кавычках которая)? Очень жаль, что нет здесь вас обоих — очень, очень! Чего-то без вас тут не хватает.

Вот и Веры голос с веранды: «Напиши, что я очень жалею, что нет тут Быковой» — вон какая синхронность мыслей!

Я даже забеспокоился: а что если она всегда мои мысли читает — они ведь бывают разные: неумытые, непричесанные!

Что там в Минске за четыре дня, кажется, что вон куда все уплыло и там только-только новостей!

Ждем ответа, как соловей лета!

Адамович.

1. *Быкова Ирина Михайловна* (р. 1927) — вторая жена В. Быкова.
2. *Тарас Валентин Ефимович* (1930—2009) — белорусский поэт, прозаик, переводчик, друг А. Адамовича и В. Быкова.
3. *Черниченко Юрий Дмитриевич* (р. 1929) — русский писатель и публицист, друг А. Адамовича.

[Минск — Планерское (Коктебель).] 15 авг. 83 г.

Добрый день, дорогие южане
Вера и Саша!

Получили Сашино послание, спасибо за память и хорошие слова в нем. Надемся, вы уже достигли кондиции черноты негров с берегов Конго — больше и не надо. А мы тут зябнем — ветер, дождь, днем 15. Правда, до сих пор тоже роскошествовали, при тепле (до 28) путешествовали на Полесье, паломничали в белорусскую Мекку — стольный Туров и другие места. Ирина охотилась за ягодами — грибов еще нет.

Относительно новостей в Минске — скудно, разве что: а) Бартошевич [1] идет на место Бровикова [2]; б) Нил <Гилевич> вернулся из отпуска и засучивает рукава; в) у Велюгина [3] сгорела дача (по пьянке); г) Госкино зарезал мой сценарий по «Последнему шансу»; д) Издательство по требованию С. Павл<ова> [4] требует от автора привести «Знак беды» в соответствие с русской «Д<ружбы> н<ародов>» публикацией. А так все хорошо, все прекрасно.

Посылаем вам несколько фото. Пусть они напомнят вам, что есть где-то березовые куши, полные ягод, на подходе грибы. Осень тоже.

Сердечный привет Юрию Ч<ерниченко>, Науму <Кислику> и Валентину <Тарасу>. Если надо что выпить — телеграфьте! Пришлем.

А пока обнимаем вас обоих. И ждем!

Ваши Василь и Ирина.

1. *Бартошевич Геннадий Георгиевич* (1934—1993) — председатель Минского горисполкома, с 1983 г. — второй секретарь ЦК КПБ.
2. *Бровиков Владимир Игнатович* (1931—1992) — второй секретарь ЦК КПБ, с 1983 г. — председатель Совета Министров БССР.
3. *Велюгин Анатолий Степанович* (1923—1994) — белорусский поэт, кинодраматург.
4. *Павлов Савелий Ефимович* (р. 1934) — в то время — заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПБ.

[Минск — Планерское (Коктебель).] 8 авг<уста> 85 г.

Дорогие Вера и Саша,

Ну и как вам на берегу? Солнце светит, море колышется — ну, и хорошо. И у нас не хуже — стоит теплая и сухая погода. (Правда, еще только второй день.)

Альбом [1] передал, замену делают. Но текст (по твоему, Саша, предложению) передали в ЦК, где он и застрял у Павлова. Так что можешь себе вообразить все другое.

А к нам опять посыпались итальянцы. Внепланово, неожиданно. Устраивал в гостиницу, в пятницу Ирина дает прием — на даче, конечно.



Посылаем вам страничку из «Знамени юности» [2] со статьей В. Бойко [3] «Смотрите — Климова [4], читайте — Адамовича»... <Статья: Бойко В. Читайте Адамовича // Знамя юности, 1985, 7 авг.>

Такова наша жизнь.
Обнимаем, счастья вам.
Ваши Быковы

1. Речь идет о фотоальбоме «Василь Быков», текст к нему написал А. Адамович.
2. Белорусская молодёжная газета.
3. *Бойко Владимир Андреевич* (1933—1996) — белорусский искусствовед, друг А. Адамовича.
4. *Климов Элем Германович* (1933—2003) — русский кинорежиссер, постановщик кинофильма «Иди и смотри».

[Минск — Нида.] 23.9.85 г.

Дорогие Василь, Ира!

Вы молодцы, что живете, как люди, не то что минчане — суетой, в суете. По утрам пытаетесь работать, а потом позвонят и долго приходишь в себя: кто сумасшедший — ты, он, они или все мы вместе?

Оказывается, я и почему-то Вера Полторан хотим ссадить Н. С. (нет, а на самом деле Ныл!) и посадить, кого бы ты думал? — Адамовича! И почему Вера Семеновна? Потом открылось, озарило: Н. С. сейчас в большой дружбе с Саченко (Буравкин сообщил), а тому надо на место Веры Семеновны водрузить своего племянша в отделе критики, вот он и вшептался в душу нашего Н. С., а он ходит и ные — скардзіцца.

Отряхнешься и вроде бы живем дальше, но все равно начинаешь думать, как некто Быков: нет, это запрограммировано. Ничего нас не спасет! Кранты, баста!

Приезжайте — хоть душу отвести от их всех. А, может, и правда поедем вместе, если бы не с тобой, я отказался бы от стадионовской миссии. Ну да еще неизвестно, что и кто взоразит.

Привет от Веры, Наташи!
Живите и радуйтесь дальше.

[Минск — Железноводск.] 3 мая 1986 г.

Саша, дорогой дружище!

Только что у нас была Вера, угостила куличом и яйцами (к Пасхе), Ирина проводила ее, а я сел за это письмо. Мы тут, шутя, сочиняли тебе телеграмму в том смысле, чтобы ты берег себя, т<ак> к<ак> вполне возможно, что представляешь теперь единственный экз<емпляр> генофонда нации, который понадобится вскоре на родине. В общем, сейчас обстановка, кажется, нормализовалась (или около того), но дело в том, что в первые дни, которые выпали на выходные, никто радиоактивность не измерял, а именно тогда через всю Белоруссию на север прошел радиоактивный шлейф, в котором была наибольшая концентрация. Еще и в понедельник приборы оказались зашкаленными от 20—30-кратного превышения нормы. Два южных района Гомельщины эвакуируются.

Вот такие наши дела. Многие весьма огорчены, другие же не обращают внимания — пьют и гуляют, как и всегда на праздник. Относительно Вертинского [1] я разговаривал с АТК [2], он, в общем, благосклонно отнесся к Толе, Нил [3] тоже поддерживает его кандидатуру. Но на эту же должность [4] рвется и Борис [5], которого усиленно проталкивает Иван Петрович [6]. Однако на днях, по-видимому, всё решится [7].

Погода у нас переменилась, стало холодно, хотя сухо (а надобен дождь, чтобы смыть всю эту пыльно-радиоактивную гадость). Очень не весело вообще...

На днях умер Степан Александрович [8] — от туберкулеза, принесенного с войны.

Нил переживает свои голоса. Все спрашивает: за что? [9]
Звонил Лазарь <Лазарев Л. И.>, спрашивал о съезде.



Саша, ты за нас не тревожься: мы во власти божией — иначе не скажешь. Пьем йод (4 капли на полстакана молока) и каберне, говорят, выводит. Но, говорят, водка выводит лучше, если бы она была. Водки нет! Даже на праздник. . .

Очень желаем тебе хорошей погоды и безоблачного настроения.

И — приезжай бодрым и здоровым.

Обнимаем.

Твой Василь и Ирина.

1. *Вертинский А. И.* См. письмо из Гродно в Планерское.
2. *Кузьмин Александр Трифонович* (1918—2003) — партийный и государственный деятель, участник Великой Отечественной войны, летчик, секретарь ЦК КПБ (1971—1986).
3. *Гилевич Нил*, в то время — первый секретарь Союза писателей БССР.
4. Главный редактор Белорусской энциклопедии.
5. *Саченко Борис Петрович* (1936—1995) — белорусский прозаик.
6. *Шамякин И. П.* См. письмо от 29.09.68.
7. Главным редактором Белорусской энциклопедии стал Саченко Б. П.
8. *Александрович Степан Хусейнович* (1921—1986) — белорусский литературовед, писатель.
9. Имеются в виду результаты голосования на съезде Союза писателей БССР.

[Железноводск — Минск.] 7.5.86

Дорогие пострадавшие — Василек, Ирина и весь народ, теперь уже дважды хатынский! Или так: хатынский и плюс хиросимский. Одно кличет другое, так уж на небесах записано, что ли.

Шлю молитвы за вас всех, над кем прополз шлейф нашей высокочтимой науки, с отвращением вспоминается телефизиономия главного по этим делам академика (полгода назад вещал из телеящика) — конечно же, всякие там опасения за «мирный атом» — это у них там, а мы оптимисты и начхать. Рядом с бюрократом казенный оптимист — главный наш могильщик. Благодаря «патриотическому оптимизму» мы войну встретили в подштанниках. А теперь вот — Чернобыль. Интересно, будем достраивать свой — в 30 км от Минска? Или все-таки спохватимся? Хотя бы такой ценой.

А я, как нарочно, уехал от всех вас. И от Наташи с Верой. Что-то вроде дезертира. Не «генофонд», а дезертир!

Нет, мир спятли! Те вон руки от злорадства потирают, а мы рассказываем, как здорово показали себя пожарники и милиционеры. Можно представить (легко это сделать) как 60 раз уничтоженная жизнь будет тенью, пеплом удаляться от планеты Земля, а звучать будут все те же тени-голоса: «Здорово мы их, растяп!» «Нет, как здорово пожарники!»...

Я должен ехать к ученым, в Москву. Интересно бы спросить высоколобых: отвечает или не отвечает ученый-физик, химик и т. п., если его опасную штучку доводит, реализует безответственно-пьяный (или с похмелья) «дядя Вася»? (Мелиораторов уже об этом спросили — машут руками, а мы при чем, если наше добро обращают во зло на последнем прогоне!) Думаю, что они в ответе. Думай про всю цепочку, а если не надежная, тогда подумай еще раз!

А ты говоришь, водки нема! Да я бы отдал нас всех на годик-два в руки Карпюка [1] и Дудочкина [2], <оба писателя были против алкоголя>, они бы осушили — да здравствует вот такая мелиорация!

Значит, не хотите сюда? Отпусти тогда Ирину с Верой и Наташей, раз сам к Тэтчер рвешься [3]. Пусть погуляют, пока можно, пока здесь чисто. Покажу Кавказ, хотя бы с севера.

Обнимаю и желаю, чтобы все это — на сухой лес!

Ваш Адамович.

1. См. письмо от 28.03.1965.
2. *Дудочкин Петр Петрович* (1915—2000) — русский прозаик.
3. В Великобританию.



[Москва — Минск.] 20.11.86 г.

Вась-дружище! Ирина! Подруга друга!
Приветствует вас заключенный палаты № 609! А заключили его за грехи заслуженно:

1. Не ездил столько — на зависть вице-писателям!
 2. А ездил, так не работай на бегу (4 часа сидел ночью и писал доклад, а сбобку — ветерок-сквознячок).
 3. И вообще, не забывайся!
- А с другой стороны, как говорил тот цыган: а если не это все, так на шиша остальное?!

Ну, да ничего! Во всем надо находить и светлую грань. Вот побывала редактор из «Нового мира», а я уже вырос и увидел, что многое нужно добавить-убрать [1]. Вот и буду заниматься.

Каюта, слава Богу, у меня отдельная.

С высоты своих воспалений посылаю вам наказы:

1. Не хватать никаких новых хворостей (хватит нам и старых).
 2. Трудиться за столом, не выезжать на места рождения друзей-писателей (ехать, так уж за экватор!).
 3. Укреплять связь с землей (на даче).
 4. Третий тост поднимать за болящих не дома.
- Обнимаю! Ваш Адамович.

1. Имеется в виду повесть «Последняя пастораль».

[Минск — Москва.] 1.XII.86 г.

Дорогой наш боляще-разнесчастный Пневмоник!

А может, счастливый? П<отому> ч<то> больница — не самое худшее место в нашем мире, есть похуже. Но, тем не менее, ты не заслужил ее, тем более на столь продолжительный срок, хотя (по слухам) о тебе там печется вся столичная медицина и столичная общественность. Все-таки на воле много дел, ждущих тебя и твоего участия, да и минская общественность не может дотянуться до твоей обособленной палаты. Уже многие лица и организации (телевидение, политехнический) интересуются твоим возвращением, ждут тебя. Не говоря уже о твоих друзьях...

Вчера выступал по телевидению В. Карамазов [1], хвалил тебя за книги публицистики, хвалил в одном выступлении Нил. Ждет твоего приезда Матуковский [2], хочет что-то писать. А я маюсь с фильмом Пташука [3], который хотят кастрировать, а режиссер не дает. На днях просидели три часа у И. И. [4], едва он нас самих не кастрировал, но Миша [5] устоял. Не знаю, надолго ли хватит его упорства.

27 ноября большой группой ездили за Раков, открыли дом творчества на Ислочи. Кажется, получился неплохой дом, многие засядут, может, и напишут что-либо.

Присуждали республиканские премии: Кудравцу [6], Янищиц [7], Кулаковскому [8]. За спектакли двум театрам (за «Знак беды» и «Вечер»), была небольшая стычка с Нефедом [9] и Зайцевым [10], но в общем все обошлось демократично. Миша Тычина [11] в последнем «Ліме» упрекнул Брыля [12], и это все очень заметили. Ну и главная новость — Киреенко [13] подал заявление об уходе, и теперь идет борьба за портфель «Полымя». Основные претенденты И. Чигринов [14] и С. Законников [15]. Кажется, однако, пройдет первый. АТК [16] вернулся с Черного моря и ведет оседлую жизнь добропорядочного пенсионера.

Однажды звонил ему, и он передает тебе привет и пожелание поправиться. Приедешь — созвонимся, хочет повидаться. Я тут состряпал небольшую повестушку [17], еще никому не давал, жду тебя. Анатолий Константинович [18] уже генерал запаса, строит дачу.

Вот такие наши дела.

Ну, а московские ты знаешь лучше.

В личном плане — тоже не ахти, хожу на уколы. Что поделаешь — маролик. Т. е. маразматик, рамолик, пенсионер... Читаю всякую всячину — от «Правды» и



«ЛитРоссии» до Паскаля. Иногда выезжаем на дачу — проехаться, пока сухая дорога.

Так — поправляйся. Но имей в виду, что после пневмонии нужно глубокое дыхание, невозможное в четырех стенах и требующее движения и пространства.

А может, Вера все-таки привезет тебя? Это было бы здорово! (Точнее — вот будет славно-то!..)

А пока мы с Ириной шлем тебе наши поклоны и два алых цветочка (и незабудочку).

Ждем тебя здоровым и бодрым, дружище!

Твой Василь.

1. *Карамазов Виктор Филимонович* (р. 1934) — белорусский прозаик, публицист, очеркист.
2. *Матуковский Николай Егорович* (1929—2001) — белорусский драматург, журналист.
3. «Знак беды».
4. *Антонович Иван Иванович* (р. 1937) — заведующий отдела культуры ЦК КПБ.
5. *Пташук Михаил Николаевич* (1943—2002) — белорусский кинорежиссер.
6. См. письмо от 18.12.1979.
7. *Янищиц Евгения Иосифовна* (1948—1988) — белорусская поэтесса.
8. *Кулаковский Алексей Николаевич* (1913—1986) — белорусский писатель.
9. *Нефед Владимир Иванович* (1916—1999) — белорусский драматург, театровед.
10. *Зайцев Вячеслав Кондратович* (1917 — 1992) — белорусский литературовед-славист, переводчик.
11. *Тычина Михась (Михаил Александрович)* (р. 1943) — белорусский критик, литературовед, прозаик, доктор филологических наук.
12. См. письмо от 29.09.1968.
13. См. письмо от 18.12.1979.
14. *Чигринов Иван Гаврилович* (1934—1996) — белорусский прозаик, драматург.
15. *Законников Сергей Иванович* (р. 1946) — белорусский поэт, переводчик, публицист. Был главным редактором журнала «Польмя» (1986—2002).
16. А. Кузьмин ушел из ЦК КПБ в августе 1986 года.
17. «В тумане».
18. *Сулянов Анатолий Константинович* (р. 1927) — белорусский прозаик, генерал авиации.

[Минск — Москва.] 14 июня 88

Дорогой путешественник,

с возвращением тебя на родину. Надеюсь, наездился, не скоро захочешь опять.

Разве что в Минск, где тебя ждут не меньше, чем в Штатах.

Посылаю «ЛіМ». Мое выступление немного сокращено и немного поправлено

[1]. Притуплено. Пока что иначе у нас нельзя.

Так — до свидания и встречи.

Обнимаю — Василь

1. <Вступительное слово> // Пазыняк З., Шмыгалёв Ев. «Курапаты — дорога смерти» // ЛіМ. 1988.03.06.

Курапаты — лес под Минском, место расстрела жертв сталинских репрессий в довоенное время.

[Минск — Москва.] 21.07.89

Дорогой Саша!

У нас новость эпохальная: С. Павлов [1] оставил свое кресло и перешел ректором Минской ВППШ [2]. На его месте пока пусто. Есть и кое-какие другие смены — редакторов газет. На место Дельца [3] пошел Макалович [4].

Посылаю тебе новые вырезки. Хорошие, так себе и плюгавые. Как например Скобелева [5], который в последнее время стал главным крикуном против Н<ародно-го> Ф<ронга>. Но есть и хорошие люди. Читай, проникайся атмосферой родины.



И — будь здоров!

Вот, забыл. «Наш современник», кажется, уже обезумел совсем. № 6 — ужас! Взялись уничтожать Гранина [6]. И тебя там вспоминают. Вот подлецы!..

Удачи тебе, хорошего настроения.

Обнимаем

Василь и Ирина

1. См. письмо от 15.08.1983
2. Высшей партийной школы.
3. *Делец Михаил Иванович* — председатель Государственного Комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книготорговли.
4. *Макалович Иван Петрович* (р. 1940) — белорусский журналист, писатель, в 1989—1990 гг. — глава Госкомитета БССР по печати.
5. *Скобелев Эдуард Мартинович* (р. 1935) — белорусский прозаик, драматург.
6. *Гранин Даниил Александрович* (р. 1919) — русский прозаик, соавтор А. Адамовича по «Блокадной книге».

[Москва — Минск.] 28.12.90 г.

Дорогой Василь!

Поскольку ты уехал, но и те, что не уехали, этого не услышали — дарю тебе в честь Нового года!

Он обещает быть генеральским.

Если это подошло бы «ЛіМу» или еще кому — пожалуйста! [1]

С новым все равно годом, мы свое и жили-прожили, и делали-старались, не струхнуть бы под конец!

Обнимаю!

Адамович

1. Выступление А. Адамовича на IV съезде народных депутатов СССР // Известия, 30.12.1990; Голод как цель и средство: Что я хотел сказать IV съезду народных депутатов СССР // Народная газета, 10.01.1991.

[Москва — Минск.] 28.12. [1991]

Дорогой Василь!

Одно из моих страшных воспоминаний: блестят роскошно едой-питьем заставленные столы, гости в предвкушении толпятся, гудят, а он (сидим в сторонке, у окна) вдруг наклонился ко мне, сидящему рядом, сказал: «Мне плохо...», и совсем уже другое, не от мира сего лицо легло мне на колени. Я позвал людей, что случилось, что, помогите!.. Никто и ухом не повел. Тогда я выматерился на весь наполовину женский зал — услышали. Теперь он (т<о> е<сть> ты) как огурчик (и сколько еще сделал!) и да будет так еще много-много лет! В новом и во всех новых годах!

А я к тому это говорю, что через какие-то промежутки времени жизнь с нами поступает, как Хозяин стада: а выбракую я вот этого! Вот этого депутата А<дамовича>, который все равно делом своим основным занимается через пень-колоду. И многое тут играет случай. Вдруг отвлекли Хозяина на другое, и ты из поля его зрения исчез. И живем до следующей селекции. Зато лучше начинаем понимать: времени не теряй! Обещаю извлечь уроки!

А кстати, это [1] случилось у меня 21 декабря [2]. Помню, в шеховцовские [3] времена мне именно в этот день грозились расправой. Тоже повод для размышлений — в больнице, накануне Нового года.

Обнимаю Вас с Ириной. Надеюсь, еще поживем!

1. Инфаркт.
2. День рождения Сталина.
3. *Шеховцов Иван Тимофеевич* (р. 1926) — бывший харьковский прокурор, который в 1988 году подал иск на А. Адамовича и газету «Советская культура» в защиту Сталина. Судебный процесс он проиграл.

Дорогой Василь,
пани Ирина!

Чтобы хорошо работалось (много и быстро писалось), я убедился — нужно, чтобы «бренная плоть» отступала перед духом, а самый простой путь к этому — взять да и заболеть. Вот уже второй год я экспериментирую, и ничего, результат есть: то, что прежде за пять лет, теперь за пять месяцев.

Так что, если опять услышите, что Адамович заболел, понимайте так: Адамович, наконец, работает! А не бегает по тусовкам-митингам.

Думаю, что душа твоя была на конференции: КГБ — всегда с нами! Нет, все же нам посчастливилось больше всех предшественников наших — открыто бить по этой жопе (Ирине здесь не читать). Однако меня удивило, и я сказал об этом добрым людям, которые хотели бы, чтобы эта организация «реорганизовалась», «реформировалась». Уже все согласились: КПСС может быть только КПСС, «социализм» — таким, каким был и никаким иным. То же и КГБ. Какие реформы, какая перестройка? Невозможно это по определению. Все, заканчивается бумага.

Поздравляю пани Быкову с 8 марта!
Адамович

[Минск — Москва.] 20 апреля [1993]

Саша, дорогой наш человек!

Давно уже не виделись, давно не говорили. По телефону особенно не разбежишься, а почта теперь тоже не средство связи. Остается оказия; хорошо, что она остается еще и в образе твоей Наташи.

Как тебе, возможно, известно, мы живем все хуже и хуже. Во всех смыслах. Я уже не говорю о деньгах-ценах — исчезает надежда. От былого подъема мало осталось, вся жизнь круто поворачивает назад, в коммунистическое прошлое. И тут уже не хочу говорить о коммунистах (они как всегда — во всей своей коммунистической красе, они неизменны). Однако посмотри на славный Центр. У нас эти центристы как раз входят в политическую моду и что-то собираются определять, особенно завтра. Но посмотри, что на деле представляют все эти «партии согласия», сторонники стабильности, противники страшной гражданской войны на Беларуси. В лучшем случае это капитулянты перед коммунистами, а в худшем — те же коммунисты. Пазыняк [1] все обвиняют в излишнем радикализме, но я думаю, что в нашем сонном обществе не может быть излишнего радикализма; здесь вопрос стоит так: или радикализм, или капитуляция. А самый главный враг все тот же: хитрый, нахальный, властный коммунист. У нас он снова правит бал в ВС, СМ, КГБ, в местных советах. И на заводах, в ВПК, который уже оправился от недавнего испуга, в Академии наук. Недавно слушал по радио сессию ВС, где принималось решение о вхождении в коллективную безопасность. Стеной стали коммунисты и победили. Хотя что побеждать? Конечно, хлопцы из оппозиции бились, как львы, надрывали горла, выступали и от микрофонов, и с трибуны. Но — голосование! Оно все и решило. А спикер [2]? Диво дивное, а не спикер. Он против, но подпишет. Ибо заставят. Давно уже он заложник ком<мунистического> большинства... И всё потому, что хочет стать президентом. Но теперь уже видно, что напрасно...

Однако все будет зависеть от референдума 25 апреля.

Ну а в остальном... Заканчиваю переводить повесть, тяжелый труд. И неблагодарный. Потому что хорошо перевести с белорусского невозможно. А плохо — стыдно... На дачу еще не ездил — холодно, мокро и нет бензина. С начала года еще ни разу не заправился. Хотя пытался, стоял целыми днями в очереди. И — напрасно.

По телевизору смотрим И. Антоновича [3]. Уже выступает, будто и не было ни перестройки, ни путча. Жизнь все ухудшается, а политика не меняется. Коммунистическая в своей сущности. Есть мысль, что Беларусь будет в Европе тем, что КНДР [4] в Азии.

А в литературе заправляет Н. С. [5] Дает звания. Награждает. Финансирует. Публикует свои стихи и свои фотографии. Руководит, одним словом. Прежде руководить ему мешал все же ЦК. Теперь никто не мешает.

АТК [6] как-то звонил, спрашивал о тебе. Недавно его укусил Борис Саченко [7]. Как обычно. Этот кусает тех, кого недавно лизал. Зато занял место покойного Ткачева [8]. Так что линия Бровка — Саченко последовательно выстраивается.

Вот таковы (коротко) наши дела-заботы.

А ты поправляйся, крепни. Набирайся сил к лету. И не только для творчества. Но и для дружбы.

На этом — мы тебя обнимаем.

Василь и Ирина.

1. *Пазыняк Зенон Станиславович* (р. 1944) — белорусский общественный деятель, поэт, публицист, археолог. Депутат ВС Беларуси (1990 — 1995). В 1996 году вынужден был эмигрировать. Живет в Варшаве.
2. *Шушкевич Станислав Станиславович* (р. 1934) — белорусский физик, доктор физико-математических наук, в 1991 — 1994 гг. — Председатель Верховного Совета РБ.
3. *Антонович Иван Иванович*. См. письмо от 01. 12. 86. В 1990—1991 гг. — секретарь ЦК Компартии РСФСР; в 1993 — 1995 гг. — директор Белорусского института научно-технической информации и прогноза.
4. Корейская Народно-Демократическая Республика.
5. Гилевич Н. С., возглавлявший соответствующую комиссию Верховного Совета Беларуси.
7. Кузьмин А. Т. (см. письмо от 03.05.86).
8. См. письмо от 03.05.1987.
9. *Ткачев Михаил Александрович* (1942—1992) — белорусский историк, археолог, возглавлял издательство «Белорусская энциклопедия» имени П. Бровки.

[Москва — Минск.] 22.4.93

Дорогой Василь! Уважаемая пани Ирина! Спасибо за вести, хотя и невеселые. Что тут скажешь? А чего мы хотели?

Сбросить и отряхнуться от этой мерзости — это же десятилетий мало. 40 лет Моисей будет водить по осушенным белорусским болотам...

Ну, а я спасаюсь от своих хворей тем, что не вылезая из-за стола. Без этого не знаю, как и держался бы на московских ветрах. Да и на минских тоже...

Пишу — итоговые разделы, на законченный роман-повесть не решаюсь [1]. Не знаю, что там, на небе, решено относительно меня.

Желаю тебе и пани Ирине советского оптимизма, все же не мы, а они потерпели исторический крах. Можно теперь и концы отдавать. Но давай еще продержимся.

Адамович

1. Раговор идет о последней повести А. Адамовича «Vixi» (Прожито).

*Публикация и комментарии Натальи Адамович
Перевод с белорусского Олега Ждана*



Александр МЕЛЬНИК

ОТКРЫТИЕ БАЙКАЛА

*Глава из автобиографической хроники
«Зимовье губы Ширильды»*

В начале октября 1982 года я распрощался с родителями и уехал на поезде из Молдавии в Москву, откуда из Внуково за шесть часов добрался до предписанного мне места работы. Руководство третьего геодезического предприятия ГУГК (Главного управления геодезии и картографии), куда я был распределён, находилось в Чите, поэтому мне пришлось лететь сначала туда на встречу с начальником предприятия Петром Ионовичем Пахольчуком. Из Читы я на поезде переехал в Улан-Удэ и не без труда нашёл двухэтажное здание конторы Объединённой комплексной экспедиции № 44, в которую 5-го октября меня и приняли на должность инженера на полевые работы. Начальником экспедиции был Анатолий Яковлевич Гиенко, опытный геодезист и вездливый администратор. Своё место работы я и мои друзья называли коротко — экспедиция. Под этим словом в наших кругах понималась именно контора, а не путешествие с научно-производственными или исследовательскими целями. Последнее описывалось другим, ещё более коротким словом — поле. Экспедиция располагалась в переулке с романтическим названием «Тупик суконной фабрики». Здесь мне предстояло отработать по распределению три года. Мысль о том, где я буду жить и работать после этого срока, меня не беспокоила. Наивное дитя эпохи, я был уверен в будущем и планировал со временем переехать в западную часть страны. А пока что меня и другого молодого специалиста, бурята Борю Базарова, поселили в общежитии на улице Павлова, в городском районе с громким именем «Саяны». Общежитием служила двухкомнатная квартира на первом этаже обычной пятиэтажки. В ней, кроме нас с Борей, жили — кто постоянно, кто временно — ещё человек пять-шесть, все геодезисты и техники. Лица многих из них не были обезображены интеллектом, по вечерам проходили нескончаемые пьянки, мужики приводили каких-то неопрятных девиц — мне было противно во всём этом участвовать. Ещё в конце пятого курса я совершенно перестал пить и курить. У меня не было никаких противопоказаний, и я не давал никаких зарок, мне просто было интересно посмотреть на жизнь с другой, трезвой стороны.

К счастью, через несколько дней меня вместе с техником-топографом, татаринном Фаизом Набиуллиным, и одним рабочим-бурятом командировали в Читинскую область для проведения топографической съёмки в окрестностях города золотодобытчиков Балей, в 350 километрах к югу от Читы. Там я провёл больше месяца. 10 ноября по советскому радио сообщили, что умер Брежнев. Никаких особенных



эмоций по этому поводу я не ощутил, только шевельнулась беспокойная мысль о грядущих в стране перемен. Но по большому счёту мне было всё равно. По вечерам, после дневной беготни по забайкальским степям, парни крепко выпивали. Подвыпивший рабочий несколько раз бросался с ножом на Фаиза — эти эксцессы нам сообщила удавалось нейтрализовывать. Меня этот рабочий почему-то уважал.

В Улан-Удэ вернулись уже по холодам. В это время года геодезисты и топографы занимаются камеральными работами — подводят итоги прошедшего полевого сезона и готовятся к сезону следующему. Временно мне поручили составлять топографические планы масштаба 1:10 000, при этом от нескончаемых горизонталей меня постоянно клонило в сон. Столицу Бурятии, расположенную примерно в ста километрах к востоку от Байкала, я изучил довольно быстро. Театр оперы и балета, этнографический музей, Иволгинский монастырь-дацан — главный центр буддизма в России... Особенно меня впечатлило стоящее на центральной площади Советов самое большое в мире скульптурное изображение головы Ленина. Вокруг звучали непривычные имена — Сэсэг, Оюна, Дарима, Баир, Жаргал... Из бурятских слов запомнились лишь *сайн байна* (здравствуйте) и *баяртай* (до свидания).

Вскоре я познакомился с 18-летней русской девушкой Любой, мы часто встречались у неё дома и до умопомрачения целовались. Однажды вечером я прошептал ей на ухо блоковскую строчку:

Летит, летит степная кобылица и мнёт ковыль.

Люба насторожилась и стала допытываться, почему я вспомнил именно эти слова. Оказалось, что её фамилия — Белокобыльская. Позже она уехала поступать в Томск, и я её больше никогда не видел.

Новый год мы праздновали всей экспедицией в кафе «Саяны». Празднование происходило по традиционному сценарию — обильная еда, ещё более обильная выпивка и танцы до упаду под оглушительную музыку. Участвовали в этой пьянке-гулянке не только молодые специалисты, но и многие старожилы экспедиции. Других сценариев тогда не существовало. Мне, новоявленному трезвеннику, смотреть на это со стороны было непривычно.

В Бурятии мне очень полюбились *позы*, местное блюдо, означающее в переводе «мясо, завернутое в тесто». Позы делались из рублёного мясного фарша из свинины, баранины и говядины, а варились на пару в специальных позницах. Ели их обычно руками, без вилки, причём образовавшийся внутри бульон, надкусив позу у донышка, выпивали отдельно через образовавшееся отверстие. Позы продавались во всех столовых, но домашние позы были намного вкуснее.

На работе я познакомился с молодыми техниками-топографами, русским Володей Котрягой и казахом Артуром Ахметовым. Они жили в другом экспедиционном общежитии, в деревянном одноэтажном здании на Шишковке, довольно удалённом от экспедиции районе города. В их комнате освободилось место, и парни позвали меня к себе. Бесконечные пьянки в общежитии на Павлова, не дававшие уснуть, мне до смерти надоели, и я переехал на Шишковку. Там было тихо и спокойно, каждый день на работу и с работы нас возила экспедиционная машина. Неудобство заключалось в том, что туалеты находились во дворе. Зимой в сорокаградусный мороз выйти «до ветру» было целым испытанием. В соседней комнате жили топографы Коля Шибалов и Саша Здор. Рядом с общежитием находился экспедиционный цех камеральных работ.

Там же, на Шишковке, в актовом зале экспедиции я организовал дискотеку и стал её диск-жокеем. На это время пришёлся всплеск итальянской феличиты, когда из каждого окна звучал какой-нибудь сладенький Тото Кутуньо, Пупо, Рикки и Повери, Аль Бано и Ромина Пауэр... Моя доморощенная дискотека просуществовала недолго, после нескольких пьяных дебошей и безобразных драк мне пришлось прикрыть своё культурное начинание.

По субботам мы ходили с Володей и Артуром в 18-й бар, находившийся недалеко от экспедиции и получивший своё название по порядковому номеру соответствующего городского квартала. Этот коктейль-бар был не столько питейным заведением, сколько неофициальной молодёжной службой знакомств. Мы заказывали по коктейлю с соломинкой (я брал апельсиновый сок), болтали и танцевали с девушками, а затем приглашали некоторых из них к себе «для продолжения банкета».

Я без особых проблем приспособился к непривычно суровому для меня, южанина, сибирскому климату. Ещё перед отъездом из Молдавии дедушка подарил мне свой чёрный тулуп, подбитый тёплой овчиной. В зимние сорокаградусные морозы он здорово меня выручал. На моей голове красовалась купленная на городской барахолке шапка из собачьего меха. Этой барахолке можно было бы посвятить целое исследование — она полностью заменяла собой обанкротившуюся государственную систему снабжения и распределения.

Работал я во второй партии, занимавшейся топографической съёмкой северо-восточного шельфа озера Байкал. Байкальским шельфом условно считалось прибрежное дно с глубинами до двухсот метров. Начальником партии была молодая и энергичная девушка-геодезистка Татьяна Постолова, бывшая года на три старше меня. В полевом сезоне партии предстояло сначала, до вскрытия озера, провести комплекс геодезических (полигонометрических) работ, а летом с катеров выполнить эхолотные промеры глубин на участке от губы Фролиха до мыса Погони. Эти работы начались в 1982 году в районе Северобайкальска. Всё зимнее время мы занимались подготовкой к полевому сезону. Я вошёл в бригаду молодого инженера-геодезиста Сергея Фионова, выпускника Казанского университета, жившего с женой Резедой в однокомнатной квартире по соседству с моим бывшим общежитием на улице Павлова. Серёга отработал на Байкале весь прошлогодний сезон. Он был убеждённым трезвенником и не курил. Резеда, татарка по национальности, окончила тот же Казанский университет. Другая бригада под руководством техника Миши Шукшина готовилась к закладке геодезических центров и реперов. Все мы прошли краткий, чисто формальный курс обучения и получили корочки мотористов моторных лодок. Наконец, нам были сделаны прививки против клещевого энцефалита.

25 марта 1983 года я, Миша, Резеда и трое рабочих вылетели на рейсовом самолёте «Ан-2» в город Нижнеангарск, расположенный на самом севере Байкала, на БАМе, у дельты реки Верхняя Ангара. Я впервые увидел своими глазами знаменитое озеро, которое было старше меня более чем в миллион раз (мне было 22 года, Байкалу — около 25 миллионов лет). Что я тогда о нём знал? Самое глубокое озеро в мире, «священное море» с площадью, равной площади Бельгии... Я сгорал от любопытства. В нижнеангарском аэропорту мы встретили поджидавшего нас Фионова. Затем все вместе в кузове экспедиционной машины, доверху загруженной ящиками с инструментами, оборудованием и личными вещами, поехали вдоль берега через Северобайкальск в старинное рыбацкое село Байкальское, расположенное в северо-западной части Байкала. Из Байкальского по заснеженному, а местами и по чистому, прозрачному льду пересекли всё озеро. Было немного жутковато, тем более что иногда дорогу пересекали длинные смёрзшиеся трещины. Эти становые трещины, или щели, которые ежегодно образуются в одних и тех же местах, хорошо известны местным жителям. Многие из них не замерзают всю зиму. Их ширина — от полуметра до двух метров, причём она периодически меняется, потому что лёд «живёт» — сжимается или расширяется. Для проезда через эти трещины шофера, ездившие по байкальским «зимникам», обычно возили с собой прочные широкие доски. Когда досок не было, самые отчаянные шоферыги пересекали щели, перепрыгивая их с разгона. Но некоторым не везло, и они пропадали в байкальской пучине вместе с машиной. К счастью, нам прыгать не пришлось. Мы благополучно доехали до бывшего эвенкийского посёлка Томпа на восточном берегу, ставшего в наши дни метеостанцией. Отмахать в разгар зимы сто километров по льду — занятие не из самых приятных, но я жадно смотрел по сторонам и набирался новых впечатлений. Посёлок, состоявший из пяти-шести деревянных домов, стоял на высоком берегу губы Томпуда, к северу от одноимённой речки. Самое большое здание посёлка занимала метеостанция. Выяснилось, что начальница метеостанции работает в этой глуши уже двадцать лет. Она рассказала нам, что зимой можно на машине или мотоцикле съездить в Байкальское, а вот летом тут — как на необитаемом острове. В одном из небольших деревянных домиков, метрах в ста от берега, мы организовали базу партии — перенесли вовнутрь вещи, оборудовали нары для ночлега, поставили железную печку-буржуйку. Рядом с домом общими усилиями поставили радиоантенну, затем установили связь с базой экспедиции. Радисткой была Резеда. Прямо на берегу Байкала, под двумя чахлыми соснами, стояла деревянная банька. Вокруг посёлка царил джекклондоновское белое безмолвие — насколько хватало глаз, всё было покрыто снегом. На льду вдоль берега поблёскивали громадные торосы, превышав-



шие человеческий рост. На противоположной, иркутской стороне белели снежные вершины Байкальского хребта.

Томпа оживилась — население метеостанции, состоявшее из нескольких человек, увеличилось сразу на семь геодезистов и одного шенка, подобранного нашими рабочими в Байкальском. Щенок получил распространённую сибирскую кличку Сына. В нашей бригаде было двое рабочих — одного из них, хмурого бича с обритой головой и окладистой чёрной бородой, звали по паспорту Василием, а по жизни Васисуалием. Второй, весёлого нрава светловолосый любознательный парень, был Серёгой Давыдовым.

Весь следующий день мы, используя специально привезённые лыжи, изготавливали самодельные нарты, необходимые для перевозки инструментов по льду. Миша Шукшин со своим рабочим, ещё одним Серёгой по фамилии Балаганский, заложил в мёрзлую прибрежную землю первые геодезические центры. Вечером из Байкальского приехали трое в стельку пьяных рыбаков. Они подарили нам несколько налимов и пообещали привезти патронов к карабину.

Бензопилой «Дружба» мы напилили поленьев, затем нарубили дров, а вечером мылись в бане с потрясающим видом на зимний Байкал. После бани я устроил небольшой фейерверк на нашей базе — по ошибке вместо солярки плеснул в печку на дрова бензина. Поднялся столб огня, банка в моей руке загорелась, огонь перекинулся на пол и на стены. Но всё погасили так быстро, что я даже не успел испугаться.

Утром мы вдвоём с Серёгой Фионовым, волоча за собой, как бурлаки на Волге, тяжёлые нарты с инструментами, побрели по байкальскому льду к расположенному на другом берегу губы ближайшему геодезическому сигналу начинать первый полигонометрический ход 4-го класса. Эти измерения были нужны для определения плановых координат тех заложенных бригадой Шукшина центров, к которым летом будут привязываться теодолитные посты, определяющие, в свою очередь, местоположение работающего гидрографического катера. Собственно говоря, мы и выехали в поле так рано для того, чтобы иметь возможность передвигаться по льду и с него же делать съёмочное обоснование. В противном случае для работы в глухой тайге пришлось бы непрерывно рубить просеки. Придя на сигнал, мы заметили, что в куче инструментов не хватает светодальномера (точнее — тахеометра) ЕОТ-2000. Очевидно, он вывалился из моих нарт. Мне пришлось возвращаться несколько километров обратно, причём дальномер я нашёл почти у самой базы! Потом я опять, уже с прибором за плечами, пошёл по байкальскому льду к геодезическому знаку, у которого меня ждал Серёга. Наконец мы принялись за измерения. Через несколько часов Сергей с отражателем ушёл на следующий пункт, а я остался один на сигнале. Ожидание установки отражателя и новые измерения заняли ещё часа полтора. Начало темнеть. Я быстро собрал инструменты и через таёжные заросли, по колено в снегу, в полумраке, стал пробираться к Байкалу. Вышел на лёд, погрузил вещи на нарты и пошёл против ветра на еле видневшийся на другой стороне губы свет Томпы. Шёл по льду вдоль берега, волоча тяжёлые нарты, и вскоре совсем выбился из сил. Меня охватила какая-то истома, появилась подленькая мысль плюнуть на всё и лечь спать прямо на льду. Вдруг справа от меня на берегу показалась чудом зацепившаяся за кустарник и вмёрзшая в него охапка прошлогоднего сена. Я бросился на этот спасительный стожок, зарылся в него с головой и задремал. Проснулся от света вспыхнувшей ракеты — меня искали. Пришлось тащиться дальше. Кирзовые сапоги были полны воды от нападавшего в них снега, да и сам я был весь мокрый, потому что несколько раз падал. Один раз чуть не провалился в неожиданно появившуюся передо мной прорубь. Тут же, на льду у проруби, я оставил инструменты и дальше пошёл налегке. Пришёл на базу около одиннадцати часов вечера.

Боевое крещение отметили горячим чаем и консервированной кашей с мясом. Утром с Серёгой мы опять отправились в путь и, забрав оставленные мной накануне инструменты, измерили две стороны полигонометрического хода (в полигонометрии измеряются углы и расстояния). Вечером, когда мы переносили приборы к нартам через высоченные торосы (некоторые из которых достигали двух-трёх метров высоты), я с тахеометром в руках поскользнулся и, мгновенно прокрутив в голове календарные последствия от разбивания инструмента, извернулся и, спасая тахеометр, упал на ледяную глыбу прямо лицом. На лбу тут же образовалась огромная



шишка, нос тоже взбугрился, но, к счастью, перелома не произошло.

В один из дней на мотосанях мы проездили с Иванычем, здешним аборигеном, бывшим начальником метеостанции, около сорока километров по льду Байкала — отвезли бригаде Шукшина металлические центры, цемент и продукты. Я уже не очень удивлялся тому, что Иваныч раз и навсегда отказался от монотонно-суматошной городской жизни. На обратном ходу зашли с ним в одно из зимовьев, из трубы которого поднимался мирный голубоватый дымок. Жившие в зимовье рыбаки угостили нас жареным хариусом. В северо-западной части Байкала встречи с людьми — большая редкость.

Пришло время делать теодолитные ходы. Целыми днями, с утра до вечера, мы порхали взад-вперёд, как бабочки, с той лишь разницей, что время от времени вместо нектара употребляли свежевывающий снег. Не обедали уже несколько дней подряд. Из-за занятости один только раз позволили себе заняться подлёдной рыбалкой, наловили немного омулей и хариусов. Благодаря особенностям байкальского климата, в солнечную погоду холода на льду мы почти не ощущали.

У Серёги Фионова была язва желудка. В моменты приступов боли он садился на нарты — на него было жалко смотреть. Лечился он нерпичьим жиром. В конце концов его язва полностью затянулась.

В начале апреля мы совершили переход по льду с гружёными нартами из Томпы в соседнюю губу Ширильды. В стоящем на низком берегу, к югу от одноимённой реки, большим и крепком зимовье жили четыре рыбака из Нижнеангарска. Встретили они нас не очень ласково, что, в принципе, было понятно — кому приятно соседство с неизвестными обросшими типами, называющими себя малопонятным словом «геодезисты»? Все нарты были заняты, поэтому мы разложили спальные мешки прямо на полу.

Оставшаяся в Томпе Резеда сообщила нам по радиации, что Миша Шукшин раздробил себе по неосторожности тяжёлым молотком палец и что его переправили в больницу в Нижнеангарск. Его рабочий, Серёга Балаганский вышел к нам в Ширильды. Погода испортилась, целый день шёл снег, видимость нулевая. Мы поговорили с Фионовым обо всём на свете — о психоанализе, буддизме, истории... Вассуалий заявил, что мы строим из себя интеллектуалов, и попросил нас быть чуть проще. Он не слышал нашего вчерашнего разговора о гармонических свойствах природы и о строении Вселенной. А сам я после наших бесед постоянно ловил себя на мысли о том, как мало я знаю и как много мне хочется узнать. Причём это касалось не только давно интересовавших меня глобальных общечеловеческих проблем, исторических и мировоззренческих вопросов, но и самой геодезии. Я ещё довольно медленно работал с теодолитом, каждый день у меня случалась какая-нибудь бяка — то приходилось перемерять вертикальные углы, то находилась ошибка в вычислениях. Иногда не хватало самых элементарных знаний и навыков, которые ничего не стоило бы приобрести за пару дней в институте, если бы я осознавал тогда их важность.

Неподалёку от нашего зимовья в Ширильдах браконьерствовали какие-то милиционеры. А мы всё топтали и топтали байкальский лёд своими кирзовыми сапогами. Многие принимали нас за геологов — геодезисты всегда были более редкой и экзотической породой бродяг. На этот счёт у нас был популярен такой анекдот. Поздно вечером, возвращаясь с работы, геодезист с геологом повстречали хутор с одним жилым домом. Геодезист остался у ворот, а геолог пошёл договариваться о ночлеге. Из окна выглянула женщина.

— Хозяйка, пусти переночевать!

— А ты кто таков будешь?

— Да геолог я...

— Ой, заходи, заходи, родной, — засуетилась женщина.

— Да я не один, со мной геодезист.

— А ты привяжи его к забору!

С утра до вечера мы были на ногах, и это в отвратительную погоду с северным ветром! Несколько ночей подряд недосыпали, а питались два раза в день, причём преимущественно сухарями и консервированным говяжьим паштетом, разогревавшимся на костре (хоть и гадость, но горячая). При виде паштета меня порой мutilо. Иногда вместо чая заваривали берёзовую чагу. Нам очень хотелось побыстрее закончить эту полигонометрию, но ей не было видно конца. Белое ледяное безмолвие



стало надоедать, тем более что по календарю уже была середина весны.

С привязкой очередного полигонометрического хода мы надолго застряли из-за отсутствия видимости до геодезического сигнала. Знак стоял на возвышенности и, по идее, должен был быть виден издалека, но с момента его постройки прошло очень много времени, и выросшие деревья закрыли обзор. Пришлось рубить просеку через тайгу. Эта очень трудоёмкая и опасная физическая работа отняла у нас массу сил и времени. После этого мы с Фионовым устроили камеральный день. Между делом обсудили проблему случайных связей. Сергей оказался принципиальным противником как до-, так и послебрачных романов. Он убежденно говорил, что ему противно окунаться в грязь и что все эти сторонние любви есть предательство по отношению к жене, причём не только нынешней, но и будущей. В принципе, он был прав, но я упирался и по-холостячки самонадеянно доказывал, что любимой жене не захочется изменять, а если супружеская любовь начнёт остывать, то в донжуанстве не будет ничего предосудительного, потому что лучше искренне любить любовницу, чем фальшивить в отношениях с женой. Существование же добрачных связей вообще необходимо обществу, потому что без них неопытные супруги разводились бы в два раза чаще. И не обязательно добрачные романы должны быть связаны с грязью и пошлостью. Возможно, по каким-то причинам женитьба просто невозможна — нет денег, негде жить и т. д. К тому же все мы немного эпикурейцы, и какой смысл пугаться естественных влечений? Границы нравственности достаточно гибки для оправдания того, что меньшая часть людей считает безнравственным. Просто всегда надо оставаться человеком. В общем, я защищал перед Серёгой свой сложившийся холостяцкий жизненный уклад.

12 апреля... Я помнил, что это день рождения отца, но поздравить его не было никакой возможности. Почти весь день шёл густой снег, а когда он перестал, я два часа брёл по белой целине до точки наблюдений с тяжёлым тахеометром за плечами. Большинство измерений производилось прямо с байкальского льда, на котором устанавливался штатив с прибором. Производительность нашего труда была чрезвычайно низкой из-за больших пеших переходов. Зато во время ходьбы хорошо думалось. Я пришёл к выводу, что когда бывает трудно, лучше думать не о прошлом, а о будущем — его ведь всегда представляешь в розовом цвете. О том, что думают о будущем старики, мне и в голову не приходило. В свои двадцать два года я считал, что все религии придуманы для того, чтобы было легче жить, и что бога люди придумали для того же. А забегая мыслями в будущее, ты сам себе бог, видишь себя сильным, умным, красивым — и поневоле подражаешь своему выдуманному двойнику-прообразу. И не хочется ныть от усталости... А она давала о себе знать, ведь мы постоянно недосыпали, а бегали по лесам и по долам столько, что иному человеку на всю жизнь хватит. Геодезиста ноги кормят.

Иногда было чертовски трудно скрыть накопившееся раздражение и не выплёскивать желчь из тайников подсознания. Что толку портить другому настроение? Как часто мы раним окружающих своей несдержанностью и твердолобостью... А в ответ и они зачастую платят нам той же монетой. Не лучше ли научиться контролировать свои слова, эмоции и поступки? Эти мысли промелькнули в моей голове за одно мгновение и именно в ту минуту, когда сдержаться стоило больших трудов: один из рабочих, не спросив моего разрешения, убрал с точки штатив, после чего мне сразу же стало ясно, что несколько часов работы полетели коту под хвост и что завтра придётся перемерять две станции.

Приключения следовали одно за другим. Во второй половине апреля мы решили переселиться в следующее зимовье, находившееся в губе Самдаки, к северу от мыса Турали с его расположенными неподалёку поющими песками, навеки замолчавшими после строительства Иркутской ГЭС и подъёма уровня озера на один метр. До конца дня работали в губе Ширильды. Я провёл измерения с геодезического центра, заложенного выше по склону одной из певших некогда дюн, а вечером мы все вместе вышли в путь, таща за собой по льду нагруженные доверху нарты. По дороге Сергей Фионов немного отстал — собака обнаружила на одном из мысов медвежью берлогу, и он пошёл на лай в сторону берега. Тем временем я с двумя рабочими пробивался дальше на север вдоль байкальского берега через блестящие в лунном свете торосы. Этот переход всех нас чрезвычайно утомил. Мы прошли ещё километров пять, но зимовье всё никак не появлялось, и я решил возвращаться обратно, навстречу оставшему Фионову, для того чтобы обсудить дальнейшие дей-



ствия. Рабочие совершенно выбились из сил. Грузный Васисуалий каждую минуту ложился лицом вниз на лёд и засыпал — я безжалостно будил его пинком ноги. Более молодой Серёга Давыдов весь трясся от холода и на все лады проклинал тот час, когда он устроился к нам рабочим. Мне помогала только моя выносливость. Наступила ночь. Чтобы докричаться до Фионова, по моему предложению мы стали орать во все три глотки, но это ни к чему не привело. Мужики решили плюнуть и на бригадира, и на меня, и вернуться в старое зимовье, от которого мы отошли уже примерно на десять километров. Я предпринял последнюю отчаянную попытку найти нашего медвежатника — достал из полевой сумки недочитанный старый журнал «Огонёк» и стал жечь один лист за другим. Когда половина журнала превратилась в пепел, на свет подошёл наконец Фионов. Бригада воссоединилась. Давыдова постоянно тошнило и несколько раз вывало, Васисуалий громко и непрерывно матерился. Но каким-то образом все пришли в себя и продолжили путь — не назад, а дальше, к потерявшемуся зимовью. Мы находились в губе Самдаки и видели на карте, что зимовье где-то рядом на берегу, но найти его никак не удавалось. Идти было очень трудно из-за того, что ноги постоянно проваливались в недостаточно промёрзший снежный наст, а также из-за нагромождённых друг на друга торосов. Эти ледяные глыбы можно было легко обойти, отойдя подальше от берега, но тогда мы рисковали бы пройти мимо зимовья. Часа в три ночи, едва живые от усталости и холода, мы набрали на стоявшие на берегу, в нескольких метрах от Байкала, развалины какой-то ветхой зимовьюшки, от которой осталось всего три фрагмента стены высотой до пояса. Крыши не было и в помине. Внутри, между бревенчатыми стенами, стояли высокие сугробы. Мы подумали, что это остатки искомого нами зимовья, и решили прекратить поиски. Разожгли костёр и наспех перекусили, после чего наломали лапника и повалились спать прямо у костра, под открытым небом. Около семи утра костёр погас и все мы проснулись от холода. Какова же была наша досада, когда примерно в трёхстах метрах от развалин мы заметили совершенно новое зимовье! Мы вошли в него и разложили свои вещи. По неписаному таёжному закону, у печки лежала горка сухих дров, а на подоконнике обнаружили спички, соль и мешочек с сухарями.

Ночные страдания быстро забылись, и мы, попив чаю, пошли добывать обнаруженного собакой медведя. Накануне он только недовольно рычал из берлоги на лаявшего Сына. Днём идти было намного легче, хотя мы шли с теми же нартами, побоявшись оставлять инструменты в зимовье. Довольно быстро нашли мыс с берлогой и начали реализовывать созревший по дороге план. Васисуалий с собакой остался внизу, на льду, а мы втроём — Фионов с заряженным карабином и мы с Давыдовым с топорами в руках — полезли в гору. План был такой: Фионов становится с карабином напротив входа в берлогу, мы с Давыдовым забираемся на каменный выступ над входом и держим на всякий случай (если медведь полезет вверх) наготове наши топоры, а Васисуалий по команде спускает собаку. Так и сделали. Сына мигом взлетел по крутому склону, но даже лаять у берлоги не стал. Собака сразу поняла, что берлога пустая. Разбуженный ночью медведь тогда же выбрался из берлоги и полез вверх, причём следы его мощных когтей остались на той самой круче, которую мы с Давыдовым посчитали недоступной для неповоротливого зверя и самонадеянно выбрали местом своего убежища. Что осталось бы от нас, будь медведь и впрямь в берлоге, зависело бы только от меткости нашего бригадира. Сына побежал было по следу, но мы его остановили. По очереди залезли в берлогу — это была небольшая расщелина между двумя скалами. Возбуждённые, мы спустились вниз, вышли на лёд и пошли с нартами обратно к зимовью. Погода испортилась, но на этот раз всё обошлось без приключений. Продукты у нас были на исходе, а хлеб давно кончился, поэтому вскоре мы отправили Васисуалия в Ширильды за мукой.

Зимовье в Самдаках было хоть и маленьким, но с печкой — впрочем, как и все сибирские зимовья. В один из дней мы нажарили блинов — хлеба ведь по-прежнему не было, Василий ещё не вернулся, а голод не тётка... Нас очень задерживали теодолитные ходы. Точки, кроме как на валуны, ставить было некуда, а те обледенели и кое-где покрылись толстым слоем снега. Это надо видеть: поздний вечер, я бреду по следам нарта в поисках штатива с отражателем. Карабкаюсь по обледеневшему валуну, забираю стоящий на нём отражатель и через торосы двигаюсь к другой точке. На противоположной стороне губы вспыхивает огонёк светодальномера — это Серёга



Фионов измеряет расстояние. А вот замигал прожектор — это сигнал отбоя. Я слеваю со скал и по прочному насту, покрывшему байкальский лёд, возвращаюсь домой. Но рабочий день ещё не закончен — надо привести в порядок журналы наблюдений. Часто вспоминается далёкая солнечная Молдавия... Очень хочется и весны, и солнца, но пока приходится ходить, полуогнувшись, против ветра, балансировать на торосах, мёрзнуть и голодать. Спрашивается — ради чего? А ответ, как пел Высоцкий, прост, и ответ единственный: не пристало мужику зимой валяться на печи, особенно если он молод и полон энергии. Когда ещё появится такая уникальная возможность проверить себя на излом?

Мы перебрались в следующее зимовье — на Хакусах, за отвесным скальным мысом Аман-Кит. По дороге мои перегруженные нарты не выдержали нагрузки — сломалась сначала одна, а потом и вторая лыжа. Пришлось останавливаться и ремонтировать прямо на льду. Местный лесничий Женя приютил нашу бригаду на несколько дней. В губе Хакусы, в километре от байкальского берега, на поляне в сосновом лесу находится самый мощный на Байкале горячий источник с целебной минеральной водой. Можно искупаться в специальной лечебнице, а можно окунуться в воду в «лягушатнике» под открытым небом, где она не такая горячая. Мы устроили банно-прачечный день и вдоволь накупались. Вода действительно обжигает — больше сорока градусов, не сразу в неё залезешь. Как-то непривычно сидеть по шёну в горячей воде и загребать рукой лежащий рядом снег. В лечебнице не было ни одного человека, хотя летом, по словам лесничего, сюда не попасть. Часто бывают иностранцы, приезжали как-то космонавты Ковалёнок и Гречко. Странно было слушать о том, как люди с разных концов планеты стремятся попасть на Байкал — он стал для нас таким родным и обыденным... Рыбаки рассказали, что на днях в зимовье заходили парни, пересекающие Байкал с юга на север по льду на буерах. Охотно верю — ветры тут такие, что и без парусов того и гляди взлетишь под облака! После бани мы хорошо поработали, пройдя с теодолитными ходами всю губу Хакусы.

25 апреля исполнился месяц нашего пребывания в поле. Я стал походить то ли на заправского полевика, то ли на бандита с большой дороги — топором открываю банку с тушёнкой, разогреваю замороженное мясо на костре, затем из той же банки пью чай. Лицо моё покрыла густая борода, а длинные волосы выгорели от солнца. Я не оговорился — несмотря на снег и лёд, солнце светило часто, хотя и не очень грело. Из-за сильного отражения солнечных лучей от заснеженного льда легко можно было обжечь глаза ультрафиолетом и заработать куриную слепоту. Чтобы избежать этого временного ослепления, мы носили солнцезащитные очки, а также обворачивали вокруг головы над глазами узкие ленточки из белой ткани.

В один из апрельских дней мы с Васисуалием дошли до следующего зимовья, в глубине губы Бирая. Все окна в нём оказались выбитыми, но рыжая от ржавчины печка работала исправно. Парни должны были подойти на следующий день.

У горящего костра всегда думается о чём-то хорошем. Может быть, наше подсознание при виде огня вырабатывает определённые ассоциации: тепло — уют — счастье — радость... Во всяком случае, мне никогда не приходилось у костра переживать накопившуюся за день желчь. Она словно испаряется на жару. А может, огонь — это нечто такое, к чему, как мотыльки, стремятся наши озябшие души? Вот мы и смотрим пристально на горящие поленья, на взлетающие искры, на дрожащий вокруг костра воздух, не подозревая о том, что преображаемся в этот момент. Становимся добрее, что ли?

Мы очень своеобразно отпраздновали Первомай. Накануне, в районе узкой губы Аяя, у северной границы нашего участка работ, закончили полигонометрию. А утром первого мая загрузили нарты и вышли из Аяя. По насту часа за четыре дошли до Хакусы, где в домике лесничего пообедали и посмотрели по телевизору демонстрацию на Красной площади. После обеда продолжили свою собственную демонстрацию. Идти стало тяжелее, снег подтаял. В зимовье на Ширильдах буквально приползли поздно вечером, невероятно уставшие, наскоро перекусили и повалились спать. Рано утром вышли в направлении Томпы. Погода дрянь, солнце пригрело и наста совсем не стало. К тому же от перегрузки в нартах постоянно ломались лыжи. Мы шли вчетвером, цугом. Очень некстати пошёл первый весенний дождь, под ногами захлопало месиво изо льда и мокрого снега. Все промокли до нитки. За два дня прошли по байкальскому льду всего полсотни километров.

Через день снова взялись за работу. После дождя снег практически весь исчез и

передвигаться с нартами по льду стало сплошным удовольствием. Правда, гораздо быстрее промокали ноги. Ко Дню Победы — так совпало, конечно, — мы закончили полигонометрию на участке южнее Томпы. По случаю праздника обе бригады, Фионова и Шукшина, устроили на базе партии совместный грандиозный ужин — суп из гоголей и варёная картошка с консервированной говяжьей печенью. Рабочие пили брагу, я же на этот напиток не мог смотреть без содрогания. Вопреки своему принципу пробовать хотя бы раз всё, что другие пьют и едят, бражку я не пил ни разу в жизни. Почему-то она мне была противна. В Томпе нашёлся баян, и меня сразу же занесло в какие-то молдавско-украинские музыкальные дебри. Запахло весной, почва стала оттаивать. Мы выкопали яму и оборудовали деревянный туалет напротив базы партии, после чего состоялось его торжественное открытие — с «Прощанием славянки» в моём исполнении на баяне и со стрельбой Фионова в воздух из карабина.

Вскоре с полевым контролем на вертолёте из Улан-Удэ прилетела начальница партии Таня Постолова. Мы же, завершив полигонометрию, начали выполнять съёмку береговой линии методом прямых засечек. Отработали целый день и вечером вернулись на базу, где Резеда приготовила нам шикарный ужин. Фионов и Шукшин пошли на охоту, а я заполз на нары и в момент отключился. Как только не приходилось спать за эти последние полтора месяца! В спальнике или на какой-нибудь дерюге, на голом полу или на нарах, зарывшись головой в тряпье или в сено... Спят же некоторые на белых простынях! Но это белые люди, не геодезисты...

Для того чтобы узнать мнение человека о чём бы то ни было, проще всего начать с заведомо спорного утверждения. В ответ последуют всевозможные возражения и аргументы, по которым удобно делать нужные выводы. Во время обмена мнениями полезно и самому поискать доказательства своей мнимой точки зрения. Может случиться так, что она вовсе не ложная, а единственно верная. Именно в споре на свет божий выходят самые сокровенные мысли, да и характеры спорщиков проявляются наиболее полно. Один горячится, другой злится, третий машет кулаками. Всё как на ладони... На нашей базе партии (к счастью, не коммунистической) зашёл разговор о коммунизме. Я заявил, что коммунизм — это самый большой бред, который мог родиться в человеческой голове, и что Карл Маркс — великий параноик. Потом уточнил, что к коммунизму мы, конечно, придём, но не раньше, чем через тысячу лет. Ну... пусть лет через двести. Думал ли я так на самом деле? Вряд ли. Никаким провидцем я не был, просто сама жизнь иногда заставляла усомниться в набивших оскомину истинах. Серёга Фионов с Резедой в один голос стали доказывать, что все мы ещё поживём при коммунизме. Основной довод Сергея — по прогнозам учёных, материально-техническая база коммунизма будет построена лет через двадцать, во всяком случае — при нас. Я возразил, что людей к этому сроку мы никак не успеем перевоспитать, ведь наше поколение, да и мы сами — далеко не ангелы. На то, что нынешняя молодёжь воспитает своих детей в духе морального кодекса строителей коммунизма, надежды тоже мало. К тому же международная обстановка вряд ли за два десятилетия изменится к лучшему. В ответ Резеда посоветовала мне больше читать газеты и слушать радио. Основной её довод: разрядка международной напряжённости идёт такими темпами, что в ближайшем будущем никакой напряжёнки не будет в помине. Да и капитализм весь уже прогнил. В общем, всё строго по правильным книгам.

— Я в эту партию никогда в жизни не вступлю! — горячился я.

— А я бы тебя в неё и не приняла!

Попросил Резеду объяснить мне, на чём основана её уверенность, и доказать мне, бестолковому, что не может коммунизм наступить к концу тысячелетия. В ответ услышал всё те же набившие оскомину фразы. Тогда Сергей потребовал от меня доказательств моих пессимистичных выводов. Я ответил:

— Ребята! Вы не смогли мне ничего доказать, не могу ничего доказать и я. Так давайте не будем ничего утверждать с такой уверенностью!

Я чуть больше понял своих друзей. Сергей Фионов придаёт большое значение подсчётам и выкладкам учёным, всякой цифири и т. д., забывая о том, что в хрущёвские времена уже гадали о сроках и даже упомянули о них в «Программе КПСС». Судя по этим предсказаниям, мы уже живём при коммунизме. У Резеды же убеждения идут не от рассудка, а от чувства. Многое просто принимается на веру, а ведь



истина вытекает из недоверия!

Эрудированный, деловой, сдержанный, непьющий Серёга Фионов произвольно оказывал на меня огромное позитивное воздействие. Попади я в бригаду какого-нибудь хамоватого работника, вся моя последующая жизнь потекла бы совершенно в другом направлении.

Следующий день мы начали с вкуснейшего завтрака — ухи из тайменя. А после обеда впятером (без Фионова) с инструментами на нартах отправились на север. Какие-то несчастные тридцать километров до Хакус шли девять с половиной часов. Помогли лесничему Жене сложить в поленицу дрова для лечебницы. Вымокли до нитки под дождём, после чего пошли купаться в горячем источнике. Утром продолжили свой маршрут в сокращённом составе — двое рабочих остались печь хлеб. После дождя последние остатки снега сошли на нет, идти по чистому льду было легко. По дороге продолжили съёмку береговой линии. Вечером, когда дошли до зимовья на Аяе, обнаружили рядом с ним сброшенный для нас с вертолётки объёмный рюкзак с продуктами.

Что день грядущий нам готовит? А ждала нас беда. С утра мы начали работать как обычно — поставили штатив с тахеометром на льду посреди узкой и длинной губы Аяя, вдававшейся в сушу на четыре километра, я производил измерения, Миша Шукшин записывал отчёты в журнал, а Серёга Давыдов обходил восточный поперечник Байкала. Солнце палило уже по-летнему. Мы с Мишей направлялись было к берегу для привязки и тут же почувствовали, что подтаявший лёд начал под нами трескаться. Метров за триста до берега то у меня, то у Миши ноги стали проваливаться под лёд. Ухнешь вниз по колено, сердце ёкнет, но тут же почувствуешь лёд под своим телом и понимаешь — ещё живой. Наконец идти стало невозможно, лёд уже не проваливался под ногами, а угрожающе прогибался, рискуя поглотить нас целиком. Мы разделились и поползли по-пластунски. Пока один отползал на несколько метров вперёд, второй подтягивал к себе нарты с инструментами и бросал верёвку перед собой, после чего полз вперёд сам. Таким образом мы постоянно выползали из прогибов поверхности, которая так и не успевала превратиться в разверзшуюся воронку. Кончилось всё благополучно — ближе к берегу из-под льда возвышалось много валунов, и мы, перепрыгивая с одного камня на другой и непрерывно подтягивая нарты, мокрые и почти счастливые выбрались на сушу.

Обратно к зимовью возвращались по берегу, усеянному такими же валунами. За плечами у меня топорщились ящик с тахеометром, генератор, тяжёлый аккумулятор, отражатель и полевая сумка, на груди болтались два штатива, а в руках были топор и лопата. К этому времени к зимовью должны были подойти двое оставшихся в Хакусах рабочих. Но пришёл только Васисуалий. Серёга Балаганский без спроса отправился обратно на базу партии в Томпе за недавно приготовленной бражкой, которая, по всем расчётам, должна была дойти до кондиции. Вечером Фионов по радиации сообщил, что Балаганский не появлялся, а бражка исчезла. Это означало, что рабочий, во избежание проблем, пробрался на базу незамеченным, забрал увесистую флягу с бражкой и пошёл к нам, в губу Аяя.

Говорят, что владеть собой — это постоянно контролировать свои слова и поступки. Но гораздо труднее управлять своим неподвластным рассудку настроением. Оно ведь формируется где-то в дебрях подсознания и почти не зависит от воли. Где же выход? Самое простое — предупредить плохое настроение, не дать ему сформироваться. Рабочий задел меня грубым словом, ну и что из того? В мире не стало ни жарче, ни холоднее. Миру вообще нет дела ни до моего настроения, ни до меня самого. Зачем же мне лишать себя удовольствия радоваться жизни? Если же плохое настроение предупредить не удалось, то остаётся одно — забыть о нём, переключить своё внимание на любую приятную тему или вообразить своего обидчика своим зеркальным отражением и полюбить его. Отвлечься, отказаться, отречься от всех этих дряг — и овладеть своим настроением, попытаться улучшить настроение окружающих тебя людей. Заставь своего ближнего возрадоваться жизни! Подобными мыслями я заполнял свои многочасовые пешие переходы. Позади остались сотни километров, которые мне пришлось прошагать с тахеометром за плечами. На днях, чтобы сократить дорогу, мы сошли со льда и вскарабкались по камням на звериную тропу, ведущую через небольшой перевал в соседнюю бухту. По льду идти быстрее, но он стал тонким и опасным. Прошли несколько километров по тропе и встретили

небольшую охотничью зимовьюшку. В ней заночевали, а утром полезли дальше на перевал. За спиной тяжёлый тахеометр, на шее болтается ещё более тяжёлый аккумулятор. Пота вылилось ведра два, не меньше. Зато какое блаженство — лежать на перевале лицом к небу и слушать, как колотится сердце! По дороге набрали на прошлогоднюю бруснику и с трудом от неё оторвались. Потом прошли мимо небольшого горного озера. Потревоженные утки, тяжело взмахивая крыльями, одна за другой взлетели с поверхности воды и скрылись в утреннем тумане. Под вечер мы опять вышли к Байкалу и дальше пошли по льду. Идти было страшно, но прыгать по валунам не хотелось. Вдруг лёд подо мной треснул, я мгновенно по пояс провалился в холодную байкальскую воду. Спасли раскинутые в стороны руки. Мне удалось выбраться на берег, быстро развели костёр, я подсушился, мы пошагали дальше. По тому самому льду.

...Переделываем один полигонометрический ход — невязка оказалась не в допуске. По-видимому, одна из переходных точек за ночь сместилась вместе со льдом, в который она была вколочена. Ждём вертолёта из Улан-Удэ с Татьяной Постоловой. Продукты на исходе, и даже не верится, что было время, когда мы объедались сгущённым молоком и фабричными сухариками. Сегодня кончился сахар — сладкая жизнь осталась в прошлом. Под вечер ноги гудят от усталости, по возвращении домой хочется тут же упасть на нары. Заснёшь тяжёлым сном, а сны порой какие-то мудрёные.

Из Байкальского на снегоходе «Буран» приехали два подвыпивших рыбака.

— Мужики, не страшно через Байкал переезжать? Говорят, проваливаются иногда люди... — спросил я.

— Бывает, паря... — нехотя протянул мужичок постарше. — Дык от судьбы не уйдёшь! Каво хошь делай, она тебя догонит.

— До какого времени вы озеро по льду переезжаете? — не унимался я.

— А пока кто-нибудь не провалится. Тогда точно льду конец! — вмешался в разговор молодой парень. — Помнишь, Антоха к нам приезжал? — обратился он к приятелю.

— Не, забыл чё-то.

— Ты чё, моя! Чё у ты така память-то дырява? — возмутился парень. — Ты, Миха, тогда ещё с Клавкой жил.

— А, ну да... Дык этот Антоха совсем дурной был. Водяры объелся, не хватило ему, ну... он в Томпу на мотоцикле и погнал догонять. В пропарину попал и утонул.

В начале июня Байкал начал освобождаться ото льда. На склонах расцвёл багульник, его ярко-розовые цветки сразу же оживили монотонные ландшафты зимней тайги. Прибрежные камни были усеяны начавшим активно размножаться ручейником. В это время передвигаться по берегу было небезопасно из-за медведей, выходящих на пляжи полакомиться личинками ручейника. По озеру ещё плавали льдины, но постепенно от них осталось одно воспоминание. Кончились наши переходы с нартами по льду, начались прыжки по камням с рюкзаками за плечами. На днях перешли вброд реку Ширильды, а также несколько ручьёв помельче. Несмотря на календарное лето, вода была обжигающе холодной. В последнее время мы стали часто голодать, не было ни хлеба, ни сахара, ни сухого молока. Обедали остатками завтрака, а завтракали остатками ужина. На ужин же чаще всего готовили лапшу или рис с тушёнкой, благо последняя ещё была в наличии. Мужики бедствовали из-за отсутствия табака — курили чай и выискивали бычки в зимовьях.

К лету мы закончили съёмочное обоснование для будущих промерных работ и вновь поселились в Томпе. Рабочие сразу же перепились бражкой и долго потом болели. Сергей Фионов с одним из жителей метеостанции съездили на нерповку, после чего я впервые в жизни отведал нерпичьего мяса. Оно очень жирное и сильно пахнет рыбой, но после осточертевшей тушёнки ел его с удовольствием.

Прилетела Татьяна Постолова на Ми-8, привезла продукты, посуду, материалы для планово-высотной привязки (ПВП) аэроснимков и т. д. Делать ПВП было поручено Мише Шукшину. Фионов на несколько недель отправится на север Байкала, на перевал Холодненский, помогать находящимся там шестерым студентам НИИГАиКа (новосибирского геодезического института) прокладывать теодолитные ходы. Я заканчивал обработку журналов измерений. Вместе с Татьяной прилетел



Николай Житин, наш новый радист. Резеда улетела в Улан-Удэ готовить к отправке на Байкал экспедиционный гидрографический катер «Фут».

В июне на базе партии, рядом с нашей тесной избушкой, мы поставили две палатки. Серёга Давыдов с новым радистом, зарядившись накануне бражкой, всю ночь спарринговали между палатками, громко матерясь после каждого удара. Рано утром невыспавшийся Васисуалий вылез из своей палатки и со штативом наперевес пошёл на Давыдова. Судя по донёсшимся в мою палатку звукам, Серёга удачно применил каратистские приёмы. По крайней мере форма носа у Васисуалия заметно изменилась. В этот же день прилетел вертолёт, в котором обиженный Васисуалий улетел от нас навсегда.

Серёга Давыдов оказался на Байкале не случайно. Его мама давно умерла, отец ещё до её смерти ушёл из семьи и беспробудно пьянствовал. Серёга жил в Улан-Удэ один, при живом отце-алкоголике, чья квартира находилась где-то поблизости. Однажды Серёга решил навестить непутёвого родителя — купил водки и пошёл в гости. Отец встретил сына радушно, усадил его за стол. Выпили, разговорились... Допили бутылку, затянули русскую народную, потом стали плясать. Вдруг батя схватил кухонный нож и кинулся с ним на сына. Серёга выбил нож их отцовских рук, а тот захрипел:

— Волчонок! Жаль, не задушил тебя в младенчестве!

У Серёги от этих слов помутилось в голове, он кинулся на отца, поколотил его и ушёл. Через несколько дней к нему домой пришла милиция. Выяснилось, что алкоголь-отец написал на сына заявление. Запахло тюрьмой. После этого Серёга и записался рабочим в нашу экспедицию — переждать, пока всё утихнет...

Мы с ним неплохо ладили. Серёга довольно много читал, увлекался йогой. А однажды случилось несчастье. На мысе Оргокон Давыдов рубил деревья для очередной просеки и с размаху ударил себя топором по левой ноге. Его привезли в Томпу на моторке. Фионов проделал с раненой ногой всё, что советовал делать в таких случаях автор книги «Советы строителю БАМа». После этого мы вызвали спецрейс из Нижнего (так мы называли Нижнеангарск). Вертолёт прилетел через сутки. Дырку в ноге заштопали, рану перевязали, при этом за неимением наркоза пострадавшему пришлось скормить полбутылки водки. Он сильно не сопротивлялся.

Через несколько дней после этого происшествия мы с Сергеем Фионовым отправились переделывать полигонометрический ход «Оргокон — Ширильды», в котором упорно сидела ошибка в целый метр. По дороге прихватили Мишу Шукшина с Балаганским. Ход переделали полностью, за исключением одной линии, которую не удалось перемерить, потому что не смогли переправиться через разлившуюся реку Ширильды. Немного подождали, осмотрелись... Фионов с Шукшиным предприняли ещё одну попытку переправы. Вода доходила до шеи, но проблема была не в глубине, а в скорости течения — бурливший поток сбивал с ног. Чтобы противостоять водному натиску, парни надели рюкзаки, доверху набитые собранными на берегу камнями. Первым перешёл речку Миша. Фионову пришлось тяжелее, потому что в руках он держал отражатель от светодальномера. Сергей благополучно прошёл половину пути, но вблизи берега неожиданно лопнула лямка рюкзака, который из-за этого сместился на бок и потащил нашего бригадира в сторону от брода. Отражатель выпал из рук и исчез под водой. Через секунду туда же ушла и голова Фионова. Несколько оставшихся метров Серёга прошёл по дну под водой. У крутого берега ему не за что было зацепиться, чтобы выбраться из реки, но Шукшин протянул руку, и всё кончилось благополучно.

— Серёга, быстро раздевайся, я разведу костёр. Тебе надо обсохнуть, простынешь на фиг, — забеспокоился Миша.

— Погоди, погоди, — отстранил его Сергей, — отражатель-то в воде остался. Нам без него никак.

Фионов снова нырнул в холодную воду, нашупал на дне многострадальный отражатель и вылез с ним на берег.

После завершения измерений мы ещё пытались ловить в Байкале рыбу «на кораблик», но ничего не поймали. Обратный путь в двадцать километров прошли по тропе вдоль высокого берега за пять часов.

Татьяна улетела в Нижний. А у нас произошла рокировка — Фионов остался на базе в Томпе заниматься камералкой, а меня вместо него командировали на перевал. Как это всё некстати... У нас уже началось лето, а там, в горах — ещё и весной не

пахнет! 15 июня я собрал свои нехитрые пожитки, дождался вертолѐта Ми-2 и попрощался с друзьями. В Ми-2 летишь, как будто едешь на такси — сидя рядом с водителем-пилотом. Сделали промежуточную посадку в Нижнеангарске. Я заночевал прямо на лѐтном поле — поставил двухместную палатку в сторонке у ограды и расположился в ней со своими инструментами. Работники аэропорта смотрели на меня, как на пещерного человека, а я и сам от людей шарахался. Утром полетели дальше, на перевал Холодненский, расположенный к северу от Байкала, на Северо-Байкальском нагорье, а если точнее — на горном хребте Сынныр. Лететь в горах жутковато — внизу под тобой то гряда, то пропасть. Мы с трудом, благодаря замеченному дыму от костра, отыскали маленький палаточный лагерь, поставленный студентами у впадения в реку Холодную небольшой быстрой горной речки Бирамия. Сели после трёх-четырёх кругов. Шѐл мелкий дождь. В стороне от лагеря белел голец Иняптук — высочайшая точка хребта Сынныр (2578 метров).

Я познакомился с ребятами. Все они были студентами новосибирского геодезического института. Пикантность ситуации заключалась в том, что одним из шести студентов был Гена Гиенко, сын нашего начальника экспедиции. Нам предстояла большая работа по созданию съѐмочного обоснования для топографической съѐмки в масштабе 1:2 000. У меня не было права на ошибку.

Начало было удачным. В первый рабочий день я проложил целиком один теодолитный ход, затем начал второй. Вслед за мной парни тут же выполняли техническое нивелирование. Всё шло хорошо, как вдруг, за три линии до привязки, вышел из строя мой надёжнейший немецкий тахеометр-ветеран ЕОТ-2000. Нам пришлось возвращаться в свой табор. Я долго возился с тахеометром, выходя периодически на радиосвязь с Серѐгой Фионовым. Вывод был безрадостным: тахеометр в полевых условиях ремонту не подлежал. Вслед за этим один из студентов по ошибке подключил мой программируемый калькулятор «Электроника МК-54» к аккумулятору тахеометра, в результате чего калькулятор сгорел. Это было тяжѐлым ударом, потому что вычисления по программам (которые мы с Фионовым составляли сами) сильно ускоряли камеральные работы. В заключение один из студентов, вычислявший координаты точек первого теодолитного хода, сообщил, что угловая невязка в нём превышает один градус. Я проверил вычисления — всё верно. Вряд ли дело было в качестве измерений — углы между полуприѐмами лежали в пределах 10—15 секунд при допуске в 45. Возможно, кто-то до нас загнал ошибку в полигонометрию (такая туфта в те годы иногда встречалась), или один из наших студентов нечаянно сбил с места штатив. После стольких ударов моя голова пошла кругом.

Я отправил в Улан-Удѐ радиограмму о поломке тахеометра и начал прокладывать теодолитные ходы бывшим в моѐм распоряжении теодолитом Т-15. Для угловых измерений проблем не было никаких. Но теодолит, в отличие от тахеометра, не измеряет расстояния, и мне надо было что-то придумать. В эти первые дни погода на перевале была пасмурной, облака стелились чуть ли не по земле, что было не удивительно — лагерь находился на отметке 1200 метров (высота Байкала над уровнем моря — 455 метров). На теневых склонах ещё лежал снег.

К концу июня лето пришло и на наш перевал. А мы, как муравьи, всё копошились в бескрайней тайге, ставшей нашим родным домом. Иногда неприкаянность и оторванность от цивилизации надоедала. Пробираешься сквозь заросли кедрового стланика и думаешь... да нет, в такие минуты ни о чём не думаешь, только чертыхаешься время от времени. У нас нелады уже с теодолитом, углы в полуприѐмах не идут. Парни смотрят, открыв рты, как я копаюсь в инструменте, а мне и самому интересно, что там внутри, потому что я ни разу туда не лазил. Что толку в справочниках, которых у меня полно — в них одни лишь схемы и формулы. Поди узнай, какая из них тебе нужна! Каждый день случалась какая-нибудь новая проблема, я не успевал от них отбрыкиваться.

У нас большое достижение — мы закончили угловые измерения. Осталось измерить длины сторон (но нечем) и закончить нивелирование. А тем временем на Байкале началась навигация. Фионов по рации передал, что в Томпу уже пришѐл арендованный катер «Северный» (класса «Ярославец»), на днях из Улан-Удѐ подойдёт экспедиционный «Фут». Я ждал вертолѐта, чтобы отвезти сломанный ЕОТ-2000 в Нижнеангарск. При неудачном раскладе придётся везти инструмент в Улан-Удѐ. От этой перспективы у меня появились двойственные мысли. С одной стороны, неплохо было бы поспать денѐк-другой в мягкой и чистой постели, походить по асфальту,



но с другой — городская пыль, постоянная суета, денежные проблемы... В тайге, конечно, не фонтан, но и в городе далеко не рай.

Занимаемся мензульной съёмкой. Для морского геодезиста это занятие довольно скучное. Иногда порывами налетает дождь и становится холодно, но в общем и целом погода вполне летняя. Рядом с нашим табором возвышается заснеженный Иняптук.

Один из студентов, кореец из Узбекистана Виталий Хан рассказал мне свою грустную историю. Приехав домой на каникулы, он встретил свою похорошевшую одноклассницу, один раз переспал с ней и уехал обратно в Новосибирск. Возжелавшая брака девушка оказалась себе на уме и обо всём рассказала родителям. Дело кончилось тем, что пришлось объявить о помолвке. Виталик, сидя у костра, рассказывал мне о предстоящей свадьбе с нелюбимой девушкой и на глазах мрачнел.

В начале июля мы отправились с ним вдвоём в горы. По слухам, где-то на высоте около 2000 метров должны быть красивые водопады — к ним мы и полезли. Идём всё выше и выше, камни под ногами осыпаются и срываются вниз. Мы взяли с собой фотоаппараты, но погода неожиданно испортилась, нас обволокли тучи, пошёл мелкий и противный дождь. Но тут появился первый водопад. Вода, правда, падала не отвесно, а прыгала по камням, но всё равно было чертовски красиво. Далеко внизу виднелись три горных озера, а справа от нас возвышался Иняптук. Мы карабкались всё выше и выше, дождь никак не кончался. Наконец мы у цели. Большая каменная чаша доверху наполнена снегом, а через край рвётся вода и с шумом падает вниз. Слева виден ещё один такой же водопад, шум стоит невероятный. Немного прояснилось, и мы спешим фотографировать. Пора спускаться. На обратном пути к лагерю свернули от речки Бирамия влево, чтобы выиграть время. Быстро выяснилось, что этого делать не следовало — без реки мы потеряли ориентировку. В это время на горы лёг густой туман, и видимость резко ухудшилась. Мы вышли к какой-то речке, но было непонятно — то ли это наша Бирамия, то ли река Холодная. Компас мы не взяли, надеясь на местные ориентиры. Костёр не разводили, потому что в спичечном коробке осталось всего несколько спичек, которые к тому же отсырели. Оставили их на самый крайний случай. Каким-то звериным чутьём всё же вышли к охотничьему зимовью, расположенному невдалеке от нашего лагеря. В этом месте река с шумом бежала между двумя утёсами. Перейти её можно было только по перекинутому бревну. Под ногами адский грохот и бешеный поток воды, но всё кончилось благополучно. Мы по очереди перешли реку по бревну и вскоре были уже дома, вымокшие до последней нитки. Виталик глотнул из кружки спирта, а я напился горячего чая. Прогулка удалась — мы не разбились в горах и не утонули в речке.

В первой половине июля на перевал прилетел Серёга Фионов. Он долго шаманил с мёртвым тахеометром, но всё было тщетно. Инструмент надо было взять для ремонта в Улан-Удэ, и заниматься этим должен был я. Мы попрощались со студентами и сели в вертолёт. Приземлились в Нижнеангарске и быстро перебрались в порт, где стоял недавно арендованный теплоход «Северный». Серёга ещё раз залез в прибор, но всё было тщетно. На следующий день я на теплоходе «Заря» добрался до Ангаракана, откуда рейсовым самолётом вылетел с тахеометром в Улан-Удэ. В городе на такси из аэропорта добрался до общежития и постучался в дверь. Открыла какая-то девушка. Я, пыльный, грязный и взлохмаченный, ввалился в комнату вместе с рюкзаком, тахеометром и аккумулятором. Девушка испуганно отступила. Мы немного поговорили, а тем временем в комнате появилось небесное создание по имени Оля. Обе девушки были студентками-практикантками. На время практики их поселили в наше общежитие. Весь вечер мы болтали и пили чай. Утром я отправился в контору экспедиции, и в тот же день выехал на поезде в головное предприятие в Читу, где в обмен на неисправный немецкий тахеометр ЕОТ-2000 получил вполне исправный, но дубовый советский светодальномер 2СМ2. По возвращении в Улан-Удэ съездил на специальный «базис» и определил там постоянную поправку дальнометра. Вечером отправился в 18-й бар. Чувствовал себя там настоящим медведем... От шумного светского общества я совершенно отвык. Накануне отъезда получилось так, что я остался с Ольгой наедине. Обнаружил в ней тонкую душу и эффектную внешность — рыжие волосы, большие глаза и смущённая улыбка. Мы провели эту ночь вместе, раз за разом взлетая к седьмому небу под раздиравшее сердце хриплое

пение неведомой мне певицы, а в семь утра я уже летел в небе реальном — сидя в самолёте. На душе было неимоверно тяжело, всё внутри сжималось... Судьба подарила такую божественную встречу, а тут надо улетать к чёрту на кулички. Больше мы никогда не виделись.

На перевале дни опять потянулись один за другим. Сходили с Геной Гиенко на рыбалку вверх по Холодной, поймали с десяток хариусов. А в целом... дни не дни, а серые будни. Для меня они вообще были чёрными. Привезённый из Читы светодиодно-номер сразу же начал барахлить — то сбрасывает десятки метров, то у него садится аккумулятор. Кончилось дело тем, что все стороны теодолитных ходов я измерил 50-метровой мерной лентой.

Мимо нашего лагеря чуть ли не каждый день проходили туристы, в основном направлявшиеся для сплава к реке Чая. Был народ из Киева, из Москвы, из Воронежа, из Прибалтики... Одна группа альпинистов-любителей совершила восхождение на Иняптук. Мы узнали, что наш табор уже наносят на схемы маршрутов. Туристы нас фотографировали и сочувственно кивали головами.

По вечерам я собирал на окрестных каменистых склонах золотой корень, который, подобно женьшеню, обладает стимулирующим воздействием на организм. Это будет моим подарком родителям и бабушке с дедушкой. К концу июля я закончил, наконец, съёмочное обоснование на Холодненском перевале, перелетел на вертолёт до Нижнего и на попутных катерах добрался до базы Фионова.

Последний месяц лета. Я — морской геодезист! Все подготовительные береговые работы завершены, и мы с Фионовым, разделившись на две бригады, уже несколько дней подряд занимаемся топографической съёмкой дна Байкала. Серёга со своей бригадой работал на «Северном» (этот тип теплоходов имел малую осадку, что позволяло приставать к берегу в труднодоступных местах), а у меня была своя бригада, состоявшая из студентов томского топографического техникума, и свой небольшой экспедиционный катер «Фут», пришедший из Улан-Удэ своим ходом по Селенге. Капитан катера — Леонов, шустрый плюгавенький мужичок из Нижнего, которого мы звали по отчеству — Иннокентьич. Не дурак выпить. Из-за этого у меня с ним постоянно возникали проблемы. Поселились мы в зимовье на мысе Гулакан, на южном участке работ. Как и «Северный», наш катерок не нуждался в пирсе, он мог приставать прямо к байкальскому берегу. У него не было палубы, имелись только узкие выступы по бортам безо всякого ограждения, по которым в любую погоду приходилось ходить, держась руками за корпус и рискуя вывалиться за борт при чрезмерно большом крене.

Леонов, как и все моряки, был очень суеверным.

— Иннокентьич, куда мы идём? — спрашивал я поначалу стоявшего за штурвалом капитана.

— Куда, куда... Раскудахтался! — недовольно отвечал Леонов, не вынимая изо рта беломорину. — Не «куда», а «где».

Ещё запретнее был вопрос «А когда мы придём?». На катере нельзя было свистеть, потому что от этого мог измениться ветер или начаться шторм.

— Насвестишь беду! — предупреждал Иннокентьич, как только до него доносились моё безобидное посвистывание.

Со временем я привык также наблюдать за чайками, заменявшими Леонову барометр. Если чайки сели в воду — жди хорошую погоду. Если ходят по песку — морякам сулят тоску. Иногда это и в самом деле сбывалось.

Во время промерных работ три студента стояли на байкальском берегу, на трёх удалённых друг от друга теодолитных постах, и методом прямой теодолитной засечки непрерывно, один раз в минуту, измеряли местоположение катера. Для развозки этих постов использовалась моторная лодка «Ока» с мотором «Привет», который и на самом деле был с приветом и мог заглохнуть в самую неподходящую минуту. Намного больше котировался надёжный, но дефицитный лодочный мотор «Вихрь». Студентам приходилось нелегко: им часто доводилось часами стоять на каком-нибудь валуне, а на отправление естественных надобностей у них была лишь одна минута между отсчётами. В рубке катера был установлен советский эхолот ПЭЛ-3, оператор которого, студентка Тоня, тоже раз в минуту, по моей команде «Отсчёт», нажимала на кнопку и определяла глубину Байкала в данной точке. В этот момент я наносил на рабочий планшет местоположение катера с помощью угловых отсчётов, переданных мне по рации студентами с берега. Таким образом, планшеты непре-



рывно покрывались сетью точек с известными глубинами и плановыми координатами — по ним зимой будут составлены топографические карты шельфа. По инструкции, мы занимались промерами лишь до глубины 200 метров. Идеальной для нас погодой был полный штиль, но для Байкала это большая редкость. Из ветров нам особенно досаждал северный ветер *верховик* (его ещё называли *ангара*) и южный *култук* — не такой продолжительный, как верховик, но приносивший жестокие штормы и дождливую погоду. Иногда с противоположной иркутской стороны налетала порывистая *горная*. Преимуществом нашей работы с постоянным пребыванием у Байкала было почти полное отсутствие гнуса, которого полным-полно в сибирской тайге. Ветры сдували всю эту мошку вглубь берега. Но иногда по вечерам приходилось надевать накомарники, а в палатках над спальниками устанавливались марлевые пологи. Воду мы пили, зачерпывая её ведром с борта катера или прямо с берега. Она была редкой чистоты и очень вкусной. В противопожарных целях костры перед уходом гасили двумя-тремя мощными струями мочи. Промерные работы часто останавливались из-за непогоды — тумана, шторма или просто высокого волнения. В один из дней на катере погнулся винт, его целый день ремонтировали в Томпе, вытащив судно кормой на берег.

Это надо видеть — раскачивающийся с боку на бок катер готов опрокинуться, со стола на пол летят ручки с линейками, а я, упираясь ногами чуть ли не в борта катера, ежеминутно по рации отдаю команды теодолитным постам. Тоня, оператор эхолота, с трудом сохраняет равновесие на своём высоком стуле. В микрофоне стоит невообразимый треск из-за работающего двигателя. Сквозь шум я едва разбираю показания береговых постов. Начинается мелкий дождь, туман вот-вот отрезет нас от наблюдателей, но катер выходит на новый галс и на всех парах мчит к берегу. Второй галс, третий, десятый... Потом обед на берегу. Иннокентий сварил лапшу по-флотски. Всех качает, головы ещё кружатся, но пора возвращаться на катер. Тринадцатый галс, пятнадцатый, девятнадцатый... Подходим к берегу уже ночью, забираем парней с постов и направляемся к базе. Нас ждёт горячий ужин.

Дни летят с такой скоростью, что мы с трудом удерживаемся на ногах. В шесть-семь утра — подъём. Я встаю сам и поднимаю дежурного. После завтрака и тарирования эхолота (определения поправок с помощью специального опускаемого диска) мы уходим «в море». Иногда начинается нормальная работа, иногда — сплошная нервотрепка. Например, при плохой связи, при которой и жизнь не в радость. Студенты неповоротливые, пока их не подтолкнёшь — шагу не сделают. Все рвутся в свой Томск, ждут не дождутся конца практики. С капитаном тоже отношения натянутые — пьёт горькую. Поставил ему прогул, а он пригрозил, что катер с завтрашнего дня начнёт ломаться. На судне был ещё старший механик Петухов, но капитан сам его списал на берег за то, что тот по пьянке начал стрелять из ракетницы в порту Нижнеангарска. Ездили пару раз на заправку в село Байкальское.

В один из таких переходов через Байкал на «Футе» находились только Иннокентий, стоявший у штурвала с металлической кружкой в руке, в которую он время от времени подливал себе водки из торчавшей из кармана полшубка бутылки, и я, задремавший под мерный рокот двигателя. Волны почти не было, катер медленно, но верно двигался на запад. Вдруг качка увеличилась, звук мотора тоже стал другим. Я проснулся и резко встал на ноги. Мертвецки пьяный капитан лежал на своих нарах, держа в левой руке пустую кружку. Я попытался его разбудить, но не смог. Пришлось самому встать за штурвал. Минут через двадцать на западном берегу я распознал очертания села Байкальского, куда мы направлялись. Управлять катером я не умел, просто вёл его к пирсу с помощью штурвала, лихорадочно соображая, как сбросить ход. В этот момент за моей спиной раздалось хриплое:

— Отойди!

Пришедший в себя Леонов встал за штурвал, и вскоре мы благополучно причалили к пирсу.

У Фионова на «Северном» тоже работа шла не всегда — то команда напьётся в дым, то сломается катер. Я уже предчувствовал, что нам придётся коковать на Байкале ещё очень и очень долго — до осенних штормов. Работы оставалось много. По сути, она лишь только началась.

Первые две недели сентября наш «Фут» ремонтировался в Нижнеангарске. Не



было переднего хода. Студенты-томичи улетели в Улан-Удэ, а я застрял в гостинице в Нижнем. Сходил на концерт цыганского ансамбля «Джанг». После концерта был большой скандал — у цыган кто-то украл гитары и колонки! Я оставил катер с капитаном в Нижнем и своим ходом добрался до Томпы. Там в это время жили рабочий Серёга Балаганский и приехавший из Улан-Удэ молодой техник Паша Рольян. Я занимался камеральными работами, расшифровывая туфту томских студентов. Пару дней подряд на Байкале бушевал шторм с волной до двух с половиной метров — впечатляющее зрелище! В Томпе от причала осталось одно воспоминание. Корову, вздумавшую пастись на крутом склоне, одной из таких волн смыло в озеро, и она мгновенно утонула.

По радио я услышал, что в Молдавии около тридцати градусов тепла. А у нас плюс десять и постоянно моросит дождь. В ожидании «Фута» живём в Томпе, ночуем в палатке. На вкладыш от спальника стараюсь не смотреть. Смутно припоминаю, что он был когда-то белым. Бригада Фионова работает на «Северном» где-то в районе Хакус.

В конце сентября наступило «бабье лето», особенно красивое на участках берега с ярко-жёлтыми лиственными лесами. Но погода была очень изменчивой, с сильными ветрами и частыми штормами. Высота волн доходила в иные дни до четырёх-пяти метров.

В тайге созрели кедровые шишки. Рабочие сбивали их огромными деревянными кувадами, колотя ими о стволы высоких кедров. Шишки собирали в мешок и приносили в зимовье. У Серёги Балаганского была самодельная ручная мельница, с помощью которой он вышелушивал орехи из шишек, после чего отвеивал мусор и сушил собранное таёжное лакомство. Готовые орешки перед употреблением для улучшения вкуса прокаливали на сковородке.

Был на дне рождения Николая Николаевича, нового начальника Томпинской метеостанции. Ему исполнилось 49 лет. Приехал на Байкал с женой из Душанбе, говорит, что на одиннадцать лет — до пенсии. Я играл на баяне русские народные песни, подыгрывая распевшимся местным женщинам. Серёга Балаганский с Пашей перебрали бражки, оба пьяные в доску. Вечер закончился, гости разошлись. Ушли на базу и мы втроём. Балаганский тут же по пьяной лавочке стал куда-то собираться.

— Мужики, я это... на моторке в Хакусы сметаюсь, у меня там подруга ловкая, заждалась, поди.

Серёга выдавал желаемое за действительное. Никакой подруги ни в Хакусах, ни на всём байкальском побережье у него отродясь не было. Мне любой ценой надо было прекратить эту авантюру. Тем временем наступила ночь. Паша начал было перекачивать для Серёги бензин из металлической бочки в бачок, но я его остановил, силой дотащил до палатки и бросил на спальник. Более крепкого Серёгу Балаганского остановить было труднее. Он, как зомби, направился к лежавшей на прибрежной гальке лодке, я пытался его остановить — сорвал полшубок, рубашку... Всё тщетно — Серёга уже у самой лодки. Я пнул его и повалил на землю, Серёга тут же бросился на меня с кулаками. В лунном свете произошла короткая потасовка, мы обменялись ударами, но остановить разъярённого рабочего мне не удалось. Ощупывая разбитую губу, я чертыхнулся, пошёл к палатке и лёг спать. Через несколько часов в палатку вернулся и Балаганский, на удивление трезвый. Оказалось, что он столкнул моторную лодку с берега и, не сумев завести мотор, на вёслах отошёл метров на сто от берега, после чего заснул. Всё бы ничего, но по пьянке наш донжун забыл закрыть кингстон — сливное отверстие, и лодка постепенно наполнилась водой. Серёга проснулся и в панике начал грести к берегу, вычерпывая на ходу ладонями воду. Хмель мгновенно улетучился. Утром мы посмотрели друг на друга и расхохотались. У Серёги разбит нос, а у меня — губа, плюс красуется синяк под глазом.

«Фут» вернулся с ремонта в первых числах октября. Мы вновь поселились в зимовье на Ширильдах. Немного поработали и опять пошли в Нижний, на этот раз на заправку. Встретил там Фионова и Татьяну Постолову. «Северный» надолго вышел из строя, и они занимались арендой теплохода «Курлы» (принадлежавшего к тому же типу «Ярославец»). Было ясно, что с одним моим «Футом» съёмку планового

участка мы не закончим.

В октябре погода была очень неустойчивой. В один из осенних дней, когда мы только-только отработали восемь галсов, вдруг налетел сильный ветер. Мы еле успели снять парней с теодолитных постов и пошли в сторону базы. Я стоял на корме катера, когда он вдруг резко накренился на левый борт. Плохо закрепленный ящик полетел на меня, я еле успел ухватиться за боковой поручень. Волны швыряли наш крошечный «Фут», как ореховую скорлупу. Когда на моторной лодке мы высаживались на берег, высокая волна подхватила её и бросила на береговую гальку. Рации и полевые сумки оказались в воде, но их удалось подобрать. Штормило всю ночь.

...Середина октября. Мы сидим на берегу и ждём у моря погоды. Мне осталось промерить каких-то 70 галсов, а Байкал всё никак не уговорится. Потом немного поработали, и опять пришлось идти в Нижний на заправку. С соляжкой проблемы, дал капитану червонец, после чего, наконец, заправились, но тут с юга подул култук. Фионову и Постоловой удалось арендовать «Курлы». Для экономии топлива мы прицепили к нему тросом наш «Фут» и вместе отправились в Томпу через штормовой Байкал. Ненадолго зашли в соседний Северобайкальск, где впервые за долгое время пообедали в настоящей столовой. Шторм не утихал, но у нас не было выхода — мы вышли из порта. Трос несколько раз обрывался, и «Футу» приходилось заводить двигатель, чтобы не перевернуться. Прошли мимо Байкальского. Усилившийся ветер не переставал, к тому же стемнело. В очередной раз оборвался трос, и нам с Иннокентьевичем пришлось идти дальше своим ходом. Быстроходный «Курлы» быстро исчез в темноте, а мы поплелись через весь Байкал в сторону базы. Переход через штормовое озеро занял четыре часа, к Томпе подошли ночью. На следующий день перешли в губу Ширильды и там переждали шторм.

Последние дни октября мы жили в Хакусах, в комнате нашего старого знакомого, лесничего Жени. Ловили каждую погожую минуту для того, чтобы закончить, наконец, катерный промер — и сделали это. Наскоро выполнили требуемые по инструкции шлюпочный промер и грунтовую съёмку. Потом я с капитаном на «Футе» ушёл в Нижнеангарск, где долго хлопотал, чтобы поставить катер на прикол до следующего сезона.

27 октября на грузовом самолёте Ан-26 я перелетел из Нижнего в Улан-Удэ. Позади семь месяцев полевых работ, впереди — полная неизвестность. В экспедиции появился на следующий день, не утром, как положено, а после обеда. Попался на глаза главному инженеру Каленицкому, который пригрозил поставить мне за опоздание прогул в счёт отпуска, лишит тринадцатой зарплаты и отправить снова в поле. Это было время андроповских мер по укреплению дисциплины.



Владимир ЯРАНЦЕВ

ЛИТЕРАТУРА СИБИРИ ИЛИ СИБИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА?

О путях развития региональной литературы

Еще летом в нашей областной библиотеке начали говорить о предстоящих в октябре мероприятиях в честь писателя Анатолия Иванова (1928—1999), который почти десять лет своей жизни связал с Новосибирском и Новосибирской областью, написав здесь свои классические «Алкины песни», «Повитель» и «Тени исчезают в полдень», проработав с конца 50-х до начала 60-х в «Сибирских огнях», а уехав в Москву, опубликовал там «Вечный зов» и закончил свой жизненный путь редактором журнала «Молодая гвардия».

Ближе к дате Чтений меня как специалиста по сибирской литературе попросили выступить на них, особо не стесняя в тематике и содержании доклада, но имея в виду все-таки творчество А. Иванова. Итогом моих размышлений и явился ниже публикуемый текст, оказавшийся некоей рефлексией по поводу того, что сибирская литература по сути своей склонна к большим жанрам и даже очень большим (большой территории — большая литература), вплоть до эпопей. Революция и советская эпоха, с ее лозунгом «переделки» общества и человека и склонностью к монументальности, нашли в Сибири особо благодатную почву, отчего и выросли тут щедро эпопеи сибиряков Е. Пермитина, К. Седых, Г. Маркова, С. Сартакова, А. Коптелова, Н. Задорнова, П. Далецкого, В. Балябина, А. Чмыхало и др. Долгоиграющее чтение!

Сейчас увидеть кого-нибудь читающим эпопею немислимо: наше время — коротких жанров, кратчайших, «эсэмэсочных». Меня же увлекла мысль о соразмерности огромной, малоисследованной Сибири и литературных произведений о ней, потенциально эпопейных в первую очередь потому, что они сибирские и только потом уже — по объему, количеству страниц.

Первые Ивановские чтения 17—19 октября оказались, однако, чтениями не только А. Иванова, но и Вс. В., Вс. Н., В. Ф. и Е. Ф. Ивановых. Отметив изобретательность организаторов Чтений, радеющих о сибирской словесности и ее славных литературных династиях, я не мог не отметить и другое — очевидную нестыкуемость означенных имен. Судите сами: патриот-«почвенник» Анатолий Степанович, диссидент и мастер-виртуоз слова, одного калибра с Булгаковым или Леоновым, Всеволод Вячеславович, исторический романист с богатой биографией бывшего «колчаковца» и эмигранта-«харбинца» Всеволод Никанорович и два чистых «провинциала» — «томский Островский» (инвалид) Вадим Филиппович и газетчик-очеркист с огромным стажем работы в «Советской Сибири» Евгений Филиппович с псевдонимом «Филиппыч».

Такой поворот событий — А. С. Иванов как частный случай плеяды Ивановых в сибирской литературе, меня, естественно, озадачил: доклад мой представился мне узким и даже претенциозным. Тем более что среди собравшихся было много гимназистов-старшеклассников, педагогов, краеведов, словом, практиков сибирской литературы, а не ее историков и теоретиков. Это показала и программа Чтений: на пленарном заседании больше рассказывали, чем докладывали — писатель Г. Прашкевич о жизни и судьбе Вс. Н. Иванова и личном своем знакомстве с ним, учитель Новосибирской гимназии № 17 Л. Яковлева о воспитательной роли сибирской литературы, вернее, некоторых ее представителей, особенно А. Кухно, искусствовед П. Муратов о знаменитом в Новосибирске художнике Н. Грицюке, начинавшем с сотрудничества с Домом моделей, чьи работы в журналах мод конца 50-х — начала 60-х гг. были показаны оживившейся публике.

Видимо, поэтому — т. е. чтобы внести в свой не очень-то просветительско-педагогический доклад разнообразие и тон живой беседы — я и прибавляю к нему автокомментарий в виде примечаний к затронутым в тексте проблемам и именам.

На I съезде Союза сибирских писателей в 1926 г. известный сибирский прозаик Исаак Гольдберг сказал, что «сибирские литераторы и поэты начинают писать... по-сибирски, исходя из данных условий сибирского быта и его особенностей, без пропаганды и дидактики, а всецело охваченные сибирской стихией и ей подчиненные». При этом как пройденные этапы он назвал способы писать, во-первых, «о Сибири (этнографически)» и во-вторых, «для Сибири (проповедь областничества)». Сейчас, в современном сибирском литературоведении, это бы назвали 1) «внешней» точкой зрения — путешественника, ссыльного, любого не-сибиряка, смотрящего на Сибирь как на нечто экзотическое, внешнее, подмечающего только «диковинки», и 2) «внутренней» точкой зрения — самого сибиряка, постоянно живущего в Сибири, почвенно-территориально, общественно-политически и психологически (впечатления, особенно детские, «инстинкты» — неосознанное переживание своей связи с краем) связанного с ней. Или — авторские установки «*outside*» и «*inside*» [1].

Обе точки зрения в середине 1920-х гг. уже ощущались принадлежащими истории сибирской литературы: сам И. Гольдберг был членом лит. группы «Молодая Сибирь», писатели которой находились под влиянием Г. Потанина, главы сибирских «областников» с 1860-х гг. Именно Г. Потанин в статье «Роман и рассказ в Сибири» (1876) писал, что Сибирь нуждается в «настоящем тенденциозном романе», сибирском, а не с «пересажеными на почву европейской России» «воспоминаниями из сибирской жизни», как это произошло с романами И. Федорова-Омулевского «Шаг за шагом» и И. Кушевского «Николай Негорев». Началом сибирской беллетристики он считал книгу рассказов Н. Наумова «Сила солону ломит», главным достоинством которой являлось «верное изображение крестьянской жизни». Пожалуй, именно это — открытие приоритетного изображения *крестьянства как подлинного носителя и выразителя не только областничества, а и Сибири и сибирской жизни в целом*, станет главным для дальнейшего развития романа в Сибири. Сам же вождь сибирского «областничества» Г. Потанин сделал попытку написания такого идеального романа — «Тайжане» (1872), где его герой Ванькин должен был представлять тип областного интеллигента, остающегося на родине, в Сибири, вопреки герою И. Омулевского Светлову, наоборот, покидающему Сибирь. Но «Тайжане» остались неоконченными и ощущались явной иллюстрацией к «областным» идеям [2], тогда как «Шаг за шагом» с его «внешней» точкой зрения на Сибирь стал одним из самых популярных романов не только в Сибири.

Таким образом, скоро стало ясно, что жесткая идеологическая установка только на «внутреннюю», областническую точку зрения, ведущую к тенденциозности в художественном творчестве и изоляционизму в общественно-политическом аспекте, вряд ли являлась хорошим стимулом для развития литературы и лит. процесса в Сибири. Наиболее продуктивным было *объединение обеих точек зрения*, то, что И. Гольдберг назвал «писать по-сибирски», т. е. не только «о» или «для» Сибири, а свободно, в соответствии со своим ощущением Сибири, без кем-то продиктованного противопоставления обеих точек зрения.

Так произошло с многотомным романом Г. Гребенщикова «Чураевы», в 1-м же томе которого уже не было «областной» антитезы «Сибирь — Центр», а «сибирская локальность пыталась *открыться миру, влиться в него*», — пишет современный сибиревед К. Анисимов. Последующие тома романа показывают этапы этого постепенного «открытия миру» героя романа: от «старой патриархальной России» к «семилетним поискам всечеловеческого блага Василием Чураевым» «в долине подвига и искуплений», прохождение через искусы «велений земли», испытания мировой войны. Всего таких «этапов»-томов в замысле было 12 — «ступеней ко храму мира всего мира». Последняя должна была увенчаться построением у подножия горы Белухи «Храма объединенных вер».

«Чураевы», как и «Тайжане», остались незаконченными, в том числе и «благодаря» теософскому космизму мировоззрения автора [3]. Возможно, еще и это повлияло на высказывание И. Гольдберга, который был соратником Г. Гребенщикова по «Молодой Сибири», что надо писать «без пропаганды и дидактики», найдя *меру «о» и «для» Сибири*, чтобы не стать жертвой той или иной идеологии. Опыт последующих поколений советских романистов середины XX в. убеждает, что только на этом пути можно было достичь творческих удач, сделав *коммунистическую идеологию только «внешней» точкой зрения, «outside» по отношению к основной, «inside», неизменной во все эпохи и времена*, — «внутренней», но без «внешней» все же однобокой, одномерной.

Это видно на примере романов Е. Пермитина «Горные орлы» и «Жизнь Алексея Рокотова», в которых налицо все черты «областной» эпопеи, если отстраниться от «внешней» точки зрения. Особенно если сравнить первую публикацию романов, вошедших в «Горные орлы», — «Капкан» и «Когти» — с поздним, адаптированным под соцреализм вариантом. Явными вставками ощущаются «идеологические» абзацы, вроде этого: «Зурнин убедил молодых комму-

нистов в незыблемости основного закона советской жизни: большевики все могут преодолеть, нужно только смело направить слитую воедино силу к ясной цели». Доказывает это и яркая языковая ткань первой публикации с большим количеством областных сибирских речений [4]. А автобиографическая «Жизнь Алексея Рокотова», большая часть которой посвящена дореволюционной жизни героя, близка заветам Г. Потанина и Н. Ядринцева о воспитательном значении художественной биографии областнической интеллигенции, остающейся на родной земле или возвращающейся на родину из Центра, как это видно из биографий П. Словова или П. Ершова. А главное то, что героями этих эпопей Е. Пермитина, особенно первой из них, являются сибирские крестьяне, представители такого областного типа, на который обращали внимание Н. Ядринцев и Г. Потанин, как *старообрядцы*.

А. Иванов в трех главных своих романах «Повитель», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» также сделал *главными героями крестьян*, и опыт Е. Пермитина он, конечно, имел в виду. Тем более что они были земляками: оба родились в Казахстане — Пермитин в Усть-Каменогорске, А. Иванов — в с. Шеманаиха, вблизи Алтая. В очерке о нем 1971 г. А. Иванов отметил то, что самому ему, несомненно, было близко: образы старообрядцев Селифона, Марины, Орефия, Марфы, олицетворяющих *«мощь и высокую вековую нравственность своего народа»*. А. Иванов называет их *«самобытными, отвечающими на главный вопрос, встающий когда-то перед каждым: “В чем смысл жизни?”»*, чтобы тем самым *«показать весь настезь распахнутый мир»*. «Областническая» точка зрения на произведения с такими очевидными признаками «областного романа», имеющими явно сибирскую почву («вековая нравственность», «самобытные характеры»), но не замыкающимися на своей «локальности» (поиск смысла жизни, «распахнутость» миру), тем не менее, относит их к *«советским ложным эпопеям»*, героизирующим не консолидацию народа, а братоубийство и геноцид, «освобождение от национальной идентичности», пафос «покорения природы» (А. Казаркин).

Менее пристрастное прочтение, на фоне истории сибирской литературы, убеждает, что романы лучших писателей советской эпохи, в том числе и А. Иванова, *принимали советскую идеологию как «внешнюю» точку зрения*, по крайней мере, как не-сибирский, отстраненный взгляд на сибирский материал, хотя *попытки сделать такую точку зрения «родной», сибирской, попытки честные, искренние, несомненно, были* [5]. Но, как правило, согласно художественной логике произведения, такая точка зрения

выполняла сюжетную роль. Например, в линии противостояния «белых» и «красных», где приоритет оставался за «красными», но в конечном итоге главным был поиск героем смысла жизни, независимо от принадлежности к тому или иному лагерю или классу. Так, в «Вечном зове» *«белый» поначалу Иван Савельев переходит к «красным», а «красный» Федор Савельев — к «белым», служившим у гитлеровцев во главе с бывшим жандармом Лахновским. Характерно, что к лагерю «красных» принадлежит и предатель Полипов, который, однако, смысла жизни не ищет, а только спасает свою «мелкую» жизнь. С другой стороны, лагерь «красных», коммунистов, олицетворяет Поликарп Кружилин, смысл жизни которого — в *поддержании социума, крестьянского, деревенского «мира», в состоянии естественного равновесия* не идеологически, а нравственно. Не зря он говорит, что каждый должен иметь «среди людей свое, человеческое место», и *«извечный зов жизни» его к этому обязывает*, если его он «ощущает в себе постоянно». Характерно и то, что главную идею романа, по сути, авторскую точку зрения, выражает в своем предсмертном монологе не кто-нибудь, а чекист Яков Алейников: «Между светом и тьмой, истиной и несправедливостью, добром и злом идет постоянная борьба — страшная, беспощадная, безжалостная... идет постоянно и во всех формах, большей частью скрытых».*

В соответствии с сюжетом романа, Алейников относит начало открытой борьбы со злом к июню 1941 г., т. е. к войне. На самом деле, на наш взгляд, *основной для А. Иванова остается тема гражданской войны*, которая выявляет, чего стоит каждый человек в данном социуме, к миру добра или зла (а не к «белым» или «красным») он принадлежит. Но и здесь нет готовых решений. Не зря особенно удался А. Иванову такие сложные характеры, как Фрол Курганов из «Тени...», который «говорит не то, что хочет и вообще запутался»; это богатырь с недюжинной силой, внутренне человеческий, но «внешне» служивший орудием зла братьям Меньшиковым, Устину и Пистимее Морозовым. Кстати, эти пришельцы из европейской России, организовавшие секту иеговистов, являются, на наш взгляд, отзвуком изображения старообрядцев у Г. Гребенщикова и Е. Пермитина, у последнего в романе встречается старообрядка по имени Пистимея. Это яркий пример того, как негативный образ врагов советской власти играет сюжетную, почти детективную роль с публицистической функцией разоблачения заговора против СССР. Интересно и то, что сюжет казни посредством перепиливания жертвы пилой — то, что сделали бандиты с Алейниковым, перекликается с эпизодом из деяний сибирс-

кой банды Рогова, бывшего «красного» командира времен Гражданской войны.

Возвращаясь к внеклассовой подоплеке сути происходящих в романах А. Иванова событий, можно сравнить концепцию «Вечного зова» с концепцией «Тихого Дона», которую ведущий современный сибиревед А. Казаркин считает отличной от «советских ложных эпопей»: «Мироощущение его (М. Шолохова. — В. Я.) в глубине не было революционным, иначе не уделил бы он столько внимания народной жизни, не получился бы трагическим герой». Очевидно, эти же слова можно отнести и к эпопее А. Иванова, где нет «героизации» ни «геноцида», ни «братоубийства», а конфликт между братьями Иваном и Федором, символизирующий конфликт внутри членов социума, лежит не в идеологической, классовой сфере, а в нравственной [6]. С другой стороны, в романах А. Иванова действительно много жестокости и натуралистических описаний — «купеческих разгулов, белогвардейских и кулацких зверств, фашистских изуверств». Но это относится к области художественного метода А. Иванова, склонного к «художественному сгущению, преувеличению, обострению, заострению и жизненных ситуаций... и самих действующих лиц», что делает «правду жизни рельефнее, эстетически убедительней» (А. Овчаренко). С другой стороны, так диктовал писателю самый настоящий, исконный сибирский реализм с его необузданной стихийностью.

В этом же стихийном реализме кроются источники многожанровости сибирской прозы. Так, в «Чураевых» Г. Гребенщикова можно найти элементы романа-хроники, семейного романа, романа воспитания, философского романа и даже романа-мистерии [7]. И так не только в близких по времени произведениях большого жанра, как в «Угрюм-реке» Вяч. Шишкова, но и в романах И. Калашникова 1830-х гг., называвшего себя автором «первого сибирского романа», экспериментального по своей сути, соединившего в себе «сведения о Сибири», «картины изображения Сибири» с «воображениями и мечтаниями», с опытом исторического романиста В. Скотта, объединившего романтизм и этнографизм. Это показало, что и в беллетристике можно сочетать не только «внешнее» (экзотизм) и «внутреннее» (областничество), «литературу о Сибири» и «сибирскую литературу», но и разные жанры и стили.

Это продемонстрировал в те же 1830-е гг. П. Слозцов в своем «Историческом обозрении Сибири», жанр которого определить затруднительно: это и энциклопедия сибирской жизни XVII—XVIII вв., и единое повествование с ярко выраженным авторским голосом и лирическими отступлениями

в стиле и жанре эссе, и синтез разнообразных знаний (географических, этнографических, исторических, о животном и растительном мире) на уровне синкретическом, «радуга» жанров (В. Крещик), так и не откристиализовавшаяся в какой-либо жанр. Т. е. уже в дообластнической литературе можно увидеть зачатки того жанра сибирской эпопеи, которая способна и на широчайший размах изображения, и на глубинное исследование Сибири, ее недр, истории, ее людей (раздел «Замечательные лица» в «Историческом обозрении»), и на оригинальные художественные решения. Здесь П. Слозцов опирался на своего предшественника Г. Миллера, «писателя сибирской истории», который был в одном лице и собирателем материалов, и повествователем, создавшим единый текст «Истории Сибири».

Романы А. Иванова, таким образом, тоже являются своего рода «обозрениями» Сибири. И этот жанр, может быть, объясняет их эпопейность с большей точностью, чем термин «эпопея», отсылающий к чисто европейской традиции, Гомеру или Л. Толстому, к новой традиции XX в. М. Горького и Л. Леонова, вплоть до А. Солженицына [8]. Так как именно в понятии «обозрения» «внешнее» — роль государства (М. Сперанского) в упорядочении Сибири, и «внутреннее» — собственно история Сибири, органично соединяются еще у П. Слозцова, до того, как «областники» выдвинули на первый план только «внутреннюю» точку зрения. Это не означает, однако, что «областническая» программа развития сибирской литературы оказалась утопической или тупиковой. Как подчеркивает А. Казаркин, сейчас возрождение «областнической» литературы, т. е. создаваемой в провинции, могло бы выполнять функции «хранителя национально самобытной традиции», проявившей себя ранее в так называемой «деревенской литературе» в 60—70-е гг., которая препятствовала бы «процессу вестернизации, достигшей своей предельной отметки» [9]. В то же время сибирские эпопеи, далеко не «ложные», сыгравшие свою роль в неоднозначное советское время, показывают, насколько важен был их опыт синтеза разных точек зрения, выводящий автора и его героев из поля жестко заданной альтернативы: «литература Сибири» или «сибирская литература». Это доказывает и опыт главного «областника» в литературе Г. Гребенщикова, и наиболее несветского из крупных писателей советского времени Л. Леонова с его «Пирамидой», как оказалось, по-своему использовавшего рерихианство и тему мировой духовности на пороге Апокалипсиса [10]. Романы А. Иванова, несомненно, внесли свой вклад в эту большую «пирамиду» отечественной литературы.

Автокомментарий

1. Не секрет, что Сибирь часто сравнивали с Америкой с точки зрения темпов и границ колонизации, климата и литературы, градостроения и архитектуры (вспомним «СибЧикаго» — прозвище бурно строившегося Новосибирска в 20-е гг.) и проч. Что, действительно, имеет свои резоны. Неудивительно поэтому, что сибирская регионалистика, сбросив путы советского запретительного литературоведения, начала ссылаться на работы американских специалистов, работавших в том числе и на материале Сибири. Оттуда же взят и не менее красивый и популярный сейчас термин «фронтир», на очереди, видимо, другие понятия американской регионалистики. И в добрый путь, ведь еще «областник» Н. Ядринцев, побывав в Чикаго, мечтал написать книгу «Сибирь и Америка». Нет, совсем не ради красивого словца входят в лексикон сибиреведов эти американизмы.

2. Впрочем, те, кто открывает «Тайжан» (Томск, 1997), наверняка оценят стиль произведения, сродни популярной тогда сатирической фельетонистике а ля Салтыков-Щедрин: «Европеизм в Семиизбянске состоял только в том, что приапические наклонности разных туземных и навозных (приезжих. — В. Я.) павианов получили утонченное разнообразие и создали из местной жизни какой-то гротеск сластолюбия, состоявший из соединения афинских ночей с бухарским батчаизмом». Но вряд ли определятся они с оценкой Ванькина, как не могли определиться с ним сам Г. Потанин и горячо сочувствовавший «Тайжанам» Н. Ядринцев, ставший, по сути, соавтором планируемого романа. Герой Г. Потанина казался ему «бледным», годным только на роль «аксесуара», «юноши, полного надежд»; он не нигилист, не Базаров или Волохов, а «впечатлительный юноша, наивный дикарь, не знающий практической жизни, дитя тайги». Н. Ядринцев же сопоставил его с Гуроном из одноименной повести Вольтера, с «дикарем-канадцем», «чистой натурой среди цивилизации». Не зря Г. Потанин писал, что Ванькин (в самой этой фамилии есть что-то простоватое, недалекое) — «карым», т. е. «иноходец», метис с преобладанием азиатских кровей. Интересно, что так же он назвал и П. Ершова, который «с одной поэзией... собирался совершить чудеса в Сибири», но был в ней «фразером», «сочинителем пустых, бессодержательных стихов», человеком с «ленивым характером», робким перед начальством. Такой Ершов — почти что Ванькин: «народ создает миф» о нем как «посланнике свыше», но пока он только произносит «речи о самопожертвовании».

3. Г. Гребенщиков хотел видеть роман непременно в виде некоторой геометрической конструкции: «эпопея “Чураевы” должна представлять собою одну структуру»; в шести уже написанных томах, пишет он в предисловии к 7-му тому «Океан багряный» (1937), «как бы накапливается материал для того, чтобы окончательную сводку его произвести в последних трех», на пути к выполнению «взятой на себя сложной и ответственной задачи». Оговариваясь, правда, что он всегда «прислушивается к голосу самой правдивой художницы — жизни», а свою эпопею называет «беспристрастной летописью», «свободной и независимой от влияния тех или иных течений». Но задание тяготело, ибо автор уже не «Чураевых», а «Писем с Помперага» (к тому времени знакомство с Н. Рерихом уже состоялось) писал в апреле 1927 г.: «Нужно сделать какое-то усилие всеобщей воли и поверх всего слитком человеческого... — объять дерзанием и ринуться во всеоружии всех техник, всех наук, всех творчеств, ринуться на поиски очевидного, неслыханно-прекрасного, невыразимо-справедливого и, главное, Единого для всех Бога и Учителя». И лишь спустя почти сорок лет Г. Гребенщиков изжил эту ересь, загладив грех экуменизма «крестьянской автобиографией», повестью «Егоркина жизнь», ставшей подлинным завершением его 9-томных «Чураевых».

4. Из «Сибирских огней», 1929, № 2: «Селифон рванул за обмызанную, сучковатую от узлов веревку, и мех пыхнул, как корова, обвешаясь мякыни»; «Широко распахнув азиям, навстречу верховой потяге, с выбившейся из-под шапки прядью волос, шагает Селифон, не чувствуя полуторапудовой заплечницы»; «Чарусы бездонные, капканами раскинувшиеся на обманчивых зеленях луговин, смрадно вздыхают черной пучиной, оберегая такую же бездонную темь кержашского быта».

5. Например, в романе другого сибиряка, красноярско-саянского — Сергея Сартакова «Хребты Саянские» (1954). Обращает внимание рекордная длительность создания романа — 18 лет! Как признается сам автор, так много времени ему понадобилось для изучения исторических материалов, посвященных зарождению большевистского движения в крае накануне революции 1905 года. Но можно представить, сколько усилий приложил писатель, чтобы гармонизировать большевистское «нетерпение» подрывной работы с показом сибирской жизни рубежа XIX—XX веков. Для этого пришлось взять из многообразной тогдашней жизни фигуры и факты подиозней: трактирщика Митрича, гибнущего от своей жадности на порогах таежной реки, подлеца и интригана по

кликче Лакричник, фельдшера и любителя сочинять кляузы и т. п. Да и главного героя романа Порфирия Коронотова едва не погубило пьянство и ревность к жене, пока он не стал революционером. На склоне лет своей большой, 97-летней жизни (род. в 1908 г., ровно на 20 лет старше А. Иванова), С. Сартаков, вспоминая в своей книге «Казусы и курьезы на долгом пути» (2003) о своем первом походе в тайгу, первой охоте и рыбалке «с лучом», первом походе в Саяны и т. д., вспомнил и о встрече с таежным отшельником Порфирием, оставившим «след в душе на всю жизнь» и давшим жизнь его роману. «В конце 1930-х гг. <...> я изучил архивные материалы о развитии революционного движения в Сибири и соединил их с той старой таежной драмой, которая была изображена у меня как драма общественная». Так родятся эпопеи. Но как же трудно дается это «соединение» и оправдание «общественного», идеологического, какой ценой! В предисловии к 6-томнику С. Сартакова 1978 г. А. Борщаговский писал о «плоскостных, иллюстративных формах» в рассказах о Втором съезде РСДРП или деятельности рабочих марксистских кружков, или в «несколько топорливой» отсылке автором в тюрьму жены Порфирия Лизы, тоже будущей революционерки. Сибирские романисты-«эпопейщики» были в этой «соединительной» работе поистине титанами лит. труда, действительно, «неподъемного». Больше на такой труд С. Сартаков не отваживался, да и времена потом пришли совсем другие, не эпопейные.

6. Жанр эпопеи скомпрометировала советская трескучая риторика 40-50-х гг., взывавшая к монументальности и массовидности (изображение социально-исторического «потока»), отраженная «грандиозности переворота и преобразованиях во всех областях жизни многомиллионного народа» (А. Упит), заставляя вспомнить, что «эпопея» — от «эпохи», т. е. от Октября 1917 г. 60-е гг. заставили вспомнить о другом — об эпической личности, открытой еще Л. Толстым, которая никак не хотела быть только «частицей революционной массы» (М. Кузнецов) и вообще укладываться в соцреалистический канон. Г. Белая связала переворот в советском литературоведении в эти «оттепельные» годы с М. Бахтиным и его идеями о полифонизме и диалоге, «другом» и «чужом» сознании. И, понятно, забыв о феномене «деревенской прозы», остро реагировавшей на «дефицит духовности» и «ориентированной на поиск глубинных опор духовного существования», «символов Вечного» в «данном жизненном материале» (Н. Лейдерман). Вот тут-то бы и вспомнить М. Бахтина и его мысли о «развитии идил-

лии семейно-трудовой, земледельческой или ремесленной» в «областническом романе», где «самый жизненный процесс расширяется и детализируется, в нем выдвигается идеологическая сторона — язык, верования (вдобавок сильно идеализированные)». Пишет М. Бахтин это, касаясь «идиллического хронотопа в романе», главным образом на материале иностранной литературы, чего словно не заметили современные сибиреведы, сочувственно цитирующие это «областническое» место в работе литературоведа о «Формах хронотопа» в романе. Но как убедительны эти слова на фоне расцвета «деревенской прозы» в начале 70-х, когда эта работа 1937 г. была впервые издана достаточно массовым тиражом году в 1975-м!

7. Впрочем, «внешняя» точка зрения, замкнутая на сугубый европеизм в литературе и зачастую грешившая снобизмом по отношению к окраинной литературе, таких граней в эпопее Г. Гребенщикова не заметила. З. Гиппиус (А. Крайний), например, походя, говоря об И. Бунине, назвала Г. Гребенщикова «серым повествователем-этнографом». Автор солидной «Русской литературы в изгнании» Г. Струве, поместив Г. Гребенщикова между С. Минцловым и М. Арцыбашевым, упирал на «безвкусию» его прозы и еще на «потуги на дешевый символизм», утверждая, что «вклада в русскую литературу его эпопея не составит». В эмигрантскую (русского зарубежья), которой посвящена книга, — может быть, и нет. А для сибирской она весьма симптоматична. Хоть и служит пока лишь противоядием «советским ложным эпопеям».

8. «А. Солженицын и сибирская литература» — тема сравнительно новая и потому плодотворная. Начата еще в середине 60-х отзывами об «Одном дне Ивана Денисовича», например, Н. Яновского («в повести А. Солженицына речь идет о живом русском мужике, порожденном условиями его существования»), и продолженная творческими и личными отношениями В. Астафьева и В. Распутина с А. Солженицыным. Своим «Матрениным двором» (1963) он, как считается, дал старт «деревенской прозе» как мощному течению в отечественной литературе. Кстати, самих писателей-«деревенщиков» он предпочитал называть «нравственниками», т. к. они возрождали «традиционную нравственность», имея «вымирающую деревню... лишь естественной наглядной предметностью» («Слово при вручении премии Солженицына В. Распутину»). Сам А. Солженицын был таким «нравственным» в эпопее «Архипелаг ГУЛаг» и суперэпопее «Красное колесо», где попытался сделать героем своего 10-книжия саму Ис-

торию, уравнивая «верхи» (Николай II, Керенский, Ленин, «думцы») с «низами» (Лаженицыны, Благодарев, Кирпичников) — всего более 700 персонажей! — в особых жанровых образованиях, «узлах». Это, правда, усугубило субъективность романа, гипертрофируя роль автора в отборе материала и его преломлении в свете славянофильства К. Леонтьева, И. Ильина и др. Бремя «Красного колеса» оказалось для А. Солженицына куда тяжелее «Хребтов Саянских» для С. Сартакова, стоит почитать его дневник «Р-17». Степень политизированности, призванной опровергнуть советские исторические схемы и каноны, тут запредельна. А вот сибирская точка зрения Г. Гребенщикова, «внешняя» всякой политике, как это свойственно подлинным сибирякам: «Если бы идея социализма, по существу своему идея истинно христианская, не была убита ее последователями при первом их насилии, при первой выпущенной ими капле человеческой крови, — конечно, социализм мог бы иметь место только среди русского народа. И лишь у русского народа открываются широкие возможности явить силу своей мило-

сти хотя бы на тех же непочатых просторах Сибири, среди еще не окончательно исчезнувших ее коренных племен» («Моя Сибирь»).

9. Вестернизации, т. е. «озападнивания» отечественной литературы, вряд ли надо бояться. В какой-то мере она даже необходима, как голубая царская кровь нуждается в периодическом притоке протонародной (и наоборот), а реализм — в разумной дозе постмодернизма. Консервация, ставка только на сибирскую локальность чревата лит. инцестами, ложной гордостью «великосибирероссов». Боязнь Запада рождает чудовищ, как монолог заклятого антисоветчика Лахновского в «Вечном зове» А. Иванова о заговоре против СССР, точь-в-точь повторяющий пресловутый «план Даллеса» по уничтожению страны. Поэтому принцип «открытости миру», максимальной широты кругозора, явленный «Чураевыми», необходим каждому автору эпопей подлинных, а не ложных.

10. Статья Н. Витовцева «“Пирамида” ведет на Алтай» (Сибирские огни, 2013, № 5), на наш взгляд, доказывает это вполне убедительно.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ ГАЙТО ГАЗДАНОВА

К 110-летию со дня рождения писателя

Литературная карта России в последнее время не просто расширилась, а во многом поменялась — за счет появления на ней не только новых имен, но и новых земель. Кроме ГУЛага, такой новой российской литературной землей стало Русское зарубежье — в пространстве от Берлина, Парижа, Праги до Харбина. И здесь отечественного читателя ждало множество ярких открытий. Если И. Бунин, И. Шмелев, Б. Зайцев, В. Ходасевич, Г. Адамович, Г. Иванов, М. Цветаева, З. Гиппиус, Д. Мережковский и некоторые другие оставили след в культурном сознании России своим творчеством, начатым еще на родине, то имена молодого поколения первоэмигрантов практически ничего не говорили нашему читателю, за исключением, пожалуй, имени В. Набокова, «Лолита» которого была хитом еще советского самиздата. Впрочем, имена поэта и прозаика Б. Поплавского, поэтов И. Одоевцевой, А. Штейгера, Л. Червинской, И. Чиннова, Ю. Терапиано и многих других мало что говорили и читателю зарубежному, так как их творчество замыкалось главным образом в границах диаспоры, поскольку писали они только по-русски. Не случайно книга В. Варшавского о младоэмигрантах носит символическое название: «Незамеченное поколение».

Новым именем в литературном ряду молодых эмигрантов стало имя и Гайто (Георгия) Газданова (1903—1971). Вошедший в литературу эмиграции как автор романа «Вечер у Клэр» (1930 г.), нашедшего, кстати, теплый отклик у М. Горького, к середине 1970-х гг. Газданов оказался практически забыт, хотя к этому времени и был уже автором девяти романов и множества рассказов, а по уровню дарования современники считали его главным соперником В. Набокова. Его творчество было вновь открыто в начале 1980-х американским славистом Ласло Дие-

нешем, написавшим о нем первое монографическое исследование «Гайто Газданов. Жизнь и творчество». Книга вышла в Мюнхене в 1982 г. на английском языке и переиздана в русском переводе во Владикавказе в 1995-м. К российскому читателю проза Газданова пришла с выходом его трехтомного собрания сочинений в 1996 г., разлетевшегося мгновенно, что инициировало подготовку нового, более фундаментального издания, вышедшего в 2009 г. в пяти томах.

Осетин по национальности, выходец из семьи с древними корнями, Газданов всю жизнь считал себя русским писателем. Он родился в Петербурге, самом литературном городе России, на Кабинетной улице в 1903 г. «Я родился на севере, ранним октябрьским утром. Много раз потом я представлял себе слабеющую тьму петербургской улицы, и зимний туман, и ощущение необычайной свежести, которая входила в комнату, как только открывалось окно», — писал он о себе в рассказе «Третья жизнь» (1932 г.) от лица автобиографического рассказчика. Однако вскоре семье пришлось покинуть северную столицу: его отец Баппи (Иван) Газданов после окончания Лесного института получает назначение в Сибирь. Это был короткий фрагмент в биографии будущего писателя, оставивший в его детской памяти поэтический след, запечатленный в рассказе «Железный Лорд» (1934 г.): «Сибирские реки, сибирские просторы — это было то, что еще так любил мой отец, и я знал их по его рассказам и по рассказам матери и няни <...> мне были известны все могучие, возможные только в Сибири, повороты реки, легкий и точно небрежный, но неувыдающий запах, смесь травы, цветов и земли; и мерный бег коня <...> и холодное густое молоко с черным хлебом, густо посыпанным солью». Тема Сибири не нашла развития в творчестве писателя, так как сам сибирский эпи-

зод был недолгим в жизни семьи — дальше начинается время кочевья: Минск, Брянск, Смоленск, когда «чемоданы распаковывались, жизнь налаживалась, осваивался лес, заводились собаки, лошади, приступали к охоте, потом чемоданы вновь паковались, Газдановы переезжали на новое место. <...> Летом неизменно ездили на Кавказ навесить отцовскую родню», — так пишет об этом периоде О. Орлова в биографическом исследовании «Газданов», вышедшем в серии ЖЗЛ в 2003 г. В 1911 г. в семье происходит первая трагедия, смерть отца, ставшая «самой страшной минутой» в жизни Гайто, разрушившей рай его детства.

В 1919 г. юный Газданов (ему в это время нет еще шестнадцати лет) решает участвовать в Гражданской войне на стороне Добровольческой армии, о чем напишет в своем первом романе «Вечер у Клэр» от лица автобиографического героя Николая Соседова: «Я хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в белую армию потому, что так было принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными, я поступил бы, наверное, в красную армию». Однако у этого решения, помимо юношеского любопытства, есть и нравственная мотивация: «Я <...> все-таки пойду воевать за белых, потому что они побеждаемые», — объясняет Николай собственный выбор в споре со своим дядей, скептиком Виталием. Этим событием открывается одиссея романного героя Газданова, стремящегося в своем жизненном путешествии обрести основы внутреннего самостояния.

Мотив пути объединяет все девять завершенных романов Газданова, что во многих случаях отражено на уровне их названий: «История одного путешествия», «Полет», «Ночные дороги», «Возвращение Будды», «Пилигримы». Однако, при постоянном пребывании в состоянии движения, вынужденного бездомья, *путь* как для самого Газданова, так и для его героя — понятие не столько географическое, сколько метафизическое, поскольку объясняется в первую очередь внутренним порывом обоих к духовному «довоплощению». Единство художественной стратегии, ее телеологическая устремленность дает основание рассматривать весь романный корпус как своеобразное «девяткижние» с единым типом героя и единством сюжета, фрагментарно, витиевато продвигающегося к утверждению главной нравственной максимы писателя, выраженной в речи гимназического учителя в романе «Призрак Александра Вольфа»: «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последнего дыхания». Правоту этих слов и сам автор, и его герой

постигают на собственном опыте, открываемом службой в белых войсках на бронепоезде, чему посвящены военные страницы «Вечера у Клэр». После поражения в ноябре 1920 г. Газданов вместе с остатками врангелевских войск отправляется из Крыма, где и проходила его служба, в эмиграцию. Но до этого он почти год вынужден провести в организованном генералом А. П. Кутеповым военном лагере в Галлиполи, символично названном турками «долиной роз и смерти». По берегам мелких речушек, протекавших вокруг галлипольской полуразрушенной крепости, цвели роскошные розовые кусты. Однако приближаться к этим благоухающим зарослям было опасно, поскольку они кишели ядовитыми змеями. Это был целый героический год не просто выживания, но попытки утвердить жизнеспособность Белой армии — лагерным образом жизни, муштрой в почти невыносимых условиях заброшенности и голода. Не случайно В. Душкин, один из прошедших через опыт «галлипольского стояния», дал своим мемуарным повестям многозначительное название: «Забытые».

У Газданова образ Галлиполи вызывает сложные чувства, замешанные на горечи поражения и отчаянии. Ассоциации с царством смерти возникают в одном из эпизодов рассказа «Повесть о трех неудачах», написанном в форме записок сумасшедшего: «Тяжелое, братья, солнце над Дарданеллами. Перед бегством оттуда я пошел посмотреть на кладбище тех, кого судьба послала из России на бледный берег Галлиполи для утучнения чужой земли. И вот я пошел и увидел, что могилы стоят в затылок и рядами — как строй солдат, как рота мертвецов; без команды и без поворота. Они умерли по номерам и по порядку: к Страшному суду они пойдут привычным строем, и кара их будет легка, как служба часового». Не выдержав муштры и голода, а главное, осознавая бесперспективность пребывания на Галлиполи, Газданов сбежал оттуда в Константинополь, где продолжал вести «неопределенно-призрачное» существование. Спасла будущего писателя поистине чудесная встреча с двоюродной сестрой, балериной Авророй Газдановой, приехавшей в Константинополь на гастроли. Она помогла брату попасть в русскую гимназию, которую вскоре перевели в Болгарию, в г. Шумен. Об этом фрагменте своей биографии Газданов напишет в рассказе «На острове» (в другом своем раннем рассказе «Гавайские гитары» он опишет раннюю смерть Авроры). Окончив Шуменскую гимназию, он перебирается в Париж, работает там портовым грузчиком, мойщиком паровозов, рабочим на автомобильном заводе «Рено», ночным таксистом,

в деталях постигая жизнь парижского «дна», где впадают в нищету, сходят с ума, кончают жизнь самоубийством. Этому периоду Газданов посвятил большую часть своей романной прозы, изображающей драму русских эмигрантов. Особенно пронзительно мотив бездомья и безотрадности жизни звучит в «Ночных дорогах», где отражены таксистские будни писателя, его бытовые наблюдения, впечатления от ночного Парижа, выливающиеся в философские раздумья над трагедией европейской жизни в промежутке между двумя войнами. Это активизирует в сознании газдановского героя-повествователя ностальгические чувства, детские воспоминания о кавказском доме предков, элегическую интонацию которым придает понимание безвозвратности потери родины, дома, семьи: «...я привык себе — давным-давно, словно в прочитанной книге, — представлять: старый дом, с одним и тем же крыльцом и той же входной дверью <...> деревьями, которые, как архивы моего бюро, существовали до моего рождения и будут продолжать расти после моей смерти, и лермонтовский дуб над спокойной моей могилой, снег зимой, зелень летом, дождь осенью, легкий ветер российского, незабываемого апреля месяца; много книг, прочитанных много раз <...> это медленное очарование семейной хроники, одно могучее и длительное дыхание, слабеющее по мере того, как будут замедляться моя жизнь, терять звучность голос, <...> сесть волосы, хуже видеть глаза, до тех пор, пока в один прекрасный день, оглянувшись на секунду, я не увижу себя точно похожим на моего деда, в теплую весеннюю погоду сидящим на скамейке, под деревом, <...> и прислушиваться к шуму листьев, чтобы запомнить его еще раз, навсегда, и чтобы не забыть его, умирая».

От своей главной темы Газданов отходит лишь в двух из девяти романов. Это поздние романы «Пилигримы» и «Пробуждение», написанные на французском материале. Однако смена тематики не меняет в них типа героя: им по-прежнему остается человек с обостренным стремлением к созиданию своей внутренней вселенной. Формула классической философии: «познай самого себя» существует для всех главных газдановских героев в варианте «обрети самого себя». И путь самопознания как самообретения они обычно проходят самостоятельно, не поколебав при этом ни чувство внутреннего долга, ни собственного достоинства, что является художественным отголоском того этического императива, в основе которого лежит рыцарский культурный тип, вошедший в традиционную осетинскую мораль. Эта черта проявлена в военном вы-

боре Николая Соседова, в щедрости героя-бедняка из «Возвращения Будды», отдающего нищему попрошайке почти весь свой скудный денежный запас. Но не в меньшей мере рыцарская модель поведения высвечивается и в отношении уважаемого француза Роберта, героя романа «Пилигримы», к Жанине, девушке с парижского «дна», и в поступке «среднего француза» Пьера Форэ в «Пробуждении», спасшего от безумия и смерти незнакомую женщину, а также в защите героем последнего романа «Эвелина и ее друзья» Мервилем чести и доброго имени своей возлюбленной Луизы Дэвидсон.

Если в «русских» романах Газданов выстраивает сюжет из множества впечатлений, размышлений, воспоминаний героя, что сближает их с типом *романа потока сознания* (не случайно современники отметили сходство газдановского письма с повествованием М. Пруста), то во «французских» полностью отсутствует автобиографическое начало. Это романы-притчи, написанные в нравоучительном ключе. Их задача — дать читателям пример для подражания. В период их создания Газданов уже оставляет свою работу ночным таксистом: его приглашают на радио «Свобода», где он занял пост главного редактора русской редакции. Это был уже совершенно иной масштаб его творческой жизни. Из Парижа он переезжает в Мюнхен, где, помимо литературы, занимается критикой, готовит радиопередачи о русских писателях. В это время ему удается получить то, что так долго было недоступно: материальную стабильность, приличный дом, собственный автомобиль. Но главное — возможность возобновить контакты с Россией, что произошло в 1964 г.

В поздний период у него формируется необходимость активизировать созидательные основания своего письма, подогреваемая и его многолетним опытом масонства, базирующегося на универсальных моделях духовных практик. Так, в «Пилигримах» герой-наставник, перевоспитывающий юного преступника, проговаривает одну из сокровенных авторских мыслей: «Если у тебя есть силы, если у тебя есть стойкость, если ты способен сопротивляться несчастью и беде <...> вспомни, что у других нет ни этих сил, ни этой способности сопротивления. И ты можешь им помочь. <...> Самое замечательное в этом то, что такая деятельность не нуждается ни в оправдании, ни в доказательстве своей пользы <...> огромное большинство людей надо жалеть. На этом должен строиться мир». Герои последних романов по-разному реализуют эту максиму. Причем, несмотря на акцентирование внеконфессиональности своего религиозного опыта, в ос-

нову поступков своих героев Газданов достаточно отчетливо встраивает евангельские императивы. Особенно часто в собственных нравоучительных сюжетах он варьирует притчу о милосердном самарянине. Простота фабулы поздних романов Газданова как будто специально направлена на то, чтобы сделать прозрачной их главную идею: сострадательная помощь и любовь к ближнему — та основа, на которой держится мир. При этом поражает та убедительность, с которой автору удается реализовать свою основную мысль. На страницах романного текста он буквально шаг за шагом показывает возможность превращения преступника в праведника или пробуждения, казалось бы, безнадежно спящего сознания. Единственным непременным условием осуществления подобной перемены является, с его точки зрения (с чем невозможно не согласиться), душевная потребность человека в своем собственном духовном воскресении. Только возникающий в сознании внутренний зов превращает обывателя в «пилигрима», вспомнившего, наконец, о цели своего жизненного путешествия. Главными путями к ее достижению становятся любовь и творчество. Эта мысль утверждается в последнем романе Газданова «Эвелина и ее друзья», в котором живущий в Париже герой-россиянин преодолевает свою отчужденность и становится, наконец, «своим среди своих», достигая успехов в творчестве и обретая любовь своей жизни.

Итоговое преодоление апокалиптических умонастроений, отчетливо проявленных в ранних романах, придает прозе Газданова уникальное для его времени и эмигрантско-

го окружения свойство «моцартианства». Своим жизненным и творческим оптимизмом он противопоставляет всему молодому поколению первой эмиграции, у которого внутренний отклик находила трагическая экзистенциальная философия. Так, например, в начале 1930-х гг. современник Газданова Б. Поплавский (тоже родившийся в 1903 г.) в статье «О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции» пишет: «Христос агонизирует от начала и до конца мира. Поэтому атмосфера агонии — единственная приличная атмосфера на земле... Как жить? — Погибать... Эмиграция — идеальная обстановка для этого». В собственной судьбе Поплавский, как и многие его современники, реализовал идею жизни как гибели. Судьба же Газданова принадлежит к числу редчайших исключений, разрушающих «смертельный» порядок сложившихся обстоятельств, и может служить примером состоявшейся личностной и творческой инициации.

Умер Газданов 5 декабря 1971 г. в Мюнхене, но отпевали его в русской церкви при кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, где он и похоронен. Это был последний этап его биографической одиссеи. В 2001 г. на могиле писателя почитателями его таланта установлено новое надгробие, автором которого стал соотечественник Газданова «осетинский Роден» В. Соскиев. На нем расprostертый в усталой позе юноша, прикрыв рукою лоб, словно погружен в сон-воспоминание — то состояние, которое на всем протяжении творчества писателя сопровождало его героя в поиске ответа на собственный «вечный вопрос».



В. М. ШУКШИН: ANAMNESIS MORBI В ПИСЬМАХ

В 2014 году, к 85-летию юбилею В. М. Шукшина группой ученых филологического факультета Алтайского государственного университета готовится к изданию новое, девятитомное, собрание сочинений писателя. Кроме новых документов, имеющих отношение к творческой деятельности алтайского режиссера и писателя, его автографов, рабочих записей, значительно пополнят состав 8 и 9 томов ранее не известные письма Шукшина. Почти все они поступили в фонды Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина в с. Сростки в 2012—2013 гг. Некоторые из писем образуют цепочки, связанные друг с другом содержательно и хронологически, что позволяет в ряде случаев достаточно детально реконструировать малоизвестные эпизоды шукшинской биографии. Так, подборку из нескольких не публиковавшихся ранее писем 1957—1958 гг. можно рассматривать как своеобразную *anamnesis morbi* (историю болезни) Шукшина.

Известно, что писатель с юности страдал язвой желудка. Никогда публично Василий Макарович об этом не высказывался; упоминал лишь в письмах к родным да указывал в документальных автобиографиях в качестве причины досрочной демобилизации. Интересный момент: болезнью желудка в шукшинском художественном творчестве наделены те герои, которые симпатичны автору, например, Сеня Громов в дипломном фильме «Из Лебяжьего сообщают» (1960). И наоборот, герои-антагонисты — часто люди с «железным желудком» (Носа-

тый в рассказе «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту»).

Как развивалась болезнь В. М. Шукшина? Известно, что 12 ноября 1952 г. старший матрос-радиотехник в/ч 34258 Шукшин поступил на лечение в Военно-Морской Краснознаменный госпиталь им. академика Пирогова (г. Севастополь) с жалобами на боли в подложечной области, усиливающиеся после приема пищи. Предварительный диагноз — дуоденит. После проведенного обследования был установлен окончательный диагноз: язва желудка и двенадцатиперстной кишки. На лечении матрос находился до 26 ноября. 3 декабря 1952 г. Военно-врачебной комиссией Черноморского флота (акт № 5385) Шукшин был признан негодным к военной службе с исключением с воинского учета. Демобилизован 17 декабря 1952 г.

Поступление в 1954 г. во ВГИК и учеба в нем не способствовали ослаблению недуга. Плохое питание, умственные и физические перегрузки дали новый толчок заболеванию. Как указывает в своих воспоминаниях И. П. Попов, троюродный брат писателя, летом 1956 г. (т. е. после окончания 2 курса) Шукшин был у него в Киеве проездом по дороге в Трускавец, где должен был пройти лечебный курс в одном из санаториев¹. Очевидно, отдых на курорте не помог, и в конце 1956 г. вновь наступает обострение болезни. Об этом Шукшин пишет в письме родным в Сростки:

¹ Попов И. П. Дневник художника. — Барнаул, 2011. — С. 95-97.

М.С. Куксиной, Зиновьевым

<Москва, конец декабря 1956 г.>

Здравствуйте, дорогие мои, хорошие. Мамочка, Наташа, Саша, Сережа, Надя².

Сообщаю о себе: декабрь месяц пролежал в больнице — обострение язвы. Сейчас вышел. Чувствую себя великолепно. Но у меня нашли еще в желудке полипы. Говорят нужно делать операцию желудка. Сейчас отпустили на две недели, чтобы я еще попутался со специалистами и с родными. От родных кроме того нужно еще формально согласие на операцию. Посоветуйте со своей стороны как быть. Повторяю, что чувствую себя отлично. Операцию будут делать опытные, большие специалисты — это мне в институте помогут. Наверно, в Боткинской б<ольни>-це.

Я очень прошу тебя мама, не волнуйся. А то, когда ты там волнуешься, я здесь все чувствую. По получении письма дайте телеграмму — согласны или нет на операцию.

Как наши цыплятки себя чувствуют? Здоровы? Ну, жду вашу телеграмму.

Будьте здоровы родные мои.

Ваш Василий

Своеобразным дополнением и комментарием к шукшинскому письму является письмо С. А. Герасимова³ к главному врачу Московской городской больницы им. С. П. Боткина А. Н. Шабанову⁴:

² Наташа — сестра писателя, Наталья Макаровна Зиновьева (Шукшина) (1931—2005). Саша — зять, Александр Михайлович Зиновьев (1928—1961). Сережа, Надя — племянники-близнецы (р. 1956) Надежда Александровна Мясникова (Зиновьева) и Сергей Александрович Зиновьев.

³ Герасимов Сергей Аполлинариевич (1906—1985) — выдающийся отечественный кинорежиссер, сценарист и актер. С 1944 г. руководил объединенной режиссерской и актерской мастерской во ВГИКе. Герасимов сыграл важную роль в творческой судьбе Шукшина. В 1963 г. именно он помог молодому режиссеру устроиться на работу на к/с им. Горького. Позже Шукшин снялся в фильмах Герасимова «Журналист» (1967) и «У озера» (1970).

⁴ Шабанов Алексей Николаевич (1904—1981) — профессор, Заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАМН. В 1947—1953 гг. заместитель министра здравоохранения СССР. В 1953—1961 гг. главный врач Московской городской больницы имени С. П. Боткина. В 1961—1980 гг. заведующий кафедрой общей хирургии и травматологии 1-го Московского медицинского института имени И. М. Сеченова и одновременно (1961—1967) проректор Российского университета дружбы народов.

Глубокоуважаемый Александр Николаевич!

Простите, что затрудняю Вас просьбой. Студент института кинематографии т. Шукшин тяжело заболел, и видимо потребуются хирургическое вмешательство. Шукшин, человек высоко одаренный, и весь коллектив института очень взволнован его болезнью и дальнейшей его судьбой.

Очень прошу Вас принять его в Вашу клинику для необходимых исследований и, если нужно, операции.

Еще раз простите меня, но очень рассчитываю на Вашу помощь.

С уважением С. А. Герасимов деп.<утатский> бил.<ет> № 577

2.01.1957 г.

Следующее письмо В. М. Шукшина мной было написано, без сомнения, почти одновременно с письмом-просьбой Герасимова.

М.С. Куксиной, Зиновьевым

<Москва, январь 1957 г.>

Здравствуйте, дорогие мои!

Недавно поговорил с вами. Очень рад, что у вас все благополучно, если вы, конечно, не обманываете меня (на правах больного). Ну, вот что со мной здесь происходило: в декабре месяце прошлого года лежал в б<ольни>-це по поводу обострения язвы. Все шло хорошо. Я готовлюсь к выписке и вдруг рентген и вдруг мне любезно сообщают, что у меня полипоз и что необходима срочная операция. Я не поверил. Мне доказали. Я отпросился на две недели из больницы под предлогом, что мне необходимо еще подумать, а они еще требуют, чтобы было согласие родных на операцию. В институте через огромные связи (вплоть до ВЦСПС) я получил направление в Боткинскую б<ольни>-цу, в кремлевское отделение.

Там мне сказали, что нужно лечь к ним для исследования, но по предварительным обследованиям они сказали, что такой спешки с операцией нет.

Таким образом, я сейчас сдаю экзамены, после них ложусь в Боткинскую, а затем еду на курорт.

Я думаю, что операции все-таки не будет.

Чувствую я себя великолепно. Уже сдал один зачет.

Думаю, что сдам все экзамены. Они у нас до 21 января.

Мама, у меня к тебе две просьбы:

1) сходи в сельсовет и возьми справку, что ты нигде не работаешь по состоянию здоровья, а отца у меня убили на фронте. Это нужно для стипендии. Теперь стипендию будут давать не по успеваемости, а по нуждаемости.

2) чтобы ты не волновалась, голубушка ты моя сердечная — это вторая просьба.

Так сдуру я не дам себя резать, тем более что есть блестящая возможность подлечиться.

Как наши ребятишечки милые? Они, оказывается, тоже хворали там, милые мои. Трудный нам с ними год выпал.

Слава богу, все хорошо.

Ну, я кончаю.

Писать очень некогда, поэтому во время экзаменов я буду молчать. Повторяю, чувствую себя великоленно.

Привет Маше⁵.

Мамочка, поцелуй за меня Надю с Серрежей, а Надю еще легонько пошлепай по ... чтобы еще не очень там.

В Боткинской больнице студента Шукшина, по всей видимости, основательно подлечили. Так или иначе, в известных нам письмах домой за 1957 г. о болезни он не упоминает. Возможно, причиной тому было и другое обстоятельство: чрезвычайная занятость. В июне 1957 г. Шукшин уезжает в Одессу, где на местной киностудии он должен был пройти режиссерскую практику. Внезапно М. Хуциев приглашает его на роль Федора-большого в свою картину «Дом солдата», вышедшей в 1958 г. в прокат под другим названием — «Два Федора». Все лето и осень Шукшин провел на съемках фильма: такой ритм работы вновь подорвал его здоровье. Трудно сказать, кто похлопотал в очередной раз за студента Шукшина (может быть, решающим фактором стала его главная роль в фильме Хуциева, работа над которым еще не закончилась), но в январе 1958 г. он вновь получает путевку на прикарпатский курорт, теперь в г. Моршин. Первыми впечатлениями от пребывания в санатории Василий Ма-

карович поделился в письме к своему педагогу И. А. Жигалко⁶.

И. А. Жигалко

<Моршин, 7 января 1958 г.>

Здравствуйте, Ирина Александровна!
Я — на курорте. Это, знаете, здорово — курорт. Когда я приехал сюда, я очень удивился: у меня было точно такое представление о рае.

Чувствую себя хорошо. К концу месяца буду здоров совсем.

Какова же судьба «Угощения»?⁷

Понравилось?

И еще: как дела у наших ребят?

Ничего нет... такого — после зачета?

Мой адрес:

Дрогобычская обл.

Стрыйский р-он, г. Моршино

Санаторий ЦК культуры

Корп.<ус> 1 пал.<ата> 14

Шукшин В. М.

На этот раз мягкий прикарпатский климат и целебные воды курорта более благотворно сказались на здоровье студента и начинающего актера, что позволило ему необычайно много и плодотворно работать следующие несколько лет. С апреля по август 1958 г. он, взяв отпуск во ВГИКе, вновь оказался на съемочной площадке в Одессе, где заканчивалась работа по фильму «Дом солдата». Успех фильма привел к востребованности Шукшина как актера. В 1959—1961 г. им сыграны роли в таких известных кинофильмах как «Золотой эшелон» (реж. И. Гурин), «Простая история» (реж. Ю. Егоров), «Когда деревья были большими» (реж. Л. Кулиджанов), снята собственная дипломная картина «Из Лебяжьего сообщают», где он впервые выступил как сценарист, режиссер и актер...

Болезнь не ушла, но отступила, дав нашему выдающемуся земляку необходимое время для первых серьезных шагов в мире искусства, для взлета творческой карьеры, которая окажется такой короткой, но оставит такой важный след в русской культуре XX века.

⁵ Шумская Мария Ивановна (р. 1930) — первая жена В. М. Шукшина.

⁶ Жигалко Ирина Александровна (1912—1976) — доцент режиссерского факультета ВГИКа, ассистент М. И. Ромма.

⁷ Очевидно, имеется в виду творческий этюд, подготовленный студентами мастерской М. И. Ромма к новогодним праздникам.

ОРЕНБУРГСКИЙ СЮЖЕТНЫЙ МОТОК

Кессель Жозеф. Смутные времена. Владивосток 1918—1919 гг. — Владивосток: Альманах «Рубеж», 2012.

Существуют литературные тексты, которые, покинув область искусства, перемещаются в пространство кинематографа, где практически полностью утрачивают связь со своим создателем, ассоциируясь уже не с ним, а с режиссером. Так произошло, например, с «Балладой о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова, ставшей неотъемлемой принадлежностью рязановского «портфолио», или с романом французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен», давно существующим не столько на бумаге, сколько на копиях ленты Георгия Данелии «Не горюй!».

Практически то же самое можно сказать и о другом французском писателе — Жозефе Кесселе (1898—1979). Несмотря на то что он был достаточно популярен и даже стал членом Французской академии, по-настоящему долгую жизнь в Большом Времени — пусть и безымянную, фактически анонимную — ему обеспечил Луис Бунюэль, снявший в 1967 году по его роману «Дневная красавица» знаменитый фильм с блистательной Катрин Денев.

Благодаря владивостокскому издательству «Рубеж» российский читатель получил возможность ознакомиться с крайне любопытной книжкой Кесселя «Смутные времена». Интересна она прежде всего тем, что повествует о самом, наверное, занятом эпизоде биографии Кесселя — его службе в составе Французского экспедиционного корпуса во Владивостоке. События книги разворачиваются в 1918—1919 годах, но писал ее Кессель будучи уже старым человеком,

разменявшим восьмой десяток. Отчасти поэтому, а отчасти потому, что литературное произведение никогда не является «посмертной маской» описываемой в ней действительности, к «Смутным временам» не следует относиться как к историческому документу, зафиксировавшему такие стороны жизни Приморского края, которые отсутствуют в отечественных источниках по данному периоду.

Тот, кто приступит к чтению книги Кесселя, должен помнить, что перед ним продукт весьма причудливого скрещения сразу трех автономных традиций: западноевропейского авантюрно-приключенческого романа, русской классической прозы и славянского фольклора. Скрутить эти разношерстные «волокна» в достаточно прочную сюжетную «пряжу» Кесселю во многом помогло не совсем обычное детство: родившись в Аргентине, куда его родители эмигрировали из России, он затем последовал за ними в Оренбург, родной город матери, где прожил с 1905 по 1908 гг. Таким образом, к моменту начала событий, изображенных в «Смутных временах», разлука с Россией длилась у Кесселя не больше десяти лет. За этот срок он, разумеется, не утратил ни знание русского языка, ни положительное отношение к своей «неформальной» родине.

Действие «Смутных времен» начинается на французско-немецком фронте Первой мировой войны, где автор-повествователь служит летчиком. Регулярное пребывание в «волнах» воздушного океана, который еще только-только осваивается человеком, дарит ему, с одной стороны, возможность романтического возвышения над простыми смертными, а с другой — обеспечивает их искреннее преклонение перед ним. Когда французских авиаторов призывают записаться добровольцами, чтобы отправиться в Сибирь и «остановить немецкие войска между

Уралом и Волгой» (оставим на совести автора столь, мягко говоря, беллетризованное прочтение военной доктрины Антанты), он, единственный из всей эскадрильи, откликается на это предложение. Свой весьма неожиданный в глазах товарищей поступок, воспринимающих Сибирь в качестве «проклятой богом ледяной пустыни», рассказчик объяснял себе так: «Я, словно в тумане, пересекал незнакомые мне континенты и океаны. Чем длиннее был предстоящий путь, тем больше открытий он готовил. А в самом конце, на краю света, бескрайние заснеженные степи, огромные реки, непроходимые леса, племена, все еще живущие в каменном веке, и, конечно, казаки с берегов Байкала и Амура. А еще песни каторжников. Мои русские корни, знание языка, сказки и книги моего детства, народные песни, прекраснее которых ничего на свете нет, — все это пробудило во мне освещенную звездами мечту. Я осознал это несколько позже, а в тот момент мне было не до размышлений. Я грезил наяву».

Что это за мечта, Кессель не поясняет, да и вряд ли бы на страницах книги нашлось место холодному и взвешенному самоотчету, проявляющему бессознательные устремления героя. Однако, несмотря на это, понять импульсы, которыми он руководствовался в своих действиях и поступках, несложно: все они носят едва ли не ницшеанский характер и обусловлены явственно ощущаемым желанием рассказчика обрести статус «сверхчеловека», уверенно повелевающего не только воздушной стихией, тождественной ветру, но и остальными тремя первоэлементами — водой, землей и огнем.

Для того чтобы достигнуть Владивостока, ему придется пересечь два океана, Атлантический и Тихий; сама дальневосточная окраина России предстанет перед ним как последняя, «конечная» земля рухнувшей империи, объятая огнем гражданской войны. После такого соединения исходных начал бытия вопрос о том, имеет ли он право окончательно дистанцироваться от «тварей дрожащих», бессильных перед лицом бушующего во всем мире хаоса, становится для повествователя чисто риторическим.

Но этот импульс, заставляющий нас вспомнить Родиона Раскольников и таящий в себе опасность определенного нарративного схематизма, нейтрализуется неожиданным вторжением других литературных форм. Так, уже в момент отплытия к берегам России герой Кесселя, сам того не ведая, попадает в поле притяжения пиратских романов и даже обнаруживает опосредованное родство с Джимом Хокинсом из «Острова сокровищ». Существенное отличие от

коллизии, придуманной Стивенсоном, заключалось, вероятно, лишь в том, что вожделенный клад не был зарыт в конце пути, а был буквально «рассыпан» по всему маршруту от портового Бреста до Владивостока. Повышенное жалованье, полагавшееся добровольцам Французского экспедиционного корпуса, а также радушие и гостеприимство тех, с кем они встречались в дороге, приводило к тому, что «деньги текли рекой. Золотые монеты, пять долларов, десять, двадцать долларов. Золото имело ту же ценность, и ни центом больше, что и казначейские билеты!»

Есть в «Смутных временах» и самое настоящее пиратское судно, в роли которого выступает американский военный корабль «Шерман». Своими очертаниями он, понятное дело, мало похож на «Моржа», но вместе с товарищами Кесселя этот огромный транспорт перевозит еще и два батальона морской пехоты США, личный состав которых с удовольствием бы завербовал к себе и капитан Флинт. Во всяком случае, он вряд ли бы остался равнодушным к такой вот характеристике: «Мускулистые, беспечные в моменты спокойствия, но при малейшей опасности готовые на убийство, кожа у них была цвета старого дерева, обветренная многими ветрами и загорелая на солнце Китайского и Карибского морей и Индийского океана. Они пришли и взяли Кубу. Они пришли и взяли Филиппины. Они устроили (по смыслу должно быть «подавили». — А. К.) в Пекине боксерское восстание. <...> Они столько уже повидали, столько всего пережили, столько убивали, порой людей весьма странных. <...> Они только и ждали, чтобы рассказать о своих приключениях. К этим рассказам подходили и их голоса, уставшие от многолетних плаваний по морю, от потасовок, крепкого табака, ужасной выпивки и сквернословия».

Во Владивостоке герой Кесселя вновь сталкивается с пиратами, но на этот раз уже с сухопутными. Ими, без всякого преувеличения, являются люди атамана Семенова, лица которых выражают либо какую-нибудь психическую патологию, либо «непреодолимую жажду приключений». Даже больше, поясняет Кессель: они сами «воплощают приключение». Когда один из них, молодой казачий офицер, приглашает его посетить семеновский бронепоезд, то впечатления, там полученные, мало чем отличаются от воздействия знаменитого романа Стивенсона, скрашивавшего, помимо карточной игры и пьянства, недавнее путешествие на «Шермане»: «После холода ночи, лабиринта покрытых льдом путей я оказался на земле пропавших людей, на пиратском корабле со всеми его сокровищами. Я ничего не выдумывал».

ваю. Так и было. Вагоны-гостиные, вагоны для частных обедов, вагоны, где стояли кушетки, как в лучших купе, — раньше ими пользовались князья, господа да другие высокие чины Священной Руси. Существующая вне закона армия Семенова устроила себе пристанище из этого поезда, логово. И какой кричащей роскошью они себя здесь окружили! Персидские ковры, китайская парча, шелка из Бухары и Самарканда, шкуры медведей и тигров из тайги, великолепные иконы, дорогое оружие. Все это богатство или висело на стенах, или валялось в беспорядке на полу, а то попросту было свалено в кучу на полу. Чего здесь только не было: военные трофеи, награбленное во время разбоев в крупных процветающих городах, тюки из богатых домов, мешки со складов торговцев-миллионеров и из поездов, захваченных прямо на вокзале или остановленных посреди пути. А посреди великолепных трофеев — казачьи офицеры, грубые черты, неприятные физиономии. На голове огромные шапки из куницы, бобра, соболя или норки, длинные приталенные мундиры, на груди патронгаши, начищенные до блеска, а на поясе ремень, украшенный кинжалами с насечками».

Но если команда бронепоезда набиралась по «рекомендациям» Стивенсона и Сабатини, то его начальник, полковник Майруз, «бывший каторжник», является «клоном» такого персонажа пушкинской «Капитанской дочки», как Хлопуша. Разглядывая этого «бывшего каторжника», рассказчик сразу обращает внимание на «бесформенный нос с вырванными ноздрями. Два темных шрама соединялись в одну линию, на месте которой когда-то была плоть, и теперь взору предстал обнаженный хрящ. Это могло быть только следствием сифилиса или следом от зазубренного лезвия ножа или бритвы. Однако, сам не знаю почему, я подумал о каленых щипцах палача — так на русской каторге отмечали особо опасных каторжников (на самом деле вырывание ноздрей у преступников было в России отменено в 1817 году. — А. К.)».

Впрочем, в поступках новоявленного Хлопуши точно так же просматривается пиратско-филибустьерская «закваска». Например, своему французскому гостю Майруз поведаль, как он «расставял вежи на дороге, что вела к атаману». По его словам, «это случилось в прошлом году, в разгар зимы, в местности, известной своими жгучими морозами. Семенов тогда не имел ни достаточного количества людей, ни оружия, чтобы удержать хоть сколько-нибудь значимый город. Он часто менял месторасположение ставки. Люди, мечтавшие оказаться у него в подчинении, прилагали немало усилий, что-

бы его разыскать. Тогда полковнику пришла в голову одна мысль, замечательная мысль. Он выбирал подозрительную деревню. Красные? Нет. Ни красные, ни белые. Просто жадные мужики, излишне дорожившие своими свиньями, коровами да перинами. Он привязывал их нагишом с вытянутой рукой к сваям, ждал, пока они замерзнут. Когда на улице минус пятьдесят или шестьдесят, это не занимало много времени. После чего они уходили с добычей. Руки замерзших трупов указывали направление к лагерю Семенова. Если лагерь переезжал, то всегда можно было найти другие деревни, да и в столбах недостатка не было».

Совершенно очевидно, что топографический трюк полковника Майруза представляет собой позднейший вариант (лингвисты бы сказали — «алломорф») той хитрости, с помощью которой капитан Флинт обозначил путь к острову Скелета. Он, напомним, отправился с шестью своими товарищами, «а потом из одного убитого смастерил себе компас» («...он лежал навтыжку, прямой, как стрела. Ноги его показывали в одну сторону, а руки, поднятые у него над головой, как у готового прыгнуть пловца, — в другую»).

В свою очередь, оказавшись во Владивостоке, герой Кесселя делается кем-то вроде Бена Ганна. Подобно этому персонажу Стивенсона, он абсолютно неожиданно, не прикладывая каких-либо усилий, получает в свои руки огромные сокровища — «необъятных размеров» сумку, «до отказа набитую банкнотами» («пачки денег, много пачек, в каждой тысячи рублей»). Однако распорядиться с пользой этими астрономическими суммами, доверенными ему начальством ради подкупа русских железнодорожных служащих, способных ускорить отправку груза для французской миссии в Омске, он, увы, не может: бюджет целого небольшого государства не в состоянии справиться с хаосом, царящим в транспортной системе тогдашнего Дальнего Востока. Точно так же и Бен Ганн, первым нашедший клад капитана Флинта, не в силах извлечь из него ни малейшей выгоды, поскольку находится на необитаемом острове и лишен доступа даже к самым примитивным транспортным средствам, позволившим бы ему перебраться на материк.

Ощущая свое полное бессилие перед слепыми и темными силами, управляющими жизнью тогдашнего Владивостока, герой Кесселя ищет способы забыться и в результате превращается в завсегдагата элитного ночного клуба «Аквариум» на улице Светланской. Там он влюбляется в артистку по имени Лена, обладающую «глубоким, сильным, полным какой-то невыразимой скор-

би» голосом и специализирующуюся на исполнении русских народных песен.

В каком-то смысле Лена выступает в роли своеобразного «двойника» полковника Майруза. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить между собой «музыкальные» сцены «Смутных времен». В первой из них Кессель описывает, как Майруз устривает во вверенном ему бронепоезде импровизированный концерт: «Полковник вернулся. С гитарой. Сел на свое место, настроил инструмент и запел. Вокруг него воцарилось молчание, как штиль на море, никакого волнения (упоминание моря вновь отсылает нас к уподоблению бронепоезда пиратскому кораблю. — А. К.). И дело был не в дисциплине, почтительности или услужливости. Нельзя было ни делать что-то, ни говорить, ни думать о чем бы то ни было. Надо было слушать. Можно было только слушать. Дело было не в его голосе. Голос был хороший, да и только. А дело было в том, как голос его раскрывал глубину и силу мелодии. Он так точно передавал музыку, так глубоко проникал в нее, образуя такую с ней гармонию, что звук инструмента и звук голоса сливались в единое целое — уже невозможно было отделить одно от другого. И, конечно, слова. Слова сами пришли к сибирским каторжникам. Наивные, искренние, мощные, вечные. Как просторы, морозы, леса, мучения, которые им пришлось пережить».

Во второй сцене мы становимся свидетелями первого выступления Лены в «Аквариуме»: «Ее голос, глубокий, сильный, полный какой-то невыразимой скорби. А ее песня отличалась от тех песен, что здесь привыкли слушать. Она пела народную песню, старинную и очень медленную, очень простую, но каждое слово которой оставляло в сердце след, как камешки, которые бросают в спокойную гладь воды, и вода приходит в движение, круги за кругами, волна за волной. Затем никто не хлопал, не произнес ни слова. Лена снова вернулась за свой одинокий столик — никому и в голову не пришло присоединиться к ней или пригласить ее. Вновь раздался гвалт, еще более сильный и алчный, чем обычно, требующий, чтобы его потопили в спиртном. Люди мстили за песню».

Наконец, уже после личного знакомства с рассказчиком, Лена, исполняя другую песню, «отбивала такт, пела очень медленно,

растягивая слова. Это напоминало звон цепей на ногах каторжника, от которых ему не избавиться до конца жизни».

Замыкает эту странную симметрию, уравнивающую звероподобного подручного атамана Семенова и обладательницу «тощего тела, спрятанного под темным платьем», признание Лены, что она страдает «постыдной болезнью», а значит, в скором времени рискует стать такой же безносой, как и полковник Майруз.

Герой Кесселя некоторое время пытается разыграть из себя князя Мышкина в легкой форме, восплававшего возвышенной страстью к владивостокской Настасье Филипповне, и даже пробуждает в ней искренние чувства, произнося переименованную русскую поговорку: «Люби меня грешной, чистенькой и невинной меня бы всякий полюбил» (в стандартном варианте, встречающемся уже у Гоголя, она звучит так: «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит»), но та самая «постыдная болезнь» делает предмет его сексуальных экспедиционных желаний чересчур «черным», наступая на горло чистой песне торжествующей любви.

В результате, потерпев фиаско сразу на двух фронтах, снабженческом и «амурном», автор-повествователь решает скоропалительно покинуть Владивосток, и это делает концовку романа несколько скомканной. Вероятно, события в нем и могли развиваться только «хромая», потому что — позволим себе перефразировать известные слова Шкловского о Бабеле — французский гражданин Кессель попытался увидеть окраину России так, как мог бы увидеть ее русский писатель, прикомандированный к штабу Колчака («Бабель увидел Россию так, как мог увидеть ее французский писатель, прикомандированный к армии Наполеона», — писал Шкловский). Желая совместить две принципиально разнородные оптические системы, он, сам того не ведая, вручил своему читателю диковинный «бинокль», остраивающий происходящее, но в итоге полностью дезориентировался и был вынужден бежать из России, как солдат армии Наполеона. Ну, а тем, кто решит бросить за это в Кесселя увесистый критический «камень», стоит напомнить, что и Стендаль имел горький опыт отступления из горящей Москвы. *A la guerre comme á la guerre...*

Алексей КОРОВАШКО

КОРОТКО О КНИГАХ

Макшеев В. По собственным слезам, по собственным следам... Листки из блокнота. — Томск, 2013.

Сложна судьба автора этой книги, потерявшего и родину (Эстония), и семью, и чуть было и свою жизнь на рубеже 30—40-х гг., но выжившего и обретшего новую родину в Томской глубинке, ставшего известным сибирским, российским писателем. Сложна и книга, состоящая не столько из «листков», в основном «блокнотных», с заготовками для рассказов и повестей, сколько из человеческих жизней. Каждая из них В. Макшееву интересна — пусть только одним эпизодом, подслушанным разговором, выслушанной исповедью. В большинстве своем это, конечно, жизни горькие — что веселого может быть в буднях бесправных, полунищих и полуголодных, потерявших на войне здоровье, мужей и сыновей колхозников и колхозниц? Тем охотнее читаешь подборки мозаичных «Листков из блокнота», вернее, из потока деревенской жизни, где грустное и комичное нераздельны генетически, только подмечай. Такова, например, наивная самовлюбленность одного подобного персонажа, который, рассказывая, «то и дело поглядывает мимо меня в висящее на стене зеркало». Сама же книга остается все-таки зеркалом самого В. Макшеева, его несладкой жизни. Неслучайно и название книги, и ее финальный рассказ-очерк — о прощании пожилых супругов со своей давно заброшенной деревней. Наперекор этому минорному настроению даны иллюстрации Т. Бельчиковой, передающие авторскую ностальгию по временам нелегким, но зато родным, пережитым.

Иванова Е. Александр Блок: последние годы жизни. — Санкт-Петербург, 2012.

Невыигрышная, казалось бы, тема — последние годы жизни А. Блока скудны лит. произведениями и не богаты событиями, — у Е. Ивановой превращается в захватываю-

щее повествование, благодаря тонкому слуху автора на сколько-нибудь важные подробности жизни поэта этого четырехлетия (1918—1921). Воссоздание «динамической системы блоковского мировоззрения» переходит в воссоздание динамики всей его деятельности в самых разных ипостасях: «Владимир Соловьев в дни Блока», «Блок и левые эсеры», «Блок и большевистские декреты», «Блок в новом окружении», «Легенда о поэтаенном Блоке» — вот лишь некоторые названия главок книги, побуждающих к ее неравнодушному чтению. Многостраничная «Летопись служебной и общественной деятельности А. Блока» в эти послеоктябрьские годы венчает этот интереснейший труд сотрудницы ИМЛИ им. А. Горького, так не похожий на рядовые докторские диссертации, а именно из нее эта книга и «выросла», по признанию автора. На радость серьезному читателю.

Пасечник В. Модэ. Повесть и рассказы. — М.: Время, 2013.

Время становления державы хунну, особенно IV—III вв. до н. э. — благодатная тема для исторических романистов. Открой Л. Гумилева и пиши, рассказывая в соответствующем антураже, как хунну сначала терпели набеги и притеснения сяньбийцев, согдийцев-юэчжи и китайцев великого Цинь Ши-хуанди, а потом у них появился отчаянный Модэ, разгромивший восточных соседей, покоривший саянских динлинов и кипчаков и создавший мощное государство. В. Пасечник создал в своей повести только отряд юношей-«волков», у которых на вооружении, кроме дерзости и авантюризма «неуловимых», есть еще и святое чувство братства и своей малой степной родины. Перипетии этих вылазок и набегов против жестокого и коварного Модэ носят иногда почти игровой характер, где все и всерьез и понарошку, как в телешоу или компьютерных играх, с «охотой на хунну» в «масках из лосяного рога». Больше преус-

пел В. Пасечник в создании особой атмосферы — какой-то «сонной» полуреальности, близкой фэнтэзи или «байкам из склепа» у ночного костра. Чтобы убедиться в этом, лучше бы сначала прочитать цикл «Сны на горного кладбища», где безбилетников припиливают булавками к сидению, а «друг» по-пелевински оказывается зороастрийским «друхш-ш-ш-шем», дьяволом-змеем. Книга, очевидно, является для молодого писателя из Барнаула дебютной, со всеми издержками фэнтэзийных улетов, но и с хорошими авансами по части умения живописать придуманное как реальное.

Закусина Н. М. Прикосновение. Лирика. — Новосибирск: РИЦ при НПО СП России, 2012.

Это книга избранных стихов известной сибирской, российской поэтессы, изданная к ее юбилею. Стихи и поэмы этого красивого томика приятной 550-страничной толщины поделены на разделы: «Цветные сны», «У реки Селенги», «Северные цветы», «Уроки сказки», «Сказочные страны», «Вы простите, птицы и трава», которые дают представление и о творческом диапазоне поэтессы, и о ее предпочтениях. Главные из них — сибирская природа, суровая, но по-своему красивая, родная уроженьке Забайкалья, и потребность любить ярко, широко, смело. Такая открытая всем ветрам лирика поэтессы и живет по природному календарю: весны и зимы, июни и сентябри, дожди и вьюги так или иначе, «в кадре» или «за кадром», соучаствуют в ее делах и заботах, чаще всего сердечных. Наверное, потому, что Н. Закусина, со своего «степного» детства получив «уроки Селенги» и «северных цветов», знает наизусть, как ослепительны снега на перевале Шара-Азарга, как метет под Диксоном пурга, а в туманный мороз «воздух — хоть мешками носи». Лучшая же любовь — на грани сказки, где-нибудь в лесу, в избушке для двоих, где чувства не могут быть мелкими, как в суетном и легкомысленном городе. А лучший цикл на эту тему в книге — «костровой», с почти языческим поклонением огню, от которого и «тепло», и «зло». Столь же обоюдоостра и любовь: героиня Н. Закусиной сполна отведала все ее горечи и радости, потери и обретения, так что в кри-

тике ее принято называть поэтом любви и «безраздельно властвующего женского начала» (А. Горшенин, автор предисловия). Но прежде всего — она поэт инстинктивного чувства единства всего сущего, как едины весна и лето, дерево и человек, Он и Она, а также Н. Закусина и Новосибирск, теплых цветных рисунков которого (художник В. Курилов) так удивительно много в этой внешне — «обложечно» — холодной книге о любви ко всему сущему.

Кузнечихин С. Д. С точностью до шага. Стихотворения. — Красноярск: «Семицвет», 2012.

С. Кузнечихина можно было бы назвать воинствующим провинциалом, если бы не было в этом какой-то снобистской иронии. Но его стихи действительно состоят в конфронтации с той худшего рода «столичностью» (не обязательно московской), которая замкнута на саму себя, на гедонизм и гламурность. Стихи С. Кузнечихина идут от самой что ни на есть «Руси» — слова «забытого» (в книге много и мучительно пьют) и собирательного, что для нынешней голи перекатной, что для современных бояр, чинуш и «братков», и для всех ее пороков и доблестей, корыстных и бескорыстных. При этом поэт наделен красноречием не празднословия, а того краткословия, которое может, и не желая того, клеймить и разить, бить точно в цель. Не зря в названии книги есть ключевое слово «точность», а мы бы добавили, и «отточенность» строки и строфы. Таково наверняка многим известное стихотворение «Русская тоска», где герой «выстрелил в свою тоску. / Себя убил. / Тоска осталась». Может быть, поэтому С. Кузнечихину особо удаются «портретные» стихи: «Судья», «Хозяин», «Изыскатель», «Зазноба» и мн. др., или «пейзажные» «Райцентр», «Мумия», «Речка Кача», «Уха», вплоть до «орнитологических» и даже «Из жизни закусок». И только стихи-некрологи поэтам В. Абанькину, Н. Бурашникову, А. Кутилову, В. Прокошину и другим соратникам, говорят, как все очень серьезно в поэзии С. Кузнечихина, и что он — из «Приюта неизвестных поэтов»-«дикоросов», которых «коробит от малейшей фальши» и которые «с точностью до шага» выверяют свой нелегкий путь в поэзии.

В. Я.

АВТОРЫ НОМЕРА

Боброва Галина Сергеевна родилась в 1985 году, училась в ОмГТУ, публиковалась в журнале Охутогон (Омск), работает в банке. Живет в Омске.

Богданова Елена Юрьевна родилась в 1979 г. в Бийске. Окончила юридический факультет Международного института экономики и права. Стихи публиковались в журнале «Сибирские огни». Живет в Новосибирске.

Катуков Сергей родился в 1981 г. в г. Борисоглебске Воронежской обл., учился на филологическом факультете педагогического вуза, окончил аспирантуру Воронежского госуниверситета. Живет в Москве, работает лингвистом-аналитиком в сфере ИТ.

Комаров Константин Маркович родился в 1988 г. в Свердловске. Аспирант филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Публикации в журналах «Урал», «Новый мир», «Вопросы литературы» и др. Автор двух сборников стихов. Живет в Екатеринбурге.

Коровашко Алексей Валерьевич родился в 1970 году в г. Горьком. Окончил Нижегородский государственный университет. Доктор филологических наук, автор книги «Заговоры и заклинания в русской литературе XIX—XX веков» (2009). Критические статьи, посвященные современной русской литературе, печатались в «Литературной России», «Литературной газете» и журнале «Урал». Живет в Нижнем Новгороде.

Костин Владимир родился в 1955 году в Абакане. Окончил филологический факультет Томского государственного университета, кандидат филологических наук. Преподавал, работал главным редактором журнала «Начало века», работал на телевиденье, был председателем Томского отделения Союза российских писателей. Живет и работает в Томске.

Котюсов Александр родился в 1965 г. в Нижнем Новгороде, кандидат физико-математических наук. Публикации в журналах «Знамя», «Нева» и др. В настоящее время занимается бизнесом, живет в Нижнем Новгороде.

Кроних Григорий Андреевич родился в 1966 году в г. Новосибирске, окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Автор несколько книг прозы. Работает в РИА Новости, живет в Новосибирске.

Лебедев Валентин родился в 1959 г. Окончил МГИМО. Автор книги для детей «Надувалось Лешему» (2009). Тексты печатались в журналах «Дружба народов», «Сибирские огни» и др. Живет в Москве.

Марьин Дмитрий Владимирович родился в 1976 году в Барнауле. Окончил факультет филологии и журналистики Алтайского государственного университета. Кандидат филологических наук, доцент. Работает на кафедре общего и исторического языкознания АлтГУ. Публиковался в региональных периодических изданиях, в журналах «Родина», «Алтай», «Огни Кузбасса» и др. Живет в Барнауле.

Мельник Александр родился в 1961 году в Молдавии. Окончил Московский институт геодезии и картографии. Публиковался в поэтических сборниках и альманахах России, Латвии, Бельгии, Великобритании, Израиля и Финляндии. Живет в Бельгии.

Мутанов Галым Мутанович родился в 1957 году в селе Бельтерек Семипалатинской области. Окончил Казахский политехнический институт по специальности «Автоматика и телемеханика». Обучался в аспирантуре и докторантуре Московского государственного горного университета. Работал ректором Северо-Казахстанского государственного университета, первым вице-министром образования и науки Республики Казахстан, ректором Восточно-Казахстанского технического университета. С октября 2010 года – ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби. Автор более 400 монографий, учебников и изобретений. В «Сибирских огнях» публикуется впервые.

Петков Валерий родился в 1950 году. Работал на предприятиях г. Риги, в редакциях газет, редактором главной редакции информации Латвийского радио, занимался радиационно-химической разведкой в Чернобыле. С 1995 года на пенсии по инвалидности. Произведения публиковались в альманахе «Северная Аврора», в сборниках рассказов. Живет в Риге и Дублине.

Проскурнина Елена Николаевна окончила Томский государственный университет, кандидат филологических наук. Автор монографий об А. Платонове, Г. Газданове, многочисленных научных статей о русской литературе XIX—XX вв. Ведущий научный сотрудник Института филологии СО РАН. Живет в Новосибирске.

Ханзина Валентина родилась в 1985 г. Филологическое образование получила в Поморском государственном университете. Училась в аспирантуре РГПУ им. А. И. Герцена по специальности «Русский язык». Работала преподавателем русского языка для иностранцев в Санкт-Петербурге. Рассказы опубликованы в интернет-журналах «Русский переплет», «Сетевая словесность». В 2013 году вошла в лонг-лист литературной премии «Дебют» в номинации «Малая проза». Живет в Торонто, Канада.